



# НЕВА

3  
2017

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

**Екатерина ПОЛЯНСКАЯ**

Стихи • 3

**Владимир АРРО**

Три истории из подворотни.  
*Для одного спектакля* • 7

**Вячеслав НЕМЫШЕВ**

Юбилей. *Маленькая повесть* • 36

**Николай ГОДИНА**

Стихи • 58

**Дмитрий ТАРАСОВ**

Мой знакомый убийца. *Рассказ* • 61

**Игорь НЕМОДРУК**

Выстрел. *Рассказ* • 69

**Владимир ЗАМОРИН**

Рассказы • 83

### ПУБЛИЦИСТИКА

**Петр МУРАТОВ**

Сказ про развитой социализм.  
*Воспоминания о незабываемом периоде  
истории нашей страны* • 103

### КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

**Вячеслав ВЛАЩЕНКО**

«Прощальные песни» Николая Рубцова  
и «повести прощания» Валентина Распутина • 139

**Ирина ВАСИЛЬКОВА**

Умные девочки • 161

### РУССКИЙ ТЕЗАУРУС – XXI

**Владимир ЕЛИСТРАТОВ**

Неопавшие листья русского языка • 169

## ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

**Личность и рок.** Владислав Бачинин. К биографии модерности. Часть вторая. Данте и Лютер. **Поиски и находки.** Владимир Чисников. По следам перлюстрированных писем... (Лев Толстой и «черные кабинеты»). **Рецензии.** Елена Сафронова. Жалеющая камень. Станислав Минаков. «Железный день» Бабки Лидки. Мария Елифёрова. Служба понимания • 183

## ОСОБЫЙ РАКУРС

**Алексей АХМАТОВ**  
«По мордасам, но не сильно» • 229

## ПИЛИГРИМ

**Архимандрит Августин (НИКИТИН)**  
Святыни Елеона (по запискам русских паломников).  
Часть 3 • 238

---

Издание журнала осуществляется  
при финансовой поддержке Министерства культуры  
и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации.

Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы»  
запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать  
на почтовый адрес журнала  
(191186, Санкт-Петербург, а/я 9).  
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

---

Главный редактор  
**Наталья ГРАНЦЕВА**

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**Александр Мелихов** (зам. главного редактора). **Игорь Сухих** (шеф-редактор гуманитарных проектов). **Ольга Малышкина** (шеф-редактор молодежных проектов). **Елена Зиновьева** (редактор-библиограф). **Наталья Ламонт** (редактор-координатор).

---

Дизайн обложки **А. Панкевича**  
Макет **С. Булачевой**  
Корректор **Е. Рогозина**  
Компьютерный набор **Л. Жуковой**  
Верстка **Д. Зенченко**

## Екатерина ПОЛЯНСКАЯ

\* \* \*

*Василию Рысенкову*

Нынче вокруг колокольни полно стрижей.  
Птичья забота — знай себе режь да шей.  
Острым крылом возле моей щеки  
Чиркни, как лезвием, тенью коснись руки.  
Режь, перекраивай время, пространство, жизнь,  
Резко ныряя, закладывая выражи,  
Криком сшивая невидимые края,  
Где из воздушной раны забьет струя  
Чистого света.  
Что же, душа, учись.  
Не сожалей, не бойся — пронзая высь,  
Воздуха легче, стремительнее, чем стриж,  
Над колокольней когда-нибудь ты взлетишь,  
Чьей-то щеки почти коснувшись крылом,  
Не вспоминая — в вечности — о былом.

\* \* \*

Мне приснилось, что я никому ничего не должна.  
Никому — ничего, кроме разве что — Господа Бога.  
Осушила — до дна, по счетам расплатилась — сполна,  
Сполоснула стакан и могу собираться в дорогу.

Тишина до краев наполняла колодец двора,  
Заливала сквозь окна квартир обветшалые гнезда,  
Растекалась по крышам. И зеленоватые звезды  
Безмятежно дышали. И я понимала — пора.

И, без горечи вспомнив друзей, позабывших меня,  
Или попросту — канувших, сгинувших в вечности сонной,  
Я седлала коня. Я спокойно седлала коня,  
Чтоб скакать на восход — бесконвойно и неподзаконно.

---

Екатерина Владимировна Полянская родилась в 1967 году в Ленинграде. Окончила СПбГМУ им И. П. Павлова. Поэт, переводчик с польского и сербского языков. Член Союза писателей России с 2002 года. Печаталась в журналах «Нева», «День и ночь», «Звезда», «Северная аврора», «Аврора», «Всерусский собор», «Южная звезда», «Немига литературная», «Сибирские огни», «Сетевая словесность», «Зинзивер» (интернет-журнал), «Дружба народов», «Москва», «Неман», «Урал», «Изящная словесность» и других. Автор шести стихотворных сборников. Стихи переводилась на польский, болгарский, японский, английский, сербский и чешский языки. Живет в Санкт-Петербурге.

\* \* \*

У меня три шага от стены к стене,  
Ручка, и бумага, и луна в окне.  
Тонкий лучик света темнотою сжат,  
А за стенкой где-то мышки шебаршат.

Мышки голодают каждую весну —  
Корочку глодают, ходят на войну.  
Может быть, обои прогрызут до дыр,  
Может, где-то с бою раздобудут сыр.

Ветер задувает в черную дыру,  
Мышки затевают тихую игру:  
То ли что-то тащат, тащат и грызут,  
То ли настоящий учиняют суд.

Может, загуляют, вольностью горя,  
Может, расстреляют белого царя.  
А потом заплачут, каяться начнут,  
С пряника на сдачу получивши кнут.

Высохшие крошки, перекисший страх.  
Злые-злые кошки сторожат в углах.  
За окошком лужа с огоньком на дне...  
Мышкам явно хуже, чем, к примеру, — мне.

У меня три шага и затяжки — три,  
Ручка, и бумага, и стихи — внутри,  
На башкою — крыша, и на кухне — газ...  
Господи, услыши и помилуй нас!

\* \* \*

В горьких снах приходят ко мне  
Те, убитые на войне,  
Кто и вовсе не воевал,  
Чья могила — пустырь, подвал,  
Где настиг их шальной снаряд...  
Вот стоят они и молчат.  
Оглушает безмолвный хор...  
Мне не выдержать их укор.

И — мурашками по спине:  
— Почему вы — ко мне? Ко мне?

Ваша смерть — не моя вина.  
Это просто — война, война.  
Это просто — беда, беда...  
Так зачем вы пришли сюда?  
Вы ошиблись... —  
и мне в ответ  
Шелестит, словно выдох: «...нет».

Что хотите вы от меня?  
Где найду я для вас огня,  
Если жизнь моя — в суете,  
И слова мои все — не те,  
Если я — в потемках сама,  
Если проще — сойти с ума?  
Отступитесь, как сон, как бред! —

И в ответ, словно эхо:  
«...нет!»

## **ВОСПОМИНАНИЕ О МАРИЕНБУРГЕ**

Мне уже никогда не вернуться туда,  
Где в глубоких прудах остывает вода,  
Словно времени темный и терпкий настой,  
Горьковато-полынный, недвижно-густой,

Где в закатных окошках мутнеет слюда,  
Где, качаясь на лапах еловых, звезда  
Подлетает все выше, и месяц над ней  
С каждым взмахом все тоньше и словно ясней.

И в траве разогретой, глубокой, как сон,  
Мне уже не услышать сквозь стрекот и звон,  
Сквозь плывущий под веками медленный зной,  
Как шуршат облака — высоко надо мной.

Никогда — это веточки сломанной хруст,  
На иных берегах расцветающий куст,  
Это голос, летящий сквозь мертвую тишь,  
Долгим эхом становится. И только лишь,

Задержавшись над лугом, дыханье мое  
Все колышет былинки сухой острие,  
Да еще отраженья на глади пруда  
Смотрят в синюю бездну чужих «никогда».

\* \* \*

К этой квартире, где прожито столько лет,  
Так что можно вполне сойти за домового,  
Где с чужой памятью собственный смешан бред,  
Я подхожу и войти не решаюсь снова.

Там не укроешься: жизнь состоит из прорех  
И по краям — густых отпечатков пальцев...  
Лучше не думать, помнят ли вещи всех  
Бывших хозяев, а точней — постояльцев.

Тех, кто на пианино этом играл,  
Мыл, убирал, тонко раскатывал тесто,  
Думал, страдал, болел, потом — умирал,  
Освобождая другим квартирантам место.

Что меня ждет за дверью? Каким еще  
Дышащим зеркалам во мне предстоит разбиться?  
Кто и за что сегодня предъявит счет  
И предложит с процентами расплатиться?

Прежде, чем тяжестью лягут в ладонь ключи,  
Сердце наполнив мерцающею тревогой,  
Прежде, чем этому сердцу сказать: «Молчи!»,  
Надо еще постоять, подождать немного.

Надо бороться с силами, перекурить,  
Сжаться до точки, внутри себя бесконечной,  
Чтобы потом решительно дверь отворить  
И спокойно шагнуть темноте навстречу.

---

---

Владимир АРРО

# ТРИ ИСТОРИИ ИЗ ПОДВОРОТНИ

Для одного спектакля

## ПОСЕТИТЕЛЬ

Одноактная мелодрама

### ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Татьяна.

Лев.

Офицер.

*Городской двор-колодец, каких много в старых домах Петербурга. Ранние сумерки. В окнах зажигается свет, проявляя узоры, высвобождая яркие или блеклые цвета занавесок. За ними движутся тени — совершается жизнь. Здесь, во дворе, она обнаруживается звуками. Из одного окна доносится визг электродрели, стук молотка, из другого — приглушенное фортепьяно. Слева бормочет радиодиктор, справа плачет ребенок, а мимо подворотни с сухим шелестом проносятся автомобили. В первые минуты спектакля все звуки форсированы, шум улицы сливается с шумом двора, но понемногу наступает относительная дворовая тишина, когда отчетливо слышны и фортепьяно, и радио.*

*В крошечном сквере посреди двора на скамейке возле песочницы сидит седоголовый, но не старый еще мужчина в плаще, курит. Рядом с ним чемоданчик-дипломат, коробка из-под сигарет. Это Лев. Из парадной в углу двора выходит молодая женщина с таксой на поводке, некоторое время стоит поодаль. Затем, отпустив собаку, проходит ко второй скамейке, противоположной к первой, садится, закуривает, слегка бравируя своей отстраненностью, как это делают женщины, долго живущие в одиночестве. Наблюдает за таксой, глубоко, по-мужски затягиваясь сигаретой. Это Татьяна. Лев не отводит от нее глаз, и это ее раздражает.*

---

Владимир Константинович Арро родился в 1932 году. Писатель, драматург. Автор 15 книг прозы. В 1976 году стал писать пьесы для театра. Первая — «Высшая мера» — была поставлена в Академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Большой общественный резонанс в 1982 году вызвал спектакль Московского театра имени В. В. Маяковского по пьесе «Смотрите, кто пришел!». Автор пьес «Колея», «Трагики и комедианты», «Сад», «Пять романсов в старом доме», «Синее небо, а в нем облака». С 1989-го по 1993 год возглавлял Ленинградскую писательскую организацию. Избирался депутатом Ленинградского — Санкт-Петербургского Совета (1990—1993), председателем Комиссии по гласности. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Член ПЕН-клуба.

Т а т ь я н а . Мальва, фу!.. Фу, я сказала!

Л е в (*полуобернувшись к собаке*). Смотрите-ка, слушается. Англичане, говорят, придумали для непослушных собак ошейник с датчиком. Хозяин дает слабый ток, и — порядок. Дистанция при этом может быть около двухсот метров, экая прелесть.

*Татьяна не реагирует.*

Я вот думаю, не купить ли лицензию. Как, по-вашему, сбыт найдет? (*Пауза.*) Можно расширить область применения. В педагогических целях, допустим... Опять же, в супружеских отношениях. «Ко мне, я сказала!» А он у пивного ларька, с товарищами... Как вам это понравится? (*Пауза.*) Чем-то все равно торговать надо. Вы чем торгуете?

*Татьяна гасит окурок, поднимает воротник, встает.*

Т а т ь я н а . Мальва, ко мне!

Л е в . Ну, а что такого, теперь все чем-то торгуют.

Т а т ь я н а . Ко мне, я сказала!

Л е в . Чудная собака, ухоженная. Защищает-то хоть хорошо?

Т а т ь я н а . Хотите проверить?

Л е в . Упаси бог. (*Встает.*) Пойти и мне, что ли, с вами прогуляться.

Т а т ь я н а . Да вы что, дядечка?

Л е в . А чего, тоже буду вас охранять.

Т а т ь я н а . От кого? Пока, кроме вас, к нам никто больше не пристаёт.

Л е в . Ну, могу от себя... Кстати, сигареты кончились. Не одолжите? С отдачей.

Т а т ь я н а . Да ради бога. (*Бросает ему пачку.*)

Л е в . Смотрите-ка, пахитоски!.. (*Закуривает.*) А в наше время дамы «беломорине» радовались.

Т а т ь я н а . Знаю, тогда не курила.

Л е в . А я, сколько себя помню, всегда курил.

Т а т ь я н а . Плохо.

Л е в . Плохо. Вон в том углу двора росла трава. А на ней лежали дрова. Гниловатые такие поленницы... грибным лесом несло от них... Вот — за ними. Первые мои папиросы назывались «Ракета». Мы это дело расшифровывали так: «Ребята, асторожней курите, етот табак атрава». (*Смеется.*) А?.. Как?..

Т а т ь я н а . Плохо.

Л е в . Чего ж хорошего...

Т а т ь я н а . Когда это было?

Л е в . Что?.. А, до войны.

*Пауза.*

У соседей пудель, препротивнейшее создание... Истерический тип... Валерьянкой отпаивают... А чуть что с животом, водку дают... Как немцу — тридцать три грамма... (*Пауза.*) Ваша не пьет?..

Т а т ь я н а . Не пьет и не курит. (*Встает, провожая взглядом собаку, оборачиваясь ко Льву спиной.*)

Л е в . Да, собачникам у нас нелегко, выгуливать негде. С одной стороны — Невский проспект, с другой — «Англетер». В Сашкин сад разве... Не ходите?

Т а т ь я н а . Далековато.



Лев. С вашими-то ногами?

Татьяна. Так. Еще комментарии будут?

Лев. Не гневайтесь... Я просто...

Татьяна. Вот и не надо.

Лев (*встает*). Вы уходите?..

Татьяна. Да, нам пора.

Лев. Так она ж ничего не успела.

Татьяна. Господи, ну а вам-то что?

Лев (*заступая ей путь*). Не уходите.

Татьяна. Не поняла.

Лев. Ну, сядьте, посидите еще.

Татьяна. Зачем это?

Лев. Поговорим.

Татьяна. О чем?

Лев. Можно и о собачках.

Татьяна. С какой стати?

Лев. Нет, кроме шуток.

Татьяна. Скажите, пожалуйста!.. А вы кто?

Лев. Я-то? В командировке.

Татьяна. Ну, так а я-то при чем?

Лев. У меня скоро поезд.

Татьяна. Ну и с богом.

Лев. Время еще есть.

Татьяна. Не понимаю, у вас последние часы в этом городе, а вы сидите в темном дворе. Сделали бы что-нибудь, чтобы запомнилось... Пошли бы куда-нибудь. Да хоть в пивную, тут, в соседнем квартале...

Лев. А ведь не было, знаете, не было! Фирмы какие-то, издательство — это я еще понимаю. Но чтобы пивная? У дома графини?.. Напротив Петра Ильича?.. (*Касаясь ее рукава*.) Садитесь, я вам расскажу, что там было. Ну, садитесь же...

Татьяна (*высвобождаясь*). Послушайте, если вы клинья подбиваете, то это не ко мне. Ведь вы мне в отцы годитесь.

Лев. Ну, уж и в отцы.

Татьяна. Ей-богу, не меньше. Голова-то седая.

Лев. Да вы что!

Татьяна. А то вы не знали?

Лев. А меня сегодня в магазине назвали «молодой человек».

Татьяна. Это кто-то из слабовидящих.

Лев. Дело большое — голова. Я, если хотите знать, когда сюда приезжаю, возраста не чувствую. Так, какая-то усталость... А лет мне, я думаю, девять...

*Из окна позади мужчины раздается звонкий, самозабвенный голос мальчика.*

Г о л о с. Кто мчится, кто скачет под холодной мглой? Ездок запоздалый, с ним сын молодой. К отцу, весь иззябнув, малютка приник. Обняв его, держит и крестит старик.

*Пауза.*

Лев. Кто это?.. Вот уже в третий раз. И все с той же интонацией...

*Пауза.*

С обреченной... Понимаете, ужас сердце сковал! И не освободиться. Душа сомлела.

*Пауза.*

С вами так не бывало?

Татьяна. Это Павлуша... Мальва, фу!..

Лев. Бывало?

Татьяна. Слушайте, в самом деле, пошли бы куда-нибудь напоследок. Мало ли хороших мест в городе?

Лев. Ну, а я что?.. Разве здесь плохо? Вот дерево выросло... Свежий воздух... Музыка... Можем выпить даже. *(Достает флягу.)*

Татьяна. Ну вот, начинается...

Лев. Коньяк неплохой. *(Отвинчивает крышку-стопочку, наливает.)* Прощу.

Татьяна. Без меня.

Лев. Ну, хорошо. За наш дом. Зачем куда-то ходить? Все лучшее — в своем доме. *(Выпивает.)*

Татьяна. В какой парадной жили?

Лев. А в той, из которой вы появились. Вон мои окна. *(Встает, прохаживается.)*  
И с того момента, как вы возникли в дверях, я вам мысленно задал сотню вопросов.

*Татьяна отходит к скамье и садится.*

Татьяна. О чем?

Лев *(широко улыбаясь)*. Ну, как там... вообще?

Татьяна. Что?

Лев. В нашей парадной.

Татьяна. А что в нашей парадной?

Лев. Ну, как вам сказать... Жизнь идет?

Татьяна. Вопрос, прямо скажем, детский.

Лев. Да, пожалуй... Но, знаете, как-то странно...

Татьяна. Что странно?

Лев. Все почти вымерли, а жизнь идет.

Татьяна. А вы хотели, чтобы остановилась?

Лев. Да нет, что вы... *(Пауза.)* Собачка ваша что-то роет.

Татьяна. Пусть роет. Так ваши окна... которые?

Лев. На самом верху. Квартира двадцать девятая.

Татьяна *(после паузы)*. Да?.. А, ну конечно давно. Там Боженковы сто лет живут. *(Пауза.)* Ладно, налейте мне.

Лев *(возвращаясь на место)*. С удовольствием.

Татьяна. И охота вам?.. Ну, жили. Все где-нибудь жили... И чего вы пришли?

Лев. Выпейте. *(Отдает стопочку.)* Сам не знаю. Тянет. А Виктор Потапыч жив?

Татьяна. Виктор Потапыч?.. *(Выпивает.)* Жив. По утрам посиживает там, где вы сейчас... Палкой постукивает... А что?

Лев. Да ничего...

Татьяна. Значит, вы до войны.

Лев. И в блокаду. Как вас зовут?

Татьяна. Татьяна. А вы?..

Лев. Лев.

Татьяна. А с отчеством?

Лев. Дважды.

Татьяна. Ого! Лев Львович. Как дразнили?

Лев. Кошкин.

Татьяна. Понятно... То-то вы такой робкий.

Лев. Не доказано.

Татьяна. Господи!.. Неужели и я так приду?

Лев. Не советую. Ничего хорошего.

Татьяна. Слушайте, а что-то вы путаете... Боженковы тоже с блокады.

Лев. Ну и что?

Татьяна. В двадцать девятой.

Лев. Ну да.

Татьяна. А вы?

Лев. И мы. Нас было четверо. Двое взрослых и двое детей. Потапыча в начале сорок второго к нам подселили. Соседка у нас умерла, освободилась комната. Давайте выпьем. *(Отвинчивает стопочку.)* Он был милиционером. Ракетчиков ловил.

Татьяна. Да это я знаю... У него медали. Он рассказывал.

Лев. Вы пейте, пейте!..

Татьяна. Ой, господи!.. Это я собачку выгуливаю. *(Пьет.)*

Лев. На самом верху было опасно. Но, как ни странно, удобно. Ведро свежего снега с крыши — это большое благо — кастрюлька воды. А иначе надо было идти на Неву, к проруби. Одна беда — выходить на чердак и крышу строжайше запрещалось. Считалось, что ракетчики посылают свои сигналы вражеским самолетам с крыш. Поэтому висел замок.

Татьяна. Понятно. А у вашего отца был ключ.

Лев. Был. Отец в начале войны возглавлял домовую команду, называлась — МПВО. Местная противовоздушная оборона. Ну, а когда в команде никого не осталось, ключ у него отобрали. А после он обнаружил у себя дубликат. Боженков его выследил. Ну и...

Татьяна. Ну и... принял его за ракетчика?.. Вы что, серьезно?

Лев. Да полно вам. Начитались. Какого ракетчика — отец еле двигался. Боженков узнал и сказал: «Это, сосед, хорошо, давай я тоже буду туда ходить».

Татьяна. Понятно.

Лев. А что, милиционеры не люди? *(Встает, прохаживается, поглядывая на окна.)* Нас было четверо — двое взрослых, двое детей.

Татьяна. Да, вы говорили.

Лев. Собачка ваша стоит у парадной, соскучилась с нами.

Татьяна. Ничего, подождет.

Лев. Вот и я так же стоял, скулил.

Татьяна. Она-то хоть открыть не может, а вы?

Лев. Открывал.

Татьяна. И что?

Лев. Вдыхал запах. Подымал голову. Там наверху пролета вместо крыши — стеклянная призма. Да?

Татьяна. Да. А потом?

Лев. Брался за перила... по которым когда-то так хорошо было съезжать на пузе.

Татьяна. Ужас какой. Ну?..

Лев. Подымался на десять-пятнадцать ступеней...

Татьяна. Ну, так какого черта!..

*Внезапно раздается чистый, отчаянный голос мальчика.*

Г о л о с . Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?.. Ездок запоздалый, с ним сын молодой. К отцу, весь иззябнув, малютка приник. Обняв его, держит и крестит старик...

*Пауза.*

Л е в . Он что, больше ничего не знает?

Т а т ь я н а . Нет... Ну, так почему только на десять ступеней?

Л е в . Я все боялся, что приду, а все дома: и отец, и мать, и братишка... Сидят за столом, ужинают. Спрашивают: а ты где так долго был? *(Пауза.)* А где ты так долго... *(Пауза.)* А может, боялся встречи с Потапычем.

*Пауза. Слышно, как за окнами работают телевизоры.*

Т а т ь я н а . Вы не опоздаете на поезд?

Л е в . Нет.

Т а т ь я н а . Откуда вы?

Л е в . Из Самары.

Т а т ь я н а . А почему не самолетом?

Л е в . Люблю в дороге поговорить. В принципе — не тороплюсь.

Т а т ь я н а . Я вижу. Патологически. На пятый этаж подымаетесь сколько?..

Л е в . Полстолетия.

Т а т ь я н а . Вот именно! Вы что, с ума сошли? *(Подходит, берет его за руку.)* Пойдемте!

Л е в . Нет, что вы!..

Т а т ь я н а . Пошли, говорю!

Л е в . Нет-нет... Нас было четверо...

Т а т ь я н а . Пойдемте, вам полегчает..

Л е в *(упирается)*. Нет.

Т а т ь я н а . Послушайте...

Л е в . Отпустите... *(Садится.)*

Т а т ь я н а . Послушайте, что я скажу... Это не болезнь, но... это не очень здорово. *(Садится рядом.)* Поверьте!.. Я не врач, всего лишь медсестра, но я читала... Это навязчивое состояние, психоз... От него очень легко избавиться! Пойдемте, Лев Львович, вы убедитесь. Давайте выпьем для храбрости и пойдем.

Л е в . Да вы что, там Потапыч.

Т а т ь я н а . А что Потапыч? Он тоже выпить не дурак. Узнает — обрадуется. Хотите, я поднимусь сначала одна, предупрежу?..

Л е в *(хватает ее за руку)*. Не вздумайте!

Т а т ь я н а . Вы — трус.

Л е в . Как вам сказать...

Т а т ь я н а . Трус! Трус!

Л е в . Много раз...

Т а т ь я н а . Трус!

Л е в . ...доказывал обратное.

Т а т ь я н а . Ну, не трус... Малодушный человек. Что меняется?.. Вот и сидите здесь! *(Встает.)* И скулите! Еще хоть целых полстолетия. Мальва! Пошли!.. *(Уходит.)*

*Затемнение.*

*Двор живет, как огромная раковина, в которой хранятся шумы времени: шепоты, стоны, возгласы удивления исчезнувших людей. Они иногда выходят на первый план, овладевают пространством и подавляют реальные звуки.*

*Лев сидит на том же месте, ничто не изменилось, лишь стало темнее.*

*Из парадной выходит Татьяна, садится рядом. В руках у нее полиэтиленовая сумка.*

Татьяна. Он ждет вас.

Лев (*вздрыгнув*). Ждет? Нет-нет!.. Лучше не надо!..

Татьяна. Все еще трусите?

Лев. Я вас не просил.

Татьяна. Что хочу, то и делаю. Я у себя дома.

Лев. Вот и занимались бы своими делами.

Татьяна. Ну, и не лезли бы с откровениями.

*Пауза.*

Лев. Простите... Кто у него?

Татьяна. Семья.

Лев. Я понимаю.

Татьяна. Сын, дочь, внуки.

Лев. А Люся? Или как ее...

Татьяна. Людмила Маркеловна. Она умерла.

Лев. Давно?

Татьяна. Пять лет назад.

Лев. Все ж пожила.

Татьяна. Есть хотите?

Лев. Надо подумать.

Татьяна. Чего тут думать. Ешьте. (*Кладет ему на колени сверток.*)

Лев. Спасибо. (*Ест бутерброд.*) Что он сказал?

Татьяна. Пусть придет.

Лев. И все?

Татьяна. И все.

Лев. Идти?

Татьяна. Вы знаете.

Лев (*кивает*). Доем. (*Жует.*) С нее все и началось.

Татьяна. С кого?

Лев. С Люси. Сидим при коптилке. Двое детей, двое взрослых. В пальто. Все равно холодно. Два стекла выбито воздушной волной, вместо них фанера. Хлеба нет. Болтанка из обойного клея. В августе родители должны были делать ремонт. Купили обоев. Пачки сухого клея. Ну вот... Появляется Потапыч, с ним миловидная блондинка. В кудрях, с яркой помадой. В белых бурках. Были такие. В основном в системе снабжения. Потапыч говорит: знакомьтесь, невеста. Женимся. Отец говорит: «Очень приятно. А мы умираем». Она говорит: «Да что вы, мы женимся». — «Очень приятно. А мы умираем». — «А мы женимся. Приходите на свадьбу». — «Очень приятно. А вы на похороны». — «Очень приятно». — «И вам того же».

*Татьяна сидит, нахохлившись, отвернувшись от него.*

Татьяна (*вполголоса*). Врете, я думаю.

Лев. Да нет. Это я помню дословно.

*Пауза.*

Т а т ь я н а . Ну, и что?

Л е в . Ничего. Вселился. Попросил вторую комнату. Все равно, говорит, вам и одной-то не натопить. Отец отказал. Говорит: вот и хорошо, что холодная, хоть положить будет где, когда кто-то помрет. Потапыч говорит: а не много ли тебе будет — и две комнаты, и чердак?..

Т а т ь я н а . Господи!.. О чем вы...

Л е в . Потом я у них хлеб украл. Вынул из сумки на кухонном столе и съел в коридоре. Граммов двести. Мать просила простить, унижалась. Отдала им брошь, подарок отца.

Т а т ь я н а . Какую брошь?

Л е в . А!.. Ничего особенного Красный камушек в позолоченной оправе. Просто мы умирали. А когда падаешь в пропасть — цепляешься... Вам приходилось висеть над пропастью?

*Пауза.*

Или смотреть сверху, как кто-то висит?..

Т а т ь я н а . Оставьте меня в покое.

*Пауза.*

Л е в . Короче говоря, за отцом пришли. Судили как ракетчика. Вещественным доказательством был ключ. Потапыч был свидетелем обвинения.

*Пауза.*

Т а т ь я н а . Что дальше?

Л е в . Ну, а что могло быть дальше? Семья погибла. Сначала умер брат... Потом с улицы не вернулась мама. Пошла за хлебом... упала в очереди. Дворничиха позже рассказывала. Я почему-то выжил. Люся подкармливала, когда я остался один. Она была добрая. И веселая, все смеялась. Попал в детский дом. С ним — в Куйбышев. Нынче — Самара. Заболтал я вас. Пошли. *(Встает.)*

*Татьяна не двигается.*

Ну, идем?

Т а т ь я н а . Вы теперь чего от него хотите?

Л е в . Не знаю. *(Пауза.)* Когда я здесь, у меня всегда с собой вот эта штука *(Распахивает дипломат.)*

Т а т ь я н а *(после паузы)*. Вы что, серьезно?

Л е в . Как видите. *(Достает из дипломата пистолет и кладет в карман.)*

Т а т ь я н а . Но... вы же взрослый человек. Неглупый. Судя по всему, образованный. Думаю даже, порядочный. Вы что... можете застрелить старика?

Л е в . Как вам сказать...

Т а т ь я н а . Жалкого, полуживого.

Л е в . Но я же дал ему большую отсрочку. На целых пятьдесят лет. Согласитесь, это не мало. Ведь я же мог исполнить приговор...

Т а т ь я н а . Какой приговор?

Лев. То есть как...

Татьяна. Кто его вынес? Вы?

Лев. Да, тот юнец. Ну, а кто еще? Больше некому.

Татьяна. Ах, вот оно что... Вот зачем вы сюда приходили. Вы сидели и предвкушали убийство.

*Пауза.*

Лев. Нет. Я думал: должна же быть на свете справедливость.

Татьяна. Послушайте, а вам не странно, что вы, немолодой уже человек и, судя по всему, не бесплодно проживший жизнь, все еще находитесь в плену у того несчастного, ожесточившегося юнца, каким вы тогда были? И вам не кажется, что ваше детство и ваша юность несколько затянулись?

*Пауза.*

Лев. Кажется.

Татьяна. И что на самом деле пришли вы сюда, чтобы не казнить, а простить. *(Пауза.)* Но очень боитесь этого своего поступка и потому оттягиваете.

Лев. Конечно. Боюсь, что заговорю с ним как ни в чем не бывало. Да еще руку подам. *(Пауза.)* А может, и не подам! А может, выхвачу эту штуку и сразу, без раздумий!..

Татьяна. Что? Договаривайте.

Лев. Что-что... Откуда я знаю. Мы ленивые и отходчивые. Потому и расплодили зло... Скажите, сколько можно прощать? Сколько еще нужно выпустить из нас крови, чтобы мы оцепенели от ужаса, чтобы сердце наше закаменело и рука стала твердой? Ну, что мы за люди? Ах, какие мы подлые — податливые, сговорчивые. И вы, сестра милосердия, со своим дилетантским психоанализом...

Татьяна. Я не сестра. Я — дочь.

Лев. Чья дочь?

Татьяна. Моя фамилия — Боженкова.

*Пауза. Она пересаживается на скамью напротив. Лев в шоке, он непроизвольно поднимается на ноги.*

Оцениваете пикантность момента? Я только сейчас обнаружила, что жизнью обязана вам. Подымись тот юноша выше второго этажа... Благодарю вас за вашу благородную победу над жадой мести, окончившуюся чудом моего рождения.

Лев. Ну, что ж... мне остается капитулировать. *(Поднимает руки.)* Сдаюсь. Разоружаюсь. *(Достает пистолет из кармана, кладет его в дипломат.)*

Татьяна. Принимаю.

Лев *(доставая флягу)*. И даже с угрызениями совести.

Татьяна, Ну, это слишком большая роскошь.

Лев. Да нет...

Татьяна. Да, да!

Лев. Пусть все, кто пережил эти годы, остаются героями. *(Наливает.)* Время всех уравнивает. Никто не будет забыт. И ничто не будет забыто. Кроме жестокости и малодушия. Зачем это помнить? Это худо, когда детям бывает стыдно за своих отцов. Память должна быть светлой. Выпьем за светлую память! Прошу вас!.. *(Отдает стопочку Татьяне и садится рядом с ней.)* У героя и внуки именуются?

Татьяна. Трое. Два от брата, один от меня.

Лев. И все Боженковы?

Татьяна. Да.

*Смотрят друг на друга, молчат. Она вынимает из сумки небольшую модель планера.*

Это ваше?

Лев (*вскакивая*). Да!.. Откуда?.. Боже... (*Обеими руками принимает модель.*)

Татьяна. Висела в чулане. Хотели выбросить, я взяла к себе... Повесила над столом. Была младше, думала: вот объявится владелец... Вроде Сани Григорьева вас представляла. Помните, «Два капитана»?

Лев. Не то слово... Спасибо.

Татьяна. Так что в некотором роде... я вас ждала.

*Пауза.*

Я была романтической девочкой.

*Пауза.*

Лев. И ведь самое интересное, что я приходил.

Татьяна. Я ждала. Вы приходили. А мы так и не встретились.

Лев. Не судьба... (*Пауза.*) Так, может, поднимемся? Вы говорите, он ждет.

Татьяна (*коснувшись его руки, мягко*). Не надо, Лев Львович. Все. Отрезано. Там у вас больше никого нет.

Лев. Вы уверены?

Татьяна. Да. И больше вы сюда не придете. Слышите?

Лев (*после паузы*). Да.

Татьяна. Вы здоровы. Вы отомстили. Вы простили. Вы удовлетворены. Компенсированы. Понимаете?

Лев (*не сразу*). Да.

Татьяна. Вам надо ехать домой, где бы он ни был. У вас семья. Вас ждут дети. Да?

Лев. Да-да.

Татьяна. А те, кто здесь жил до нас, они останутся... Поверьте, останутся... Прислушайтесь...

*Двор оглашается звуками.*

В шепотах... В столах... В возгласах удивления... Узнаете?

Лев. Да!..

Татьяна. Пусть так и будет. Не беспокойте их.

Лев. Да. Хорошо.

Татьяна. Вы кому-нибудь рассказывали?

Лев. Нет.

Татьяна. Некому?

Лев. Есть.

Татьяна. Плохо слушают?

Лев. Да. Отвлеченно.

Татьяна. С этим беда.

Лев. Вечное одиночество.



Татьяна. Да. Слова бессильны.

Лев. Только интуиция.

Татьяна. Редкое качество.

Лев. Редкое.

Татьяна. Чтобы на той же волне...

Лев. Или хотя бы в том же диапазоне.

Татьяна. Расскажите мне.

*Пауза.*

Лев. Квадрат неба... Молочное облако... «Трио» Рахманинова — едва-едва из чьей-то квартиры. Звон посуды. Запах жареной рыбы... С улицы — автомобильный клаксон... И визг затормозившего трамвая... Это возле «Астории».

*Пауза.*

Татьяна. Да. Я прожила. Запомню. Сейчас трамваи не ходят. Но я представила. *(Встает.)* Сидите здесь. Сейчас я принесу вам брошку.

Лев. Зачем?

Татьяна. Как зачем. Это брошь вашей мамы. Будет вам память.

Лев. Да? Она у вас?.. *(Что-то отвлекает его.)*

*У ворот появляются трое военных в камуфляжной форме. Они с автоматами. Двое остаются у ворот, Офицер приближается.*

Офицер. Вы из этого дома?

Татьяна. Да.

Офицер. Двадцать девятая в какой парадной?

Татьяна. А вам кого?

Офицер. Вы не ответили.

Татьяна. Я живу в двадцать девятой. Что вы хотите?

Офицер. Ваша фамилия?

Татьяна. Боженкова.

Офицер. Ну, правильно. Это кто-то от вас звонил? Мужской голос. Отец? Брат? Сват?

Татьяна. Это отец! Слушайте, он больной человек. Что он сказал?

Офицер. Что в доме будто бы террорист. Что он пришел ему отомстить.

Татьяна. Что за чушь! Я пойду!.. Я дочь... Я медсестра.

Офицер. Оставайтесь на месте.

Татьяна. У него не в порядке с психикой. Не верьте ни одному слову.

Офицер *(Льву)*. А вы кто?

Татьяна. Мой знакомый. Лев Львович.

Офицер. Тоже здесь проживаете?

Лев. Нет, я приезжий.

Татьяна. И у него поезд! Идите, вы опоздаете.

*Лев прячет флягу. Застегивается. Берет дипломат.*

Офицер. Одну минуту. Документы у вас имеются?

Лев. Да. *(Протягивает документ)*. Пожалуйста.

Офицер (*возвращает*). Все понятно. Извините, еще одна формальность. Для порядка. (*Профессионально обшаривает одежду, карманы.*) Откройте дипломат.

*Лев открывает. Пауза. Офицер отворачивается, закуривает.*

Разрешение есть?

Татьяна. Послушайте! Товарищ офицер!..

Офицер. Я не вас спрашиваю.

Татьяна. Я объясню!..

Офицер. Есть или нет?

Лев. Нет.

Татьяна. Ну, что же это!.. Вы не должны!.. Пойдите! (*Рыдает.*) Его нельзя!.. Я столько ждала его!.. Невозможно!..

Офицер (*Льву, взяв пистолет*). Так... Ждали, говорите?.. А старик не ждал... (*Пауза. Покачивая пистолет на руке.*) Почему не сказали, что он игрушечный?.. Купили сыну?.. Так бы и сказали. (*Швыряет пистолет обратно в дипломат.*) Террорист, видишь ли... (*Уходит.*)

*Пауза.*

Татьяна. Ну, теперь наигрались?.. (*Утерев слезы, усаживает Льва на скамью.*)

Лев. Нет еще. (*Берет со стола планер, что-то проверяет в нем, поправляет и запускает в воздух.*)

*Радиоуправляемый планер (или простой бумажный голубь!) в лучах прожекторов делает круги по двору, едва не касаясь стен. Окна одно за другим зажигаются — во дворе полная иллюминация. Гул жизни — голоса, вздохи, обрывки музыки — наполняет его. И взволнованный голос мальчика.*

Голос. Кто скачет, кто мчится под холодной мглой?.. Ездок запоздалый, с ним сын молодой. К отцу, весь иззябнув, малютка приник. Обняв его, держит и крестит старик...

*Планер делает виражи, снижается. И наконец приземляется. Прожектора гаснут.*

Лев. Вот теперь все!

*Татьяна, замороженная зрелищем, стоит рядом со Львом без движения. И вдруг обнимает его, прикивает к нему, как к близкому существу после долгой разлуки. Лев прижимает ее голову к себе, гладит, целует.*

Татьяна Ты посиди. Я сейчас... Я быстро! Только не уходи!.. Умоляю тебя, дождись меня!.. Милый, родной мой (*целует его*)... только не уходи!.. (*Пятясь к парадной.*) Не исчезай!.. Останься...

*Лев садится на скамью и сидит в одиночестве, как вначале, откинувшись на спинку, глядя на окна. Они гаснут, одно за другим. Он встает и уходит.*

*Лишь одно окно освещено — на верхнем этаже.*

## ИНТЕРВЬЮ

### Одноактная драма

#### ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Потапыч.

Серафима.

Радиожурналистка.

*Тот же петербургский двор. Раннее утро. Солнечные блики выстреливают от одного окна к другому, то ослепительно ярко, то приглушенно, следуя игре облаков высоко в небе над колодцем двора. Из открытых окон иногда приходят звуки квартир, в основном хозяйственные — дребезжание посуды, визг пылесоса, иногда радио. Серафима, пожилая женщина, высокая, сухая и, судя по всему, нервная, катит магазинную раздолбанную тележку, уставленную ящиками, по периметру двора, то и дело останавливаясь.*

Журналистка (с микрофоном в руке). Здравствуйте! Можно с вами поговорить?..

Серафима. О чем это?

Журналистка. О жизни, о вас, о добрых ваших делах...

Серафима. Поди прочь!. Ты про себя напиши, какая ты дура... А я никакая не добрая. (Отъезжает с громыханьем.) Нашла добрую.

Журналистка. Ну, погодите!..

Серафима (ворчливо). Я никакого добра не делаю, отстань. Ни добра, ни зла. А делаю, чего хочу. И ты пойдешь, найди себе дело, чем к людям приставать.

Журналистка. Ну, поймите!.. Ведь это же важно. Может, ваш пример...

Серафима (резко остановившись). Пример? Какой пример? Господь дал тебе пример, а ты ему следуешь? Вот поди, разберись, как ты живешь, а тогда приходи. Ага. А чего не поймешь, писание почитай. И нечего мне свой набалдашник подставлять, убери, говорю, а то плюну!.. (Покатила.)

*Журналистка, не привыкшая к отказам, с обидой и неостывшей надеждой наблюдает за Серафимой издалека. А та действительно занята необычным делом. Из некоторых окон чуть не до самого тротуара свешиваются корзинки на крепких шнурах. Вот в эти корзинки Серафима, сверяясь со списком, кладет то пачки кефира, то батон, то бумажный пакет. А деньги из специальной коробочки небрежно перекладывает себе в карман. Корзинки тут же уплывают вверх.*

*В сквере в центре двора сидит старик с тростью. Это Потапыч, здешний старожил. Журналистка присаживается рядом с ним на скамейку.*

Журналистка. Что за странная личность тут у вас обитает...

Потапыч. А вот такая у нас.

Журналистка. Кто говорит, героиня. Кто — святая.

Потапыч. Героиня? А это как посмотреть. Герои среди нас ходят. Иной раз удивишься скромности...

Журналистка. Да-да!.. Это вы правы.

Потапыч. Но уж никак не святая. Святых людей вообще не бывает.

Журналистка. Ну, просто добрая.

Потапыч. Серафима-то? Да полно вам, какая она добрая. Свирепая старуха, таких поискать.

Журналистка. Да ну?..

Потапыч. Да-а!.. Сключница, матерщинница.

Журналистка. Ну, что вы...

Потапыч. Как, вас еще не покрыла? Покроет.

Журналистка. А все же за нею дела.

Потапыч. Дела? А что дела. Дела без выгоды не бывают. Когда вот преследовали за всякую мелочовку, люди не поленились, подсчитали, каков у нее доход.

Журналистка. С чего же это?

Потапыч. Как с чего, со сданной посуды. Это сейчас пакеты, а раньше бутылки были с цветными крышечками... Пробовали тогда обложить ее налогом, она такой мат-перемат подняла... Ну, естественно, жильцы защитили. Вы что, записываете, что ли?.. Аппарат включен?

Журналистка. Да.

Потапыч. А кто разрешил? Я согласия своего не давал.

Журналистка. Это моя работа.

Потапыч. Ишь вы, какие своевольные стали...

Журналистка. Свобода слова.

Потапыч. Свобода... Ладно, прощаю.

Журналистка. Ваше имя-отчество?

Потапыч. Боженков фамилия, Виктор Потапыч.

Журналистка. Здесь давно живете?

Потапыч. С блокады. А вам зачем?

Журналистка. Интересно.

Потапыч. Не знаю, не знаю, что во мне интересного... А с какой целью?

Журналистка. Да вы не бойтесь.

Потапыч. Нет, пережито, конечно, много...

Журналистка. Где?

Потапыч. Так здесь же, вот тут...

Журналистка. И в блокаду?

Потапыч. Всю войну. (*Приосанившись.*) Я в краснознаменной ленинградской милиции служил...

Журналистка. Ну, расскажите что-нибудь о войне.

Потапыч (*приняв значительный вид*). Двадцать второго июня одна тысяча девятьсот сорок первого года гитлеровская Германия вероломно напала на Советский Союз, нарушив мирный труд советских людей. Началась Великая Отечественная война советского народа, закончившаяся полным разгромом гитлеровской Германии.

Журналистка. А что, тележка вот так и стоит, и никто не ворует?

Потапыч. Не было такого случая.

Журналистка. Так что все-таки она за человек?

Потапыч. Кто? Серафима?.. Чумовая старуха.

Журналистка. Муж у нее есть?

Потапыч. Му-уж?.. (*Усмехнувшись.*) А у вас есть муж?

Журналистка. Есть.

Потапыч. Журналист тоже?

Журналистка. Звукооператор.

Потапыч. Ну, а кто у вас верховодит?

Журналистка. В семье? Не знаю... Мужчина, наверное.

Потапыч. Ну, так какой же у нее может быть муж? Так. О ком речь?

Журналистка. О муже.

Потапыч. Да при чем тут муж? Обо мне или о ней? Давайте определимся.

Журналистка. А вы оба меня интересуете.

Потапыч. Ну так... продолжать?

Журналистка. Продолжайте.

Потапыч. Включен?

Журналистка. Постоянно.

Потапыч. А вот это напрасно.

Журналистка. Почему?

Потапыч. Напрасно.

Журналистка. Живой разговор.

Потапыч. Может проскочить всякое.

Журналистка. Вырежем.

Потапыч. Ну, разве что... Продолжаю. *(Тонем докладчика.)* Вероломное нападение дало противнику некоторые преимущества, и, несмотря на большие потери в живой силе и технике, неприятельские полчища быстро продвигались на западном и северо-западном направлении... от них если смотреть, то, естественно, на восток... Неинтересно?

Журналистка. Неинтересно.

Потапыч. Жаль. *(Пауза.)* Давно собирался.

Журналистка. Что?

Потапыч. Подвести некоторые итоги. Имею собственную точку зрения на ход Великой Отечественной войны.

*Пауза.*

Журналистка. А вы напишите.

Потапыч. Написал. *(Достает из кармана сложенную тетрадку.)*

Журналистка. Посылали?

Потапыч. Посылал. Да разве пробьешься? Всяду мафия.

Журналистка. А вы расскажите, как здесь было, во дворе.

Потапыч. А что во дворе? Это же — двор. Жильцы. Пусть дворник рассказывает.

Журналистка. Я у Серафимы спрашиваю.

Потапыч. А она кто? Уборщица в магазине. А я — офицер. Закончил в звании старшего лейтенанта. Заслуги имею. Правительственные награды...

Журналистка. Я сегодня еще не завтракала. Пойду в магазин, куплю кефиру. Заодно о Серафиме спрашиваю. *(Уходит.)*

Потапыч. Видите, ей про награды. А ее уборщица интересует.

*С верхних этажей спускаются на веревках несколько корзин. Появляется Серафима с тележкой. Закладывает провизию в корзины. Потапыч тащится за ней.*

Потапыч. Серафима.

Серафима. Чего тебе.

Потапыч. Слышь, Серафима, скоро я слягу.  
Серафима. Давно пора. В штаны еще не ходишь?  
Потапыч. Будешь мне носить?  
Серафима. Еще чего.  
Потапыч. Носи, Серафима.  
Серафима. У тебя есть кому.  
Потапыч. До меня ли им дело?  
Серафима. Мне-то что.  
Потапыч. С тобой спокойней.

*Пауза. Корзины плывут вверх.*

Прости, Серафима. Я теперь тебя понял. Ты знаешь, кто ты, а, Серафима? Ты единственная из них — коммунистка, никого не осталось, все переродились, мать их так!

Серафима. Ах ты, старая проститутка! Не ты ли клеймил меня мелкобуржуазным элементом? Налога на меня требовал.

Потапыч. Ну что ж, что называл, я так думал. Не я один, тогда многие так думали. Время было такое. Была генеральная линия, Серафима.

Серафима. Вот теперь засунь ее себе, знаешь куда... *(Отходит.)*

Потапыч *(плетется за ней)*. Значит, другим будешь, а мне нет.. Я буду лежать там позабытый, заброшенный, а ты не заглянешь?..

Серафима. К тебе высоко.

Потапыч. Оставишь подыхать одного, Серафима?

Серафима. Как же... подохнешь...

Потапыч. Что ж моя за доля такая! *(Всхлипывает.)* Никому не нужен. Никто не выслушает... *(Достает платок, утирает слезы.)*

Серафима. Пожалей, пожалей себя. Подумаешь — что в итоге? Так... щепотка чего-то... горько-соленого.

Серафима. Неужто покаялся?

Потапыч. Как сказать... Что я честно долг выполнял — не жалею. Но что мое усердие не пошло на доброе дело — признаю. *(Пауза.)* Ты вот по квартирам ходишь — как у людей?

Серафима. У всех то же самое.

Потапыч. У всех, Серафима.

Серафима. Ах противный ты мужик, никогда ты мне не нравился.

Потапыч. Ну-ну...

Серафима. Идешь, бывало, самодовольный, ухмыльчивый.

Потапыч. Ну, это когда!..

Серафима. Я тебя даже однажды водой облила.

Потапыч. Из окна, что ль?..

Серафима *(кивает. Пауза)*. А скажи, Виктор Потапыч, хоть что-нибудь тебя мучает? Совесть за что-нибудь гложет?

Потапыч. Мучает, Серафима, гудит постоянно, как зубная боль.

*Входят в скверик. Серафима садится на скамью. Потапыч остается стоять перед ней.*

Серафима. За что? *(Закуривает.)*

Потапыч. А вот когда Люся в больнице лежала, перед последней операцией, я к ней в субботу пришел, а операция была назначена на понедельник. Ну, принес передачу — виноград, апельсины, их лучше всего на тумбочке видно — значит, к тебе ходят, значит, ты не один... Ну, посидел возле минут пятнадцать, а в палате много их, душно, смрадно. Кто бредит, кто халат выше пояса задирает, кому родственники простыню меняют. Думаю: как мне скорее уйти отсюда. А Люся мне руки целует, глазами одними умоляет: не уходи, страшно! Не уходи, не бросай!.. Веришь-нет, Серафима, мне и жалко ее, Люсю мою, а все естество прочь стремится, на воздух, тошнота подступает...

Серафима. И ушел?

Потапыч (*присаживается*). Ушел. Минут десять еще промаялся и ушел. Дома курил одну за другой, водки выпил да и развеялся. Так развеялся, что на следующий день, в воскресенье, думаю: а чего я пойду? Сходи, говорю, дочка, теперь ты, а я уже был. Тянул меня кто-то, толкал: иди, мол, иди, простишь. А я снова выпил. Ну, куда теперь пойдешь, сиди, мол, все обойдется. После сходишь. А на следующий день, в понедельник, идти уже было не к кому... К Люсе моей... (*Всхлипывает. Утирает слезы.*) Вот так, Серафима, отвечу на твой вопрос.

*Пауза.*

Серафима. Это хорошо.

Потапыч. Что?

Серафима. Что мучаешься. Значит, она тебя простила.

Потапыч. Сам себе никогда не прощу. Может, если б я пришел... (*Утирается.*)

Серафима. Слушай, эта опять идет.

Потапыч. Кто?

Серафима. С микрофоном.

Потапыч. Это ко мне.

Серафима. Чего ей надо?

Потапыч. Про жизнь выпытывает. Ничего ей не скажу. Тебе скажу, Серафима, ты спрашивай.

*Серафима встает и уходит к своей тележке. Журналистка, провожая ее взглядом, садится на скамью.*

Журналистка. Никто слова доброго не сказал. Всех обругала, со всеми в ссоре.

*Пауза.*

Потапыч. Так будете репортаж о ней?

Журналистка. Ой, прям не знаю... Тяжелый случай. К самой не подступись... Давайте с вами закончим.

Потапыч. Я чего, я долг выполнял.

Журналистка. В чем состоял ваш долг?

Потапыч. А то не знаете? Немца раздолбать!.. Вот в чем.

Журналистка. Как его раздолбашь, если он город окружил и к себе не подпускает.

Потапыч. А вот тут и вступает в дело особая тактика советского командования. Думаете, зря наши органы свой паек ели?.. Все было спланировано. Войска

Ленфронта надо было вывести по коридорчику... Да так, чтоб противник видел, что путь открыт.

*Пауза.*

Журналистка. И что дальше?

Потапыч. Что дальше. Заманить их в город, а потом — рвануть!

*Пауза.*

Журналистка. Это вы сами придумали?

Потапыч. Зачем сам. Был план. Официально. Назывался «План Д». По уничтожению врага в захваченном городе. Это до того уже в Киеве было опробовано.

Журналистка. То есть как?

Потапыч. А вот тебе и как. Как Кутузов сделал? Заманил, а после поджег. Кто о нем худое слово нынче скажет? И Москва стоит.

Журналистка. Но ведь люди...

Потапыч. Что люди, что люди!.. Чуть что — сразу люди... Люди все равно по-вымерли бы. Их кто, немец стал бы кормить? А кто мог ходить, тот бы ушел через специальные коридоры.

Журналистка. Что вы плетете! Нелепый старик! Как же можно город с больными людьми подрывать?..

Потапыч. Так война же!..

Журналистка. С детьми, стариками. Как у вас язык поворачивается на такую фантазию.

Потапыч. Фантазию, говоришь?.. А хочешь знать, что уже все было подготовлено для взрыва?

Журналистка. Не могло быть!

Потапыч. Было!

Журналистка. Чушь!

Потапыч. Если б Сталин Жукова не забрал...

*Пауза.*

Журналистка. Бред какой-то...

Потапыч. Да что ты все — чушь, бред!.. Я сам был в секретной команде.

Журналистка. Вы? В какой должности?

Потапыч. Не скажу.

Журналистка. И что вы минировали?

Потапыч. А все подряд. Заводы, мосты, водопровод, телеграф, АТС, торговый порт — ну, что ты будешь делать, за что ни возмись в нашем городе, — все военный объект.

Журналистка. И Александринку?

Потапыч. Не могу знать.

Журналистка. И Адмиралтейство?

Потапыч. Не имею права. Я эту страшную тайну с собой унесу.

Журналистка. И Эрмитаж?

Потапыч. Девушка, какой Эрмитаж? Это был стратегический объект двойного назначения.



Журналистка. Врете вы все! Все врете! Не могло быть такого плана. А если бы был, патриоты города никогда бы не дали ему осуществиться.

Потапыч. Ладно. Как знаете... Ну что, работать-то будем?

Журналистка. Что работать?

Потапыч. Ну, интервью.

Журналистка. Так вы уже наработали.

Потапыч. Чего наработал?

Журналистка. Вон столько чуши наговорили... *(Достает кассету.)*

Потапыч. И все записала?

Журналистка. Естественно.

Потапыч. Отдай.

Журналистка. Еще чего.

Потапыч. Отдай!

Журналистка. Не отдам!

Потапыч. Не имеешь права.

Журналистка. Кассета — собственность телерадиокомпании.

Потапыч. Государственная тайна!

Журналистка. Надо было хранить.

Потапыч. Отдай! Доложу, куда следует.

Журналистка. Пресса — независима и работает без цензуры.

Потапыч. Тайны все равно есть. И их надо хранить.

Журналистка. Правду не спрячешь.

Потапыч. Ты меня погубишь.

Журналистка. А вы?.. Такой город хотели погубить! Да еще, говорите, со всеми жителями. Вот теперь и ответите.

*Пауза.*

Потапыч. А я можно чего скажу?

Журналистка. Чего?

Потапыч. А у тебя кофта на левую сторону... А-а!.. *(Смеется.)* Неряха! Неряха ты!.. Так же и с репортажами!..

*Журналистка спешно уходит.*

*(Вдогонку.)* Нельзя тебя допускать к серьезному делу! *(Берется за сердце.)*

*Как-то внутренне вдруг затихший Потапыч медленно и осторожно ложится на стол. И постепенно двором овладевает мир звуков. Они всегда живут в нем, как живет шум прибоя в большой раковине, но когда становится очень тихо, они постепенно выходят на первый план и овладевают слухом. Это обрывки речи живших здесь женщин, мужчин и детей, музыкальные пассажи — неважно, чем рожденные: скрипкой, радио или патефоном, это шорохи, вздохи, возгласы удивления, бой часов или трель телефона. И среди них — так же сверху, будто отлетевший, — звучит голос самого Виктора Потаповича Боженкова.*

Потапыч. Серафима! Ты где?.. Плохо мне. Ты завтра и начинай... Чего-нибудь... Чего другим, то и мне... Кефирчику... сырок с цукатом... Важно ведь внимание... А лучше не надо, Серафима... Принесут. Тебя о другом попрошу... Устрой мне проводы во

дворе... Вот на этот стол поставь, где я лежу... Как гражданина... Как патриота... Ногами только в сторону подворотни. Неправильно лежу... Музыка не заказывай, дорого. Какую-нибудь пластинку поставь. Баха или как его... Дочка знает... Ой, а чего это?!

*Потапыч вдруг вздрагивает всем телом и открывает глаза. Из окна третьего этажа на него летит широкая лента воды. У Потапыча хватает сил увернуться. В окне Серафима с кувшином.*

Серафима. А чего это ты разлегся, служивый?..

Потапыч. Кончай, Серафима!.. Нашла забаву. *(Встает, кряхтя, слезает со стола, отряхивается, не переставая ворчать.)* Озорница старая... Все не как у людей...

Серафима. Поднимайся сюда, Потапыч. Смотри, какая старушка лежит в чепце, словно куколка!.. Щечки розовые, духи французские!.. А вот я вас сосватаю!..

Потапыч. Иду, иду!..

*Кряхтя, опираясь на трость, Потапыч уходит в парадную.*

# БРОДЯЧАЯ МУЗЫКА

## Одноактный трагифарс

### ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Первый.  
Второй.  
Женщина с мальчиком.

*Двор-колодец. Утренний час, когда в доме остаются только домохозяйки и пенсионеры. Солнечные лучи падают лишь на верхние ряды окон одной стены, ниже по стелам гуляют много раз отраженные солнечные блики.*

*Два пожилых бродячих музыканта, Первый и Второй, каждый — человек-оркестр с чудовищным набором инструментов, в ярких шутовских одеждах стоят посреди двора, подняв головы, как бы к чему-то прислушиваясь.*

Первый. Третье слева.  
Второй. На каком?  
Первый. На четвертом.  
Второй. Не вижу.  
Первый. За занавеской.  
Второй. Скотина.  
Первый. Пацан, должно быть.  
Второй. Уши надрать.  
Первый (*вздыхнув*). Поехали.

*Вместе (в сопровождении скрипки, гитары, барабана, бубна, каких-то трещоток и еще черт знает чего). С бою взяли город Брянск! Город весь прошли! На последней улице название прочли! А название такое, прямо слово, боевое, Минская улица на запад нас ведет! Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога! Минская улица! На запад нас ведет.*

*(Выбор песен — как примету времени — автор всецело передает на усмотрение постановщика.)*

*В середине куплета сильная струя воды, пущенная из какого-то пневматического устройства, зигзагом падает на певцов. Пока Первый допевает куплет, Второй отряхивается.*

Второй. Слушай, дебил, ты кончай эти прятки, покажи морду свою дебилскую! (*Вытряхивает воду из гитары.*) Рахит недоделанный.

Первый (*не переставая играть*). Давай, давай!..

Вместе. С бою взяли город Минск! Город весь прошли! На последней улице название прочли! А название такое, прямо слово, боевое — Брестская улица! На запад нас ведет!..

*Гнилой помидор шлепается рядом со Вторым, он потрясает кулаком, но поет.*

Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога! Брестская улица!

*Другой помидор попадает в шляпу.*

Второй. Скотина!

Первый. На запад нас ведет!

*Звучит музыкальный проигрыш, хотя он и не предусмотрен.*

Второй. Не даст работать.

Первый. Кочумай.

*Падает сверток.*

А это что?..

Второй. Засранец. *(Брезгливо поднимает.)* Четвертной.

Первый. Вот видишь? Поехали!

Вместе. С бою взяли город Брест! Город весь прошли! На последней улице название прочли. А название такое, прямо слово, боевое. Берлинская улица!..

*Струя воды заставляет их судорожно дернуться.*

На запад нас ведет! Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога! Берлинская улица! На запад нас ведет. На Берли-ин!..

*Они заканчивают под целой серией водяных зарядов.*

Второй. Не, я не буду здесь. *(Снимает шляпу, уходит, отряхиваясь.)* Пошли.

Первый. Постой!..

Второй. Молокосос!.. *(Трясет кулаком.)*

Первый. Отойдем.

Второй. Козел вонючий. *(Громко.)* Козел!.. Понял?..

Первый. Не ори.

Второй *(тихо)*. Вонючий. Понял?..

Первый. Будем ходить по двору.

*Сверху падает сверток.*

Второй. Опять какая-нибудь пакость.

Первый *(развернув бумагу, взглянув удивленно вверх)*. Однако.

Второй. Что?

Первый. Полсотни.

Второй. Иди ты.

Первый. Понравилось.

Второй. Не, это не пацан. Кто-то другой.

Первый. Оттуда же. Поклон.

Второй. Пошел к черту.

Первый. Поклон, говорю!

*Картинно кланяются.*

(Прячет деньги.) Будем башлять. Третий номер.

Второй. Может, не надо?

Первый. Надо. Поехали.

*Притоптывая, исполняют проигрыш.*

Вместе. С одесского кичмана шагали два уркана. Шагали два уркана налегке. Раз-два!

*Далее история повторяется: из того же окна в них летит то гнилье, то какие-то ошметья, то струи воды, то свертки с деньгами. Они бодро заканчивают номер и, смиренно утираясь, отряхиваясь, идут по двору собирать добычу.*

Первый (*разворачивая бумагу*). Помереть-уснуть.

Второй. Сколько?

Первый. Сотня.

Второй. У меня тоже.

Первый. Меценат хренов.

Второй. Идиот. Костюм-то испорчен.

*Первый разворачивает сверток, роняет его и с омерзением смотрит на свои руки.*

Что там?

Первый. То самое.

Второй. Что самое?

Первый. Что-что... Говно!

Второй. Он издевается.

Первый. Дрянь какая...

Второй. Фу, мерзость!

Первый. Достань термос.

Второй. Засранец! (*Поливает на руки Первому.*)

Первый. Думает, если бабки, ему все позволено.

Второй. Ненавижу!

Первый. Я пойду швырну ему его деньги! (*Лезет в карман, но достает платок, утирает руки.*) Сволочь.

Второй. Пойдем отсюда. Такого унижения (*С нафосом.*)... ни-ког-да...

Первый. Что за харя такая? (*Смотрит вверх.*)

Второй. ...еще не испытывал.

Первый. Ну, покажи, покажи свою толстую харю!

Второй. Меценат долбаный.

Первый. Прячется.

Второй. Шизофреник.

Первый. За яйца повесить.

Второй. Вот именно.

Первый. Давай.

Второй. Чего?

Первый. Работать.

Второй. Чего работать-то?..

Первый. Чего-чего, пятый номер!

*Расходятся, чертыхаясь. Второй посылает кверху проклятия, потрясает кулаком. Понемногу успокаиваются, сходятся. Нежные звуки мандолины с гитарой. Певцы исполняют «Санта-Лючию». Лица их светлы, покойны, даже слащавы, но свет и покой порою сменяются тревожным ожиданием и короткими взглядами наверх. Здесь автор полностью доверяет мимическому искусству актеров и оставляет лишь пожелание не сбиваться на клоунаду, а следовать в русле трагифарсового существования.*

*(В середине номера во дворе появляется низкорослый, крепко сбитый мужичок и останавливается поодаль, с интересом слушая певцов. А в конце последнего куплета, когда дело идет к последней фразе, он вдруг приподнимается на цыпочки и поет ее голосом чуть ли не контртенором. Пока он тянет верхнюю ноту, певцы успевают несколько раз нервно переглянуться. Наверху аплодируют. Оба слащаво улыбаются, раскланиваются.)*

Первый. Пошел вон! *(Кланяется.)*

Второй. Убирайся! *(Кланяется.)*

Первый. Так и рыщут, так и подкарауливают!..

*Мужичок исчезает. Сцена необязательна.)*

*Звучат шумные аплодисменты, и сверху на артистов вдруг сыплетсЯ золотой дождь: это ассигнации, звонкие монеты вперемежку с золотыми нитями, золотой и серебряной елочной мишурой. Счастливые артисты вздымают руки навстречу золотому потоку.*

*Затемнение.*

*Тот же двор. Первый накрывает ужин на столике в середине сквера. Второй стирает в тазике в сторонке. Возле каждого банка с пивом.*

Первый. А ты представь себе военно-полевые условия, Петров!

Второй. Ага. По защите отечества.

Первый. Окопы. Передовая...

Второй. От негодяев.

Первый. И что вместо кульков сыплются мины. Осколки... Вот так, знаешь... *(Показывает.)* У-у-у!.. Бах-ба-бах!..

Второй. Говорят, после затяжной обороны все окопы были в говне. *(Вдруг замирает. Подозрительно принюхивается к рукавам. Это теперь у обоих певцов станет манией и будет сопровождать их до конца.)*

Первый. Вот именно. А ведь концертные бригады куда только не попадали.

Второй. Э-э, по мне, лучше уж мины...

Первый. Ну-ну, не дури... Живой ходишь. Да еще и деньги платят.

Второй. Да пошли они!.. *(Достает из кармана скомканные купюры, смотрит на них испепеляющим взглядом, но, помедлив секунду, снова прячет в карман.)*

Первый. Да ты садись... Давай перекусим. И заодно перетрем... Тут ведь спокойно надо... Разберемся... Проанализируем... За и против... Это туда, то сюда...

*Садятся за стол.*

Второй. Ты вот скажи мне, что это?.. *(Глазами обводит двор, как будто видит впервые.)*

Первый. Фортуна! *(Нюхает свои руки, ненадолго замирает, но потом ест куриную ножку, вынутую из фольги.)*

Второй. Ну да, я понимаю... *(Тоже нюхает руки и принимается за еду.)* Счастливый жребий...

*Из окна сверху летит тухлый помидор, шлепается о стол.*

А это?..

*Первый смахивает его, продолжает есть.*

Первый. Не бери в голову. В самочувствии актера *(грызет косточку)*, самое главное *(обгладывает)* — холодный нос *(вытирает салфеткой губы)*, голубой глаз *(нюхает руки)* и пустой мочевого пузырь.

Второй. Это тебя так в Институте культуры учили?

Первый. Вовсе даже наоборот! Кроме пузыря, разумеется...

*На стол падают картофельные очистки, объедки и прочее содержимое помойного ведра. Первый спокойно и даже как-то величественно их сметает, помавая рукой.*

Запомни, сердце твое молчит.

Второй. Кипит!

Первый. Напрасно.

Второй. Кровью обливается!

Первый. Сразу видно, ты — дилетант.

Второй. Да, я из художественной самодеятельности. И что? Из бывшего драмколлектива! Несуществующего Дома культуры. Теперь там вещевая ярмарка.

Первый. Там ей и место. Любительского искусства не существует. Есть только «Любительская» колбаса!

Второй. Кстати, неплохая.

Первый. А я профессионал. И когда меня забрасывают тухлыми яйцами, я знаю, что таковы правила игры. В другой раз будут кошельки с золотом.

Второй. А когда меня обливают *(уклоняясь от летящего помидора)*... помоями, мое сердце плачет!

Первый. А мое — ликует! *(Швыряет деньги на стол.)*

Второй. А мое — рвется на волю! *(Тоже швыряет деньги.)* Все-таки я заслуженный деятель культуры.

Первый. А мое... *(Похлопывает по карманам.)* Все.

Второй. А мое... *(Выворачивает карманы.)* Тоже все.

Первый. А в общем — порядок в танковых войсках.

*Шепча губами, закатывая глаза, считают деньги.*

Второй. Не слабо.

Первый. Много?

Второй. Много. Больше тыщи. А у тебя?

Первый. Меньше тыщи.  
Второй. На!..  
Первый. Оставь себе. У тебя семья, Петров.  
Второй. Не-не!.. Порвну, Савельев.

*Сидят, курят.*

Первый. На золотую жилу напали. Трехмесячный заработок.  
Второй. Не нравится мне это.  
Первый. Клондайк.  
Второй. Я бы ушел. Кидает и кидает. Поди знай, что там.  
Первый. Мы выше этого.  
Второй. Вот залепит он в тебя еще раз говном.  
Первый. Увернусь.  
Второй. Брызги долетят.  
Первый. Слушай, а ваше звание как называется?  
Второй. Какое?  
Первый. Ну вот — заслуженный деятель культуры.  
Второй. Так и называется.  
Первый. Нет, в обиходе.  
Второй. Ну, знаешь...  
Первый. По-простому!.. По-нашему, а?..  
Второй. Как-то это... Засраку. К чему это?..  
Первый. Засраку!.. (*Смеется.*)

*Хохочут оба.*

Первый (*серьезно*). Ну, так а ты чего ждал?  
Второй. Не надо мне ничего... Не ждал и не жду...  
Первый. Ладно, ладно... Еще немного и уйдем!  
Второй. Бодал я эту демократию.  
Первый. Мы будем сами себе хозяева.  
Второй. Проживу без свободы. Была бы воля. Мне и воли хватит...  
Первый. У нас все впереди. И небо в алмазах, и нос в табаке. А воли столько —  
хоть соли.  
Второй. Костюмы как из помойки.  
Первый. Вычистим.  
Второй. Рубашки как... половые тряпки!  
Первый. Постираем.  
Второй. Нам и до дому в них не дойти — воняет.  
Первый. А мы и не пойдем.  
Второй. То есть как это?  
Первый. В баньке решил помыться? Ишь ты какой чистоплотный. А место —  
займут.  
Второй. Кто?  
Первый. Да мало ли артистов шатается. На вокзалах — поют. В электричках —  
поют. В пивных — поют. А куда им деться? Ленконцерт, говорят, разогнали. Эстраду —  
к чертовой матери. Говорят, скоро и оперу разгонят. Нет, за место надо держаться.  
Второй. Так что нам теперь — здесь ночевать?  
Первый. А что ж, раз напали на золотую жилу.



Второй. Хороши старатели. Золотари!

Первый. Нас здесь приняли. Мы востребованны.

Второй. А в говне?

Первый. Боже ты мой!.. Ну, называй это по-другому. Социально ангажированны. То же самое.

*О стол шмякается тухлое яйцо.*

Второй. Сволочь какая.

Первый. Не огорчайся. За нами духовность. Культура-а!.. *(Зевает.)*

*Певцы зевают, потягиваются. Роняют головы на стол. Темнеет.*

*Раннее утро. Артисты просыпаются, вылезают из подвала. Во дворе чирикают воробьи, курлычат голуби, шаркает метла дворника. А также скворчит яичница.*

Второй. Слышишь, Савельев?.. *(Принюхивается, жмуря глаза.)*

Первый. Что?

Второй. Скворчит! Яичница на сковородке.

Первый. Где?

Второй. Там же.

Первый *(подумав)*. С беконом?

Второй. Пожалуй, с беконом.

Первый. Значит, свежие — себе, а протухшие — нам?

Второй. Ты думаешь, он сам себе ее жарит?

Первый. Ну, что ты, кухарка. Он — барин. *(Показывает, как сидит барин в ожидании завтрака.)*

Второй. Он — говно.

Первый. Нехорошо так о своем меценате. *(Громко, подобострастно.)* Доброе утро!.. Нет ответа... Доброе утречко!.. *(Молчание.)* Ну что ж, приятного аппетита...

*Настраивают инструменты. Сверху выливают ночной горшок.*

Второй. Моча?

Первый *(удовлетворенно)*. Во всяком случае, не говно. *(Равнодушно.)* Ночной горшок, должно быть.

Второй. С утра издевается.

Первый. А мы ему — бодренькое! Седьмой номер! *(Отбивает такт.)* Начали!

Вместе. По улице ходила

большая крокодила.

Она, она —

голодная была!..

*Сыплются деньги.*

Второй *(на музыке)*. Что-то сегодня одни четвертаки.

Первый. Зато много.

Второй. Что я, ишак ему — десять раз поклоняться.

Первый. Считай, что выходишь на поклоны.

Второй. Иди сам кланяйся.

Первый. Новенькие купюры.

Второй. Слушай, а это не фальшак?

*Сверху летит всякий хлам.*

Второй. Не могу! Не могу! (*Швыряет деньги, топчет их.*) Не могу больше! Пойдем отсюда, Петров! Уйдем, не оглядываясь! А?.. Да чтобы я... Да я же... (*Плачет, размазывает слезы.*)

*Летят струи воды, с треском ложатся вблизи артистов.*

Ты что же, ублюдок! Пожилого трудящегося человека... Пенсионера!.. Да я всю жизнь на заводе... на ниве культуры!.. Массовиком всю жизнь проработал, никто мне слова худого не сказал... За что же ты меня так унижил?

Первый (*собрав деньги, усаживает коллегу и садится рядом с ним*). Ранимый ты мой... Успокойся...

Второй. Да!.. (*Всхлипывает.*) За что?..

Первый. Тонкий...

Второй. Вот именно...

Первый. Чувствительный.

Второй. Мы и так, знаешь, не в лучшем виде. Вроде шутов... Наряды дурацкие...

Первый. Это жанр.

Второй. Я понимаю... Башмаки каши просят...

Первый. Это маска.

Второй. Да-да...

Первый. Артистический образ.

Второй. Но я же не возражаю. Но говно-то зачем?

Первый. Это прием.

Второй. Ох!..

Первый. Это метафора. Надо терпеть, Петров.

Второй. Доколе, Савельев?

Первый. Пока будем востребованны.

Второй. Гнусный репертуар...

Первый. Поставим вопрос...

Второй. Очень противно.

Первый. Это временно.

Второй. А говно?

Первый. Не всегда, бывает моча.

Второй. Как унижают!..

Первый. Но и ценят. А вот когда убедимся, что мы не нужны...

Второй. Пойдем со двора, Савельев, да?

Первый. Возможно... А возможно, поработаем над репертуаром. Ты знаешь, мы могли бы петь песни народов СНГ.

Второй (*подумав*). А почему не ОДКБ?

Первый. Разумно.

Второй. Скажи, а чем хуже трофейные песни?

Первый. Что ты имеешь в виду?

Второй. Грузинские, украинские.

Первый. Ничем не хуже! Это неплохая идея. Вот видишь, еще немного, и уйдем! У нас все впереди!

Второй. Мы будем сами себе хозяева, да, Савельев?

Первый. Да, Петров! А пока надо терпеть. Верь, настанет день! Мы займемся искусством! Знаешь, Лев Толстой, когда попал в сложную ситуацию, успокаивал себя так. Но ведь это, рассуждал он, могло кончиться еще хуже. Разумно?

Второй. Разумно.

Первый. Далее. Я всегда должен помнить, говорил он, что есть люди, которым хуже, чем мне. Правильно?

Второй (*пожимает плечами*). Наверное...

Первый. И третье! Это когда-нибудь кончится... Да-да, кончится.

*Пауза. Смотрят друг на друга.*

Второй. Это когда-нибудь кончится... (*Посреди двора, задрав голову к окнам, громкогласно.*) Это когда-нибудь кончится?..

Первый. Нет, ты не Лев Толстой..

*Пауза.*

Второй (*задрав голову к небу, потрясая руками*). Это когда-нибудь кончится?!

*Пауза.*

Первый. Это когда-нибудь кончится?!.

*Пауза.*

Вместе. Это когда-нибудь кончится?!.

*Далее звук выключается. Певцы, вздымая руки к небу, продолжают что-то выкрикивать, но их не слышно. Свет меркнет.*

*Здесь можно закончить спектакль. Но если будет желание, на финал можно сыграть пантомиму.*

*Они стерпят все, утрутся, умоются, поселятся в подвале — что называется, обустроятся. Костюмы их превратятся в грязные лохмотья. Струны порвутся, инструменты расстроятся. Они простуженно захрипят, засияют, но петь будут: под бубен и губную гармонику. Всякую дребедень. То ли золотой дождь, то ли елочная мишура в разноцветных огнях будет летать и кружиться над ними как символ надежды, как обещание грядущего праздника.*

*Однажды утром во двор придут другие, слепые певцы — мать и сын. Держась друг за друга, обогнув двор, чисто и свято споят псалом.*

*Падшие артисты подстроятся к ним. Так, не переставая петь, положив руки друг другу на плечи, они и уйдут вчетвером.*

---

---

Вячеслав НЕМЫШЕВ

## ЮБИЛЕЙ

### Маленькая повесть

*Писателю Эриху Марии Ремарку посвящается*

Мне исполнилось сорок лет в метро на станции «Таганская». Мне нравится проезжать «Таганскую»: она связана с именем Высоцкого. К сорока годам я окружил себя порядочными людьми: Шекспиром, Толстым, Хемингуэем, Ремарком. Читаю в метро: езжу в метро нечасто, поэтому читаю быстро, чтобы за поездку туда-сюда успеть прочитать половину.

Закрылись двери, следующая станция «Павелецкая», я посмотрел на часы: понял, что мне уже сорок, и перелистнул страницу.

...Умными оказались люди бедные и простые — они с первого же дня приняли войну как несчастье, тогда как все, кто жил получше, совсем потеряли голову от радости, хотя они-то как раз и могли бы куда скорее разобраться, к чему все это приведет. Катчинский утверждает, что это все от образованности, от нее, мол, люди глупеют. А уж Кат слов на ветер не бросает...

Жаль, что мне ехать недолго. Когда долго, я вчитываюсь и не замечаю людей вокруг. Меня толкают, я тоже толкаюсь, но не замечаю. К тому же Ремарка читаешь за поем. Прелестный, бодрый, здоровый голос объявил:

— Следующая станция...

Жаль, рвется мысль: восприятие умной книги — это как слушать «Коней привередливых» Высоцкого и не дослушать. Следующая моя — «Киевская».

Мне нужно в «Европейский» — прелестный торговый центр на площади Европы. Я не люблю Кольцевую линию, на ней пахнет пригородными электричками: по моим ногам прокатывается тележка, тележку катит мужчина с широкой спиной. Я свирепею и всю дорогу наверх из метро думаю, как было бы хорошо дать тому мужчине пинка.

Нужный мне выход из метро сразу в торговый центр. Мне на пятый этаж. Там банкетный зал. Я еду на юбилей...

Изя Гарцман, рыжий пройдоха, но исправно мне платящий, позвонил и сказал: «Муся! — он нагло звал меня Муся, потому что сам был голубой и хотел, чтобы все вокруг отзывались на нежные имена. — Муся, дорогой, постоишь с микрофоном? Полтора часа — две сотни баксов».

---

Вячеслав Валерьевич Немышев родился в 1969 году. Работал военкором на телеканалах НТВ, ГТРК «Вести», «Звезда». Некоторое время находился в зонах боевых действий. Автор книг: «Сто первый», «Буча», «Синдром Корсакова», «Дневник полковника Макогонова» (издательство «Вече»). Лауреат премии Союза писателей РФ за книгу «Буча». Фильм «Камчатка — лекарство от ненависти» получил Гран-при фестиваля документального кино в Амстердаме (2014).

Две сотни мне нужны — я нигде не работаю. Певица Алла Пугачева спрашивает: «...ну как на свете без любви прожить?» Не знаю, зато знаю, как прожить без зарплаты, но в двух словах не объясню: тут запить нужно и чтобы на третий день в пивной, за грязной стойкой, стоял официант, студент-доходяга. Ему я бы мог рассказать — он поверит.

Взрослые мне не поверят: во-первых, взрослые уже не читают Ремарка, во-вторых, они думают, что я — неудачник. И ошибаются.

Пятый этаж в «Европейском» — парковка. Парковка машин, а не отечественного хлама. Хлама нет: меня радует чистота под ногами и под колесами. Грязь собирают дворники из братских республик, паркуют машины парковщики из дальнего Подмосковья. Они мне объясняют, как пробраться в банкетный зал. Пробираюсь. Иду по коридору. Эрих Мария! Какое имя! Я не завидую Эриху Марии, я благоговею перед ним.

В подсобных помещениях артисты готовятся к выступлению: девушки в тонких колготках, юноши с лицами арлекинов. Мужчины в строгих костюмах — это охранники заведения. С охранниками нужно говорить любезно, или на их языке, или молча показать им раскрытый паспорт с фамилией.

Мне указывают, куда идти, я иду и через узкую дверь попадаю в предбанник — холл, где высокие потолки и окна во всю стену, на стенах картины маслом: абрикосовые косточки, гранаты, красная вишня на снегу. Ближе ко входу в банкетный зал — листья тополя крупными мазками; сирень в голубой вазе, но в теплых тонах; лодка тонет в желтом море под жареным небом.

Банкетный зал разделен на три сектора: сцена, на которой стоят двое мужчин с микрофонами; центральная зона со столиками на десять персон каждый, меж столиков носятся официанты, они разговаривают шепотом; и техническая зона. В технической зоне пол устлан проводами: когда видишь такое количество проводов — коммутацию, начинаешь с уважением относиться к видеоинженерам; когда видишь видеокамеры, выстроенные в ряд, проникаешься уважением к операторам. Камер пять или восемь. Меня трогают за рукав. Изя. Рыжий черт.

— Изя, я пришел.

— Мой ты дорогой... Денежки, как всегда, после.

— А можно до?

— Я тебя люблю...

— За что?

— Ты не еврей, но несгибаем.

Изя обрисовывает ситуацию:

— Понимаешь, милый, это юбилей известного композитора.

— Да-а?

В это время двое мужчин на сцене запели под громкую музыку, я прислушался и понял, что один из них поет по-итальянски. Изя показал кивком:

— Вон тот милый мужчина справа наш юбиляр.

— А что он написал? — вполне закономерный вопрос с моей стороны: например, композитора «Трех мушкетеров» публика в лицо не знает. Изя замаялся. Когда Изя мнется, я понимаю, что этот гад сейчас будет говорить правду.

— Он пишет для узкого круга... — и вдруг, будто в оправдание, Изя отчеканивает полупшепотом, коснувшись мягкими губами моего уха (меня передернуло). — Он депутат... ну да, да, думской фракции...

— Фракции?

— Фракции. И крупный бизнесмен, — и тут же, снова оправдываясь: — Будут высококультурные, порядочные гости. Никакой бычки, никаких пальцев. Все прилично.

Интеллигентное общество. В общем, я тебе все объяснил. Ну, спроси там... — Изя задумался. — Сорок лет как-то не принято отмечать. Концерт... Ну, пусть чего-нибудь пожелают юбиляру.

— И все? — спросил я.

— Да, дорогой, — ответил Изя и сделал муа-муа губками. Он запнулся о комму- тацию, грубо выругался и ушел с моих глаз. Я подумал, что симпатизирую голубым. Они безвредны.

Юбиляр на сцене распелся: у него был голос с хрипотцой, ему нравилось держать микрофон у рта. Пел он неплохо. Я минуту послушал и вышел из банкетного зала в холл, где мне и предстояло работать. Изя, пока вводил меня в курс дела, таскал за собой по технической зоне и познакомил с оператором. Оператор, невысокий паре- нек, на свету оказался среднего роста мужчинкой, с морщинками на висках и лбу, пегими выцветшими волосенками и приятной, открытой улыбкой. Он суетливо по- здоровался, заговорил о ерунде, одним словом, сразу мне понравился.

Мне нравилось взрослеть. В двадцать пять у меня была женщина. Случайно она стала моей любовницей и другом года на три. Она была некрасива, но беспардонна в постели: я долго забывал ее. Она мне сказала: «Муся, — она тоже звала меня Му- ся, как и Изя, но по другому поводу: просто я был Миша, — Муся, ты станешь нра- виться женщинам к сорока». Час назад на «Таганской» мне наступило сорок.

Я прошелся по холлу. То тут, то там стояли девушки в черных платьях с деколь- те, пламенными губами и четко вычерченными под платьем трусиками. Они именно стояли — в этом заключалась их работа. Когда юбиляр выйдет в холл встречать го- стей, девушки станут улыбаться ему, станут улыбаться гостям; меня, высокого шатена в голубых джинсах и черной водолазке на круглых плечах, они замечать не долж- ны, потому что я в некотором роде обслуга. Но только в некотором.

Я подошел к панорамному окну. Центр в огнях. Огни центра Москвы отличаются от вокзальных огней главным — цветом. В центре — цвета яркие, на вокзалах — заметные: чтобы толпа не проскочила мимо своей пригородной электрички. Центр люминесцирует. Перекинулся хрустальный мост через замерзшую реку, по нему лю- ди сразу попадают на площадь Европы. А с площади Европы буквально шаг до при- городного перрона Киевского вокзала: очень удобно — из Европы в Нару. В Наре огней нет. Там ночью — ночь: люди спят после трудового дня.

Я знал, что за моей спиной стоят две девушки-модели: они, как стражники у лифта, должны первыми приветствовать гостей. Я обернулся и двинулся от ок- на; девушка, что стояла ко мне лицом, смотрела на меня, не отрывая взгляда. Мне по- казалось, что она смотрела с восхищением: в ее возрасте (а было ей лет девятнад- цать) страсть еще не знакома девушкам, но они всем сердцем стремятся познать ее. Что и читалось в глазах юной особы у лифта. Я прошел мимо. И встал у стены: по- искал место для рук, нашел и сунул их в карманы.

Минут тридцать мы просто стояли. Продюсером Изей был нам придан инже- нер, премилый толстячок с косым взглядом. Присмотревшись к нему, я примерился к его взгляду — в правый глаз. Косой инженер меня не беспокоил: они с оператором ковырялись в камере — мне было все равно, чем они заняты. Я равнодушно водил глазами по залу. Наконец появился первый гость. Первый — самый ненужный и не- важный. Так обычно бывает на юбилеях — ценные кадры появляются под занавес. Первый был очень близок юбиляру: они поцеловались и выпили поднесенного при- слугой шампанского, закурили тонкие белые сигареты.

Юбиляр выглядел на сорок. Миллионов... Я улыбнулся про себя — миллионов у него, должно быть, было больше, чем «на сколько он выглядел». Так принято

в порядочном обществе: чтобы не вызывать ненужную зависть и не выделяться среди приличных и порядочных людей, часть миллионов переводят в валюту и прячут в банках.

Мне стало смешно от собственных рассуждений. Вот бы их записать и дать прочитать вон хоть инженеру. Или фотографу...

И тут я увидел ее. И вся пошлость про деньги вылетела из моей головы.

Она была прелестна: темно-каштановая головка, узкие плечи, тонкие руки, губы, профиль и беспардонный взгляд густо-карих глаз. Моника Беллуччи, ты моя! — подумал я. Она зачем-то натянула на себя темные, в полоску, брюки со стрелками, и эти стрелки расходились на ее шикарном заду. Брюки не портили ее, скорее, возбуждали фантазию. На ней была темная глупая кофточка. Она двигалась по холлу так: от бедра, повиливая стрелками на заду, выбирая носиком туфельки, куда наступить. Туфельки на ней были со стертými носками — это единственное, что мне не понравилось.

Две маленькие ручки сжимали большой фотоаппарат, она занимала позиции-позы: когда видела кадр, подносила камеру к профилю и делала снимок. Смотрела, что получилось, и снова вздергивала носик. Она была юбилейным фотографом. А может, как и я, перебивалась случайными заработками: только у меня главное позади, у нее, похоже, впереди.

Мы пересеклись взглядами, она заметила, что я наблюдаю за ней. И не загордилась, не взбеленилась. А стала исподтишка посматривать: сначала, чтобы убедиться, что я в самом деле наблюдаю, потом, чтобы знать, что я все еще наблюдаю. Потом привыкла ко мне, а я к ней. Потом пошли гости.

Оказалось, что все гости очень близки с юбиляром. Все — и мужики, и бабы — с ним нежно расцеловывались.

Моя Беллуччи их щелкала.

Начал работать и я: мы подсакивали к очередному гостю после того, как тот облобызается с юбиляром, подсовывали микрофон в лицо — два слова юбиляру! Ах-ах-ах, какой он, юбиляр, замечательный, говорили все гости. Мы говорили нежнейшее спасибо и отходили к гобеленовой стене с гранатами и вишней на снегу. Изя просил снимать только известных гостей: артистов, политиков, меценатов. Меценатов я в лицо не знал, политиков знал не всех. Артистов и телеведущих — плевое дело. С них и начали. Как и обещал Изя, не было ни одного неприличного, все изысканно пахли и держали под локотки декольтированных баб. Бабы мне не понравились — ни одна. Я все время между «дорогой мой юбиляр, как я тебя муа-муа!» искал и находил глазами свою Беллуччи.

Гости шли не сплошным потоком, и мой оператор, увидев знакомого охранника, отошел к нему и стал с ним беседовать. О чем они беседовали, я не слышал, но когда оператор вернулся и поднял с пола камеру, то рассказал, что с этим охранником они встречались в Чечне в первую кампанию. Крутой был спецназовец! Я никак не отреагировал. Оператор стал рассказывать инженеру про Чечню. Я искал глазами мою Беллуччи. Ее не было, она смешалась с толпой, и я загрузил.

Это было в первом мае нового миллениума...

Мне снился сон. Снился солдат, танцующий на броне странный танец: солдат стоял во весь рост на башне бэтээра, поднятые руки пропадали в огромном красном овале заходящего солнца. Солдат двигался как-то лениво: то прижимал локти к бокам, то выбрасывал длинные кисти поочередно вверх; руки плавались в горячем

воздухе, сливались с серым солдатским камуфляжем. От пыльной дороги и раскаленной брони волнами медленно поднимался прожаренный воздух. Танцующий на броне невысоко вскидывал колени, приседал, притоптывал: он не стучал зло, не выбивал ногами истеричную чечетку, он танцевал... солдатскую джигу...

Жаркий май. Ханкальская дорога. Вдоль обочины выстроилась армейская колонна: рокочут моторами «бэхи», наводчики крутят башнями; военный с лицом как у мумии запрокинул голову, вытряхивает из фляги последние капли, кажется, что он кадыком пьет — так ходит бугор вверх-вниз по длинному горлу. Флаг на флагштоке над головной бронемашинной, на броне солдат танцует джигу... Это уже не сон. Мы выбирались из тошнотворной Ханкалы — тащились по дороге к КП группировки. Перевалив за шлагбаум, оказались на ничьей территории. Дорога. Она ведет в Грозный — город стальных крестов и пустых дорог. Я называл этот город кладбищем саперов. Тир... Мы тоже были мишенями. Это была игра, игра, от которой кровь стыла в жилах. Я многого тогда не знал: что контрактников называют «контрабасами», что они почти все идиоты, что среди них бывают приличные люди; что саперы гибнут раз в неделю; что мы, журналисты, тоже идиоты и что среди нас почти не попадается приличных людей. Добраться из Ханкалы в Грозный было подвигом; со временем к подвигу привыкаешь: мы привыкли бояться, привыкли работать, выпив или не выпив водки. Привыкли смотреть на смерть. На смерть смотреть хотелось — она ужасала. Где-то здесь, знал я, слева от Ханкальской дороги, если смотреть в сторону Грозного, был дачный поселок. Я предполагал, и у меня была даже схема, что в одном из дачных домиков, в подвале, навалены истлевшие трупы. Трупы, может быть, наших солдат, но недоказуемо. Я решил разведать. Нужны были психи, которые полезли бы с нами в густые заросли «зеленки». От жары становилось скучно, мы прошли мимо колонны, военные смотрели на нас равнодушно — привыкли к камерам и журналистам. Мы спросили, скоро ли колонна двинется в город. Военный с острым кадыком, стерев с лица пыль платком, стер и маску мумии, сказал, что неизвестно. Если военный отвечает, что неизвестно, значит, это военная тайна. Мы не стали тратить время и продвинулись вперед, но недалеко, чтобы колонна виднелась, и стали ждать попутку. Я размышлял так: доедем до комендатуры, там психов много, больше, чем на пустой Ханкальской дороге. Но психи попались именно на Ханкальской дороге. Бешеная огромная машина «Урал» неслась, ее мотало, будто у нее не было заднего колеса. Со скрежетом машина остановилась на мою поднятую руку, из кабины вывалился «контрабас» с пьяными глазами и небритым подбородком. Он выглядел не воинственно, а как тень свихнувшегося водителя-дальнобойщика. Мы запрыгнули через борт, за бортом были еще пятеро. Мы понеслись. Мы летели по Грозному; контрактник с лицом Гамлета, но коротко стриженный, доложил мне на ухо, что водитель пьян неделю: так ехать еще ничего, страшней, когда он засыпает за рулем, поэтому специально рядом садится доброволец, чтобы будить водителя. Я ничего не ответил, нас как раз мотнуло, и мы чудом — в полуметре — проскочили мимо бетонного «стакана» у дороги. Слюны во рту не было, я нервно сглатывал воздух. В комендатуре можно было пить, курить и сквернословить, только не пугать старших офицеров видом видеокамеры. Мы быстренько сговорились и на той же машине выехали в обратную сторону: когда проезжали мимо «стакана», я закрыл глаза. Проехали мимо колонны, она еще стояла. Свернули с дороги, где я указал, проехали еще метров сто и остановились. Из-за борта выпрыгнули человек семь контрактников и мы, журналисты с камерой. Водитель наконец заснул. Мы, покрутив карту так и сяк, решили двигаться, как обычно в таких ситуациях, наобум и углубились в «зеленку». Мне дали автомат. Шли мы след в след. Я ша-



гал и думал, что по этой дороге когда-то шли убийцы и их жертвы. Мы нашли домик. Я сидел у входа, зажав в руках автомат, и водил дулом по «зеленке»: представлял, что там, в «зеленке», крадутся враги, чтобы всех нас поубивать. Огляделся и понял, что сижу на открытом месте... В подвале домика мы нашли то, что искали.

Ужасный запах, который всегда сопровождает процесс разложения человеческого тела, отсутствовал, но в подвале, освещенном фонариком, я уловил запах тления, запах разложившегося уже тела. Ноги в светлых кроссовках торчали наружу, остальное тело было присыпано землей; я увидел холмик, словно кто-то поленился похоронить тело как положено, наверное, торопился и просто прикопал его. «Кто „кто-то“? — думал я. — Убийца или убийцы?» Тогда я думал, что на войне нет убийц, на войне — враги. Контрактник, которого я звал про себя Гамлетом, спустился в подвал и зацепил труп за ногу «кошкой». Мы отошли на безопасное расстояние. Гамлет дернул. Я зажмурился и забыл про автомат, что был у меня в руках. Взрыва не последовало, тело не было заминировано. Мы вытащили тело наружу и стали искать другие тела, но больше ничего не раскопали. Тело, которое мы нашли, было без верхней части: ноги были, таз был. И больше ничего — половина. И никаких документов. Может, я ошибся? Мы еще раз повертели так и сяк карту. Нет, все точно. И мы решили уходить. Мы засунули останки в мешок, ноги не уместились — так и торчали из мешка светлые кроссовки.

Сумерки торопились. Краснел песок и облака — дело шло к вечеру.

Колонна все так же стояла вдоль обочины Ханкальской дороги. Контрактник Гамлет узнал, что колонна — комендачи из другой комендатуры, они ждут своего зампотыла, скоро они отправляются в Грозный. Решили ехать вместе. Пока знакомились и закуривали, малиновый диск солнца завис над дорогой. Мы не знали, кто лежит в мешке, мы не знали, что делать с трупом. Вокруг собрались солдаты. Кто-то сказал: давайте снимем с трупа штаны и посмотрим: если в трусах, то наш, если без трусов, то ваххабит, тогда выбросим в канаву...

Двое молодых людей в одежде официантов подошли ко мне. Я был им благодарен, что они отвлекли меня от воспоминаний. Два года прошло с крайней командировки... я только-только совершил посадку.

— Ну-с, молодые люди, — паясничаю я. У меня хорошее настроение. Я подумал, что вот и еще двести долларов, которые я принесу в дом. — Чем могу?

Они говорили со мной интеллигентно — как порядочные люди. Я не обиделся на них, просто у них была такая работа. Они намекали на мои джинсы, я сначала не понял, они продолжали намекать, а потом один, особенно похожий на официанта, тихо сказал, кривя губы, чтоб никто в холле не разобрал по губам:

— Мы вас очень просим, пройдемте в подсобное... у нас есть темные брюки, вы переоденетесь, нельзя в голубых...

— Я не голубой, у меня были любовницы, — искренне паясничаю я.

— Не в том дело, не в том дело... просто так не принято — в голубом: нужно в черном, в черном. Все в черном, а вы...

— И фотограф, девушка Моника Беллуччи, в черном поэтому? — уточнил я.

— Моника Беллуччи? Причем здесь... Не говорите ерунды. Все в черном, и вы должны быть в черном. Это банкетный этикет! Пройдемте, мы подберем вам по размеру.

— Кто мы? — я медленно превращаюсь в негодяя.

— Ну, как вы не понимаете? — стал горячиться молодой человек. Мне стало скверно на душе. Я снова поискал глазами свою Беллуччи. Вон она. Все в порядке.

— Так что вы хотите от меня? — спросил я официальным тоном. К нам подошла девушка-распорядитель, она стала уговаривать меня. Когда уговаривают девушки — это приятно. Но я только еще больше взъерепенился. Но сдержался.

— Скажите, вы допускаете, что я не ношу белья? Да — трусов. Под этими голубыми брюками нет трусов, сразу тело. И вы хотите, чтобы я разделся? Нет, мне не стыдно... Но я думаю о гигиене. Почему я не ношу трусов? Потому что ваххабит. Не хобит, а ваххабит. Кто это? Долго рассказывать...

Они стали нервничать. И я подвел черту.

— Я не стану переодеваться в чужое. Нужно было предупреждать заранее, я бы сразу надел темное. Я не клоун. Извините. Закончим.

— Предупреждали, предупреждали! — официант чуть не рыдал. Ему было чуть больше девятнадцати-двадцати, он впервые услышал слово ваххабит. Он не знает, что оно обозначает. Девушка-распорядитель старше его, она, вероятно, слышала про ваххабитов, у нее умное лицо распорядителя.

— Меня не предупреждали, — сказал я и подумал: «Черт рыжий. Изя — гад, как всегда!»

...С трупа немного стянули штаны: он был в трусах. Наш. Решили, что, может быть, один из тех семерых пропавших контрактников, про которых писали и говорили год назад. Где остальные? Может, их убили в другом месте? А может, это не контрактник, а кто другой? Но все равно решили помянуть: было время, был повод. Решили распить бутылку. Гамлет выудил бутылку паленого коньяка из кармана. Выпили, сказали слова: что царствие тебе, братан, небесное, и пусть земля пу-хом! Я подумал, что о земле еще говорить рано, хотя для самого истлевшего трупа поздно. И выпил глоток пахучей дряни. Бутылка покати-лась в обочину. Контрабасы занюхивали рукавами и курили. Гамлет забрался на броню головной машины и стал танцевать... За его спиной догорал еще один день чеченской войны.

Мне снился сон: солдат превратился в силуэт, — рыжее солнце обнимало его, а он танцевал на броне свою загадочную солдатскую джигу...

...Ко всему на свете привыкаешь, даже к окопу. Привычкой объясняется и наша кажущаяся способность так быстро забывать. Еще вчера мы были под огнем, сегодня мы дурачимся и шарим по окрестностям в поисках съестного, а завтра мы снова отправимся в окопы. На самом деле мы ничего не забываем. Пока нам приходится быть здесь, на войне, каждый пережитый нами фронт-овой день ложится нам на душу тяжелым камнем, потому что о таких вещах нельзя размышлять сразу же, по свежим следам. Если бы мы стали думать о них, воспоминания раздавили бы нас; во всяком случае, я подметил вот что: все ужасы можно пережить, пока ты просто покоряешься своей судьбе, но попробуй размышлять о них — и они убьют тебя.

Когда бы можно было такому случиться, я бы пожал Эриху Марии руки и поклонился бы ему в ноги. И сказал: давайте с вами прогуляемся по аллее из тополей. Вы мне расскажите о себе... Я всегда таскаю с собой томик Ремарка — дешевое издание в мягкой обложке. Сколько твердости я выработал в своем характере, читая и перечитывая Эриха Марию. В метро и на юбилеях.

Последним, одним из последних пришел кинорежиссер, снявший фильм про Афганистан; он был очень смелым человеком — он сыграл в этом фильме смелого прапорщика и погиб. У него был нос картофелиной. Он был в приличном шерстя-

ном сером костюме и белых кроссовках. На носу было густо пудры. Я пригляделся, когда он высказывал свой респект юбиляру, заметил прыщи под пудрой на носу. Пришла известная певичка, она ласково потрепала юбиляра за ушком. Пришел министр. Он откашлялся. С министром юбиляр не целовался.

Косенький инженер спросил меня, не видел ли он меня где раньше? Я сказал, что вряд ли. Он спросил меня, не работал ли я на таком-то центральном канале, я ответил, что работал. Чего врать, если вопрос в лоб? Кривой инженер стукнул себя по лбу, лоб у него был широкий.

— Вот где я тебя видел! — он вдруг заговорил со мной уважительно на «вы»: — Вы знаете, я хотел в театральное на комика, но, знаете, не решился. Нужны ведь связи, протеже...

Я перебил его. Я говорил уверенно, не сомневаясь в том, что говорю. Хоть мне было и неприятно, что приходится разговаривать о серьезных вещах со случайным знакомым, пусть даже понравившимся мне, я все равно сказал:

— Ни в коем случае. Хотя... Смотри чего есть желание добиться. Если настоящего, стоящего, чтоб на всю жизнь, тогда лбом своим. Только лбом.

— Да, да, вы правы.

Последними входили в банкетный зал незнакомые мне скромные люди. Я не стал брать у них интервью. Я искал свою Беллуччи. Она пропала. Я страдал. Выключили в предбаннике свет — работа закончилась. Я пожал оператору и кривому инженеру руки, сказал спасибо за работу. Пройдя через нарастающий гул юбилея в банкетном зале, очутился в технической зоне. Поймал Изю, не стал высказывать ему про черные брюки. Изя уже знал, он свел руки, как индус, у груди.

— Прости, милый. Что я могу для тебя сделать? Чем отплатить за муки?

Я знал, что Изя юродствует, но зла на него не держал, я похлопал его по плечу. Изя картинно застонал. Я прорычал:

— Гони деньги, гад!

Изя протянул мне свернутые вчетверо две сотни. Я спросил:

— Специально мям?

— Они лежали в кармане брюк... — Изя застонал.

Я знал, что Изя ломает комедию. Изя был правильный голубой, он не выставил пороки на всеобщее обозрение: пил, как и я, в одиночестве. Предлагал как-то составить ему компанию, но я не знал, что за повод случился Изе выпить, и отказался. Просто я не стану пить по чуждому мне поводу.

На сцене опустили экран, началось кино. Кино было глупое и снятое из рук вон плохо: мальчик-сын читал по тексту, как его папа был фарцовщиком. Продюсер Изя сидел за пультом, он командовал всеми восемью камерами.

— Третья, третья, черт возьми! Пятая, пятая, крупный план юбиляра, правее, возьмите вдвоем с супругой... Чертова супруга! Кто-нибудь скажите ей...

— Что сказать, Изя? — спросил один из видеоинженеров.

— Проехали... Седьмая, пятая, крупно, первая!.. — и так все время.

Мне надоело следить за камерами и слушать Изин писк. Я выбрался к операторам, стал за их спинами и принялся выискивать глазами мою Беллуччи. Я нашел ее, она заняла позицию почти у выхода. Как я ее не заметил! Мне захотелось помахать ей. Я помахал. Она не обращала на меня внимания; в какой-то момент мне показалось, что она навела на меня телеобъектив. Она фотографирует меня? Зачем? А вдруг она тоже запала на меня? Мне же сорок, у меня плечи... та девушка ведь думала о страсти, глядя на меня. Мне стало смешно, что я в сорок лет становлюсь женским угодником: только наступило сорок, а я уже — женский угодник. Так не бывает, все

должно развиваться постепенно: и хорошие качества души, и премерзкие. Мне вдруг захотелось спать, я зевнул и вспомнил, как лет двадцать назад стоя уснул, когда, только-только призвавшись на флот, нес службу дневального по своей учебной роте...

Работа моя закончена, в кармане лежат нагретые Изей двести долларов. Но я не спешил уходить — я решил, что останусь до того момента, как станет уходить девушка-фотограф, моя Беллуччи. Я должен познакомиться с ней! «Не знаю, что из этого выйдет, скорее всего, ничего хорошего, скорее премерзкое».

Мы познакомились. Я сказал ей, что не могу найти повода познакомиться: но мы вроде работали плечом к плечу; могу ли я проводить ее? Она навела на меня объектив, я выглядел глупо. Она щелкнула меня и посмотрела, как получилось.

— А вы хорошо получаете, — просто сказала она. — Вам куда? Вы на машине?

— Нет, — ответил я, — на метро, — мне показалось, что она была разочарована моим ответом, но она думала о фотографии.

— Хороший снимок, но там козел на заднем плане...

— Это парковщик, — сказал я.

— Это уборщик, — уточнила она, — влез в кадр. Дайте-ка я вас еще разочек щелкну.

Она щелкнула, у нее получилось. И мы спустились в метро. Я трепетал рядом с ней. Вблизи ей оказалось не больше двадцати-двадцати одного.

— Мне двадцать, — сказала она и назвала себя. — Я Лиза, Елизавета.

— Как царицу, — почему-то заметил я, — или как пионера-героя Лизу Портнову. Вы не изучали пионеров-героев в школе? — спросил я Лизу.

— Нет, у нас были новые учебники истории. А вам сколько лет? Тридцать?

— Сорок, — гордо ответил я и подумал, что зря так сразу вывалил. Вдруг сорок для нее возраст? — Это не возраст! — оправдался я.

— И пятьдесят не возраст, — Лиза интимно повела бедрами. На ней была коротенькая дубленка с отороченными мехом краями и воротником. Она закинула на темно-каштановую головку капюшон. — Вам на какую станцию?

— Я вас провожу. Можно? — глупо сказал я.

— Мне по кольцу.

— И мне...

В вагоне почти не было пассажиров. На «Парке культуры» нас трясло и кидало друг на друга; на «Павелецкой» мы придвинулись друг к другу; когда объявили «Таганскую», я почти обнимал ее. Я очнулся на голос метро:

— ...осторожно, двери...

— Моя! — и бросился к выходу.

— ...закрываются...

— Я позвоню? — крикнул я. — Последние цифры — три ноль три?

— Три ноль три, — сказала она и махнула мне небрежно.

— ...следующая станция...

Мне показалось, что она махнула как-то необычно. Я вышел на платформу, двери сомкнулись между мной и моей Беллуччи. Она смотрела на меня, и поезд увозил ее в черный тоннель метрополитена. С воем скрылся в глубокой дыре последний вагон. Я потопал пересаживаться на «Таганскую» радиальную. Вдруг я нервно сунул руку в карман. Фу-у! На месте. Двести долларов! Я ехал домой. Дома меня ждала жена...

Мы любили друг друга.

Однажды я потерял работу. Жена сказала, что по собственной глупости, я же думал, что не по глупости, просто Бог увел от греха. Грех был государственного масштаба. Я трудился спецкором на Госканале ТВ, до этого спецкором на Независимом канале. Независимый стал просто Каналом. Когда я переходил на Гос, мне сказали: старик, придется врать. Я врал. Но недолго. Бог увел от греха. Слава ему!

Жена считала, что меня уволили по собственной глупости.

Мы стали меньше целоваться, на нее стали мощно влиять циклы и лунные фазы. Она бранилась на меня, мы ругались. Я пописывал свои рассказы, меня не печатали: говорили: не актуально, старичок, пиши актуальное и чтоб ничего было не понятно. У меня так не получалось. Чертово содержание цеплялось за чертову форму, и наоборот. Жена повторяла: о, как мне надоели твои писульки! Она ходила на работу — она трудилась журналистом, ведущим корром в одном крупном издательском доме. Она два раза в месяц получала зарплату, на которую мы жили: ели гранаты, грейпфруты, сыр, вишневые десерты, деревенский творог, «Бородинский» хлеб, кур, мясо, рыбу. Став безработным, я понял, что еда — это жизнь. Еще я понял, что бег — это жизнь. И я побежал. Когда меня вышвырнули с госслужбы, я некоторое время пил и дрался. Протрезвев, я выгреб оставшуюся мелочь и купил беговую дорожку.

Совершив посадку, я научился ездить в метро.

После двадцати семи командировок на войну совершить посадку трудно. Есть такие мои коллеги, которые всю жизнь ездят на поезде, передвигаются по земле. Они славные. Они были на войне, они не совершали посадок — они перешагивали с подножки на перрон. Другие пролетали мимо или глохли в воздухе. Некоторые, самые верные, говорили: лучше умереть на бегу, чем жить лежа. Я побежал. Я бегал без груза, я бегал с грузом, я надевал бронжилет весом в двенадцать килограммов и так бегал. Я стер в кровь две пары кроссовок. Истлевшую от бега кроссовку я приколотил над зеркалом перед беговой дорожкой. Она высохла и съежилась. Это был символ бега, символ жизни. Кофе утром, мясо в обед и творог вечером тоже были символами жизни. Здравый смысл стал символом моей жизни.

Жена меня всячески оскорбляла.

Я терпел.

Я стал бегать по пятнадцать километров.

Сегодня был день моего рождения, мне исполнилось... я посмотрел на часы: четыре часа, как мне исполнилось сорок лет. Это был возраст, так думали все, кому было меньше сорока. Мы с женой решили не отмечать «сорок», но она сказала, что непременно закажет к вечеру суши и вручит мне подарок. Подарок — это жизнь. Безработным нельзя дарить подарки — они расхоложивают. Я искал работу спустя рукава, последнее время работа сама находила меня — такая вот случайная. Но жена восхищалась моей работой — за два часа две сотни в твердой валюте! Она все еще любила меня.

Я пришел, переступил порог квартиры. Мы обнялись.

— Поздравляю, милый! Ах! — она была очень эмоциональна, ей было всего двадцать семь; когда мы познакомились, ей было только-только девятнадцать. Я знал ее, когда ей было десять; я знал ее мать молодой. Я подумал про Лизу-Беллуччи, и щеки мои стали гореть. Жена заметила, отстранилась от меня. Она взяла меня двумя ладонями за щеки. — Что так долго, милый? У тебя появилась женщина?

— Нет... что ты.

— Ты замерз?

На улице стоял конец января, было еле-еле холодно.

— Страшно.

— Как я тебя люблю!

— Как я тебя люблю!

Жена умела поддержать меня в нужный момент. Я умылся — смыл с лица окалину стыда — и сел за стол, на котором стояли в прозрачных коробочках суши, сашими, роллы, горчица васаби, соус и лежали рядом с ритуальными дощечками японские

палочки в белых оберточках. Вдруг вспомнил, вскочил из-за стола, прошел в соседнюю комнату и отодвинул створку шкафа-купе. Из кармана сложенных джинсов вытащил двести долларов, вернулся и положил на стол деньги.

— Это тебе, дорогая. Нам на отпуск.

— Ну что ты, милый, не сейчас, — сказала она, пряча деньги. — Сейчас подарок.

Вообще-то она любила деньги. К сорока я узнал, что деньги любят все женщины. И я смирился. Я любил ее подарки. На этот раз она подарила мне трусы. Я примерил, было эротично. Мы сели есть суши. Суши я мог есть долго: пока я ел, она положила на стол настоящий подарок (трусы были прелюдией) — это был зеркальный цифровой фотоаппарат «Никон».

— Я решила сделать подарок на твой юбилей.

— Сорок лет не отмечают... мы-м-мы... — сказал я, не в состоянии от счастья дожевать суши с лососем.

— Поэтому этот подарок нам — в семью. Ты — за?

— Я — за, — я прожевал сырого лосося: одной рукой притянул к себе коробку с фотоаппаратом, другой машинально тащил в рот новую суши. Я раскрыл коробку и обомлел: моей жене повысили зарплату! Это была прекрасная модель с зум-объективом! Я вцепился в камеру хваткой профессионального фотографа.

— Может, станешь зарабатывать, как раньше, фотографией? — сказала жена.

Я думал, что моя жена, вероятно, на очень хорошем счету в своем авторитетном издании: чтобы купить такую модель, мне пришлось бы отработать с десятков юбилеев, причем уровня не ниже нынешнего — «Европейского».

Когда-то моя жена была танцовщицей стриптиза. Это была шумная история — то, как я узнал про это. Некто позвонил на мой сотовый и сказал: твоя жена танцует голая! Я сильно расстроился. Она три года танцевала, а мне говорила, что работает нянечкой в элитном детском саду: ездила на работу в ночь, возвращалась утром. Мы жили скромно, нам не хватало денег, я еще не работал на большом ТВ. Скоро я стал известным военным корреспондентом, у меня появились деньги. Она все танцевала... Она врала мне, зато заработала за три года на квартиру в столице. Я узнал, что она танцует, и заплакал; решил, что спасу ее от позора! Нет, я не собирался ее убивать. Я уговорил ее, она больше не танцевала. Мы долго жили так: она не работала, училась на журфаке; я мотался по «горячим» командировкам, ссорился с родителями, редко видел дочь от первого брака. Все перевернулось два года назад: она окончила журфак, устроилась на работу, стремительно сделала карьеру. Я же рухнул: меня уволили с Госканала, и я стал учиться смирению. И большой литературе. И с тем и с другим выходило плохо. Я упорствовал.

Все актуальное в современном книгоиздании — ниже пояса, ниже интеллекта пионера восьмидесятых, или так: издательский бизнес изнасиловал литературу. Бизнес — слово, которому меня не учили в школе; всему, что я умею делать хорошего в жизни, меня научили в школе. И больше ничему.

— Дорогой, тебе нужно искать работу. Так продолжаться не может долго...

Она завела этот разговор, завела даже в юбилей, хотя «сорок» не празднуют. Я подумал, может, спеть ей. Не получится... Она уже тянется к сигаретам. К тому же я объелся суши. Я пошел переодевать подарочные трусы на простые, затасканные. Она вышла курить на лестничную площадку. Она, конечно, страдала, что я не работаю. Любая женщина станет переживать, если ее мужчина не работает, потому что ей тогда не остается времени быть женщиной. Но мне было плевать на ее женское начало. Я наелся, мне подарили фотоаппарат, я принес домой немного денег, я придумал новый рассказ, завтра сяду дописывать старый. Я двадцать семь раз был на

войне... Я любил мою жену. Мне было, честно, плевать!.. Мы ложились в постель, она читала перед сном женские журналы, это меня всегда трогало. Я лежал в темноте, закинув руки за голову, ждал, когда она засопит. Она засопела — уснула. Все — можно. И я стал думать про девушку, которую теперь звал Беллуччи. Я не боялся, что во сне стану произносить ее имя. Моя жена была еще очень молода: она спала так крепко, что пустяковыми звуками ее было не разбудить. Если только потрясти за плечо. Но я лежал, не шелохнувшись. И думал про Лизу...

Високосный год поминал своих мертвецов: зима разрыдалась где-то с середины января, снег ложился на землю в ночь, утром его сгребали дворники, и он таял; с неба капал уже не снег, а дождь, — и настроения жить не было. У меня настроение появляется вместе с аппетитом — во время еды. Мы встали с женой рано, позавтракали, она взглянула на термометр за окном. Поежилась.

— Какая мерзость. Плюс два... Посмотри, у меня на панели снова лишняя лампочка загорелась, — говорит жена, опуская в сумочку ключи от BMW третьей модели.

— Надо звонить механику, — говорю я.

Жена сердится, мы сегодня опять спали спина к спине.

— Ты не мужчина?

— Я мужчина, но в машинах не разбираюсь.

— Да ты и в том, в чем надо мужику... — она многозначительно фыркнула, я понял, на что она намекает, — не разбираешься.

— Чтобы мотор завести, нужно ключик повернуть, — парировал я.

Она хотела было устроить скандал, но взглянула на часы и, хлопнув дверью, вышла. Она опаздывала на работу. Я вздохнул с облегчением. Когда мужчина долго берет пищу из рук женщины, он становится либо домашней болонкой, либо бездомным псом. Я пока не был ни тем, ни другим, мне удавалось удерживать свой зыбкий авторитет: с каждым днем это становилось труднее. Наступил год високосный. Високосный год исправно поминает своих мертвецов...

Было рано — только восемь на часах. Я сел писать: заварил чай, с полчаса глядел в окно, как дворники метут улицу от снега; постоял в ванной, думал: бриться или не бриться. Решил не бриться. Наконец сел писать: включил компьютер и подпер щеку ладонью, так сидел перед монитором, уставившись в заставку. Посмотрел на часы.

Я ждал, когда она проснется...

Конечно, она спала долго. Всегда видно по человеку, рано он встает или поздно. Люди жизнерадостные спят до обеда. Беллуччи ты моя! — подумал я. Мне захотелось романтики: что такое двести Изиных долларов по сравнению с романтикой!..

В десять я набрал ее номер первый раз. И пожалел. Она не ответила. Я ждал. В одиннадцать позвонил снова. Тишина. В два часа дня, когда я выпил два чайника заварки и написал полторы страницы, зазвонил телефон. Незнакомый номер. Смотрю, в конце — три ноль три. Не верю глазам, потом думаю: вот нахалка, ведь не спросила, женат я или холост — вдруг неудобно звонить мне в этот час.

— Алле! Кто это?

Я узнал ее голос: голос по телефону был совсем другим, но я узнал. Я назвал себя:

— Это я...

— А-а, — зевнула она.

— Я вас не разбудил?

— Разбудил.

Повисла неловкая пауза — я думал: как же я тебя разбудил, если ты сама позвонила? Она, наверное, искала ногами тапки, мерзла и тянула за собой одеяло. Я почему-

то подумал, что девятнадцатилетние девушки спят голыми. Моей жене было девятнадцать, когда мы полюбили друг друга, но она спала в пижамке.

Мы разговорились. Долго говорили. Она пообещала показать фотки с юбилея. Там был мой портрет. Она сняла меня на работе...

...Мы катались с разведкой по ночному Грозному. Разведчики отработывали адреса, мы прятались за их спинами с камерами и микрофонами. У меня была крохотная камера с инфракрасной подсветкой, я мог снимать в полной темноте. И запомнился мне день, когда оглушило Мельника. Как многие счастливики на войне, стал Вова Мельник отмечать этот день торжественно... Дело было так: на двух адресах сработала разведка чисто: бандюкам мешки на голову, руки за спину и мордой в кузов. На третьем адресе пришлось вышибать дверь. Сержант Вова Мельник шел первым. Мы спрятались за спинами разведчиков, нас оттеснили в самый тыл — на лестничный пролет. Был девятиэтажный дом: девятый этаж, узкая клетка на этаже, человек восемь в полной темноте и тишине. Я жду, когда начнется... Началось. Мельник ногой вышибает дверь, видит, что из темноты вылетает дульное пламя, его бьет очередь в грудь и валит на пол. Мельник успевает выстрелить в ответ и еще живой перекачивается на кухню. И затихает там контуженный и оглушенный. В это время за его спиной понимают, что он убит. Командир кричит своим: Мельника завалили! Я слышу, но молчу, двинуться от страха не могу. Мельник, понятно, тоже молчит, его очередь оглушило. Командир разведчиков говорит: мстить будем за Мельника! Живыми не брать! И бросает в квартиру первую гранату. Потом вторую. Третью... И так далее. Всего было восемь гранат. От взрывов у меня в ушах звон, в голове туман. Я еще не знаю, что Мельник жив, и никто не знает. Слышу: возня, мат. Вдруг выводят человека: руки за спину, пинают и тащат вниз. А следом волокут тело. И так волокут неловко, что ноги у тела задраны, их сержант Усков держит под мышками, а голова тела по ступенькам тук, тук. Вот тут-то я камеру и включил и давай снимать, как солдата неживым волокут с работы. Но Мельник живым оказался, он стал кричать, чтобы Усков дал ему закурить и не бил его головой о ступеньки. Усков думает, что Мельник ранен, вынимает нож и режет разгрузку, чтобы добраться до израненной груди. Мельник уж матом орет на Ускова: что ж ты, такой-сякой, творишь — зачем, гад, обмундирование портишь, за него деньги уплачены! Я снимаю на камеру. Выволокли Мельника на улицу, дали закурить, влили спирта из фляги в рот. Стали фонариками светить на грудь: четыре пули летели Мельнику в грудь, все четыре попали — сначала в автомат, от автомата в рацию и, продырявив разгрузку, ушли в потолок. И еще с десяток веером прошли в миллиметрах от стриженной мельниковской головы. Вот так работа, думал я потом, переписывая кассету Мельнику на память...

Мельник звонил мне из Красноярска, было поздно, и жена, недовольная, что мне звонят не вовремя, пошла демонстративно курить на кухню. Вова Мельник сказал, что сегодня юбилейная дата, как его глушануло, и они в честь этого засиделись допоздна. Я поздравил его. Жена еще из-за того злится, что мне звонят военные со всей страны, звонят, как она думает, со всякой ерундой. И еще из-за того, что я не могу забыть то, что на войне со всеми нами было. Я пытался объяснить ей, что забыть это невозможно. Она плакала и кричала, что ждала меня двадцать семь раз и ненавидит меня за это.



Прошло полгода. Уже полгода мне было сорок. Полгода — это срок.

Наши отношения с женой почти не изменились: она стала приходить поздно, я ставил телефон на виброзвонок; она подолгу засиживалась в инете, когда я уже гасил лампу у прикроватной тумбочки.

Лиза оказалась прелестной любовницей, первой за все восемь лет моего последнего брака. Я не стеснялся врать жене: врать почти не приходилось, она подолгу бывала в отлучке. Она вошла в пул кремлевских корреспондентов, стала ездить по командировкам. Ей стало дозволено писать про Кремль. Власть не испортила ее, но она стала реже появляться дома, она стала одеваться строго; раньше она носила короткие юбки и прозрачные топики, и мне нравилось видеть в ней женщину. Последнее время я путался в чувствах к своей жене. Наша любовь и семейная жизнь была в очередной раз подвергнута ревизии. Я готов был дать взятку ревизорам, но не знал, кто они.

У Лизы жила собака, рыжая такса по кличке Роки.

— Мой отец неудачник, — рассказывала мне Лиза. — Роки, Роки! — она часто прерывалась и звала мечущуюся по дорожкам парка таксу. — Квартиру мне купили дедушка с бабушкой. Дед был известным архитектором.

Она жила недалеко от Садового кольца, недалеко от бульвара и парка, недалеко от салона, где стриглась и делала маникюр, недалеко от своих бабушки с дедушкой.

— Почему твой отец неудачник? — спрашиваю я Лизу.

— Он добрый, хороший, но он всегда спорил.

— С кем?

— Со всеми. На работе, в магазине, в салоне, где я теперь стригусь, с дедом и со мной.

Мне показалось, что она не случайно заговорила об отце: может быть, она сравнивала меня с ним? Молодые женщины выбирают себе мужчину, похожего на отца, кем бы он на самом деле ни был. Мне стало не по себе, и я спросил на отвлекенную тему:

— Ты читала Ремарка?

— Да. «На Западном фронте без перемен». По иностранной литературе. Был экзамен. Я плакала.

— На экзамене? — спросил я.

— Нет, когда в конце он, Пауль, погиб, а в газетах писали, что на Западном фронте все так же — без перемен.

— Я не плакал.

— Ты мужчина... Роки, Роки!

Собака мчалась по дорожке парка, уши ее развевались двумя лоскутами, она пронеслась мимо и умчалась далеко вперед.

— Хочешь, я тебе прочитаю цитату? — и я стал читать:

Но вот я ощущаю губы худенькой смуглой и нетерпеливо тянусь к ним навстречу, и закрываю глаза, словно желая погасить в памяти все, что было: войну, ее ужасы и мерзости, чтобы проснуться молодым и счастливым; я вспоминаю девушку на афише, и на минуту мне кажется, что вся моя жизнь будет зависеть от того, смогу ли я обладать ею. И я еще крепче сжимаю держащие меня в объятиях руки, — может быть, сейчас произойдет какое-то чудо.

Я не успеваю закрыть томик в мягком переплете. Моя Беллуччи кидается на меня в порыве нахлынувших эмоций. Она целует меня, мочит щеку своими губами,

гладит ладонями по щекам, подбородку, шее; захватывает мой затылок, чтобы не как женщина, а как мужчина властно поцеловать меня. Я невольно отстраняюсь от нее. И смотрю на нее с удивлением. Она стала говорить, как много мне пришлось пережить за двадцать семь командировок... Я что-то уже рассказал ей про себя: не помнил точно, но вроде бы некоторые события раскрыл даже в деталях. Мне стало ужасно стыдно и гадко, что она подумала, будто я перевожу на себя слова великого писателя. Она все-таки поцеловала меня. Я не сопротивлялся, я стерпел. Мне было не по себе. Я опустил глаза, будто искал, куда провалиться, в дыру какую-нибудь в земле, щель, трещину в асфальте; но я увидел ее сапоги, модные, дорогие сапожки со стертymi носками... Где-то в тайных закутках моей души я нахожу то, от чего мне стало не по себе, — жена! Она не могла больше выслушивать меня, не могла больше терпеть меня в одной квартире: жить, спать рядом со мной. От меня, как от наездника конским потом, разлило войной. И тошнотворный этот запах удивлял непосвященных, сводил с ума обессиленных, лишал покоя умалишенных.

«Теперь вот и ты...»

— Не стоит думать о войне, милая Беллуччи, — я никогда не называл ее Беллуччи. И вдруг вырвалось. — Прости меня.

— Как ты назвал меня? — она была удивлена, скорее озадачена. Она — Беллуччи?

— Ты не похожа на нее. Но ты была не похожа на других в холле на юбилее! Как и она.

— Я красивая? — она уже не хочет страдать, она хочет пылать и, может быть, сгореть от любви и счастья. Она хочет быть Беллуччи.

— Ты красивая, — говорю я, стараюсь не наступить на таксу, крутящуюся под ногами.

— Роки, Роки! Милый мой Роки!

Когда женщины называют собак ласковыми именами, значит, они думают о сексе. Я посмотрел на часы. Пора.

— Прости, милая, мне пора.

— Не уходи, — закапризничала она. И я не ушел. Конец лета в московском парке как эпилог в хорошем кинофильме про любовь: она собирала первые желтые листья...

Она была такая же, как все девушки в девятнадцать-двадцать лет.

Но страстная...

Собака лижет кончики моих пальцев, я прячу ноги под одеялом. Мне хочется домой, я незаметно смотрю на часы: я на старте, но всегда трудно встать и уйти — нужен повод. У меня повода нет, я встаю без повода. Она распахнулась и лежит бессовестно голая, она делает белыми ножками «ножницы», она распушила по подушкам каштановые, темно-каштановые волосы. Она почти счастлива, как бывают счастливы молодые женщины, у которых не убежало с плиты молоко и у кровати на ковролиновом полу целая кипа непролистанных глянцевого журналов. Мы должны прощаться до следующего раза; с каждым разом мне прощаться легче — я начинаю уставать от ее беспардонной молодости. Заклятый враг страсти — нравоучительная беседа. Я застегиваю брюки и стараюсь не смотреть на ее прелестное тело. Она восхитительно бессовестна. Я бы мог остаться еще, но телефон уже два раза вибрировал, и я знал, кто это звонит...

— Так ты завтра идешь на юбилей?

— Да, дорогой, — она перевернулась на живот и превратилась в Лолиту. Я почти передумал уходить. Но я знал, что она именно этого и добивается. И стал серьезен.

— Тебе не надоело? Мы же говорили с тобой, что ты должна стать серьезной...

— Фу-у!

— То есть сделать карьеру...

— Уу-у!

— Милая, ты талантлива, — соврал я. Мне не нравились ее фотографии.

— Тогда останься.

Она становилась навязчива, я почти не любил ее. Она была неважным фотографом: она могла сделать хороший снимок, но была, как мне казалось, не способна на шедевр. Женщина, которая не способна на шедевр, утомляет. Я убеждал ее, что она непременно должна оставить поприще юбилейного фотографа и заняться интересным, стоящим делом. Интересное, стоящее дело — это большая журналистика. Сказал я и осекся.

— Хочешь, я расскажу тебе про войну?

За полгода я понял, что ей нравится слово «война»: как все страстные люди, она не только была прелестной любовницей — ее внутренний мир, как и бессовестное тело, требовал насыщения. Она превратилась в слух: она соскочила с кровати и стала бегать голая по комнате, схватила какую-то одежду, накинула на себя, прыгнула обратно в постель и подобрала ноги, закутав их одеялом.

— Да, да, милый!

Я подумал, что она все-таки сумасшедшая, и я совершаю ошибку, терзая ее своими воспоминаниями. Но я подумал: почему нет? Она читала Ремарка, чтобы сдать экзамен, и плакала только в конце, где плачут все, кто читает Ремарка для того, чтобы сдать экзамен. Моя Беллуччи похожа на других!.. Мне нужно было бы идти... Я присел на кровать и отключил мобильный телефон.

— Я расскажу тебе две истории. Обе про войну...

Собака расположилась у моих ног, опустила морду на ковролин, так что уши легли по сторонам двумя лопухами.

— Максимализм и равнодушие — ВИЧ русской интеллигенции... Зачем было забывать Ленина? Он был умный человек: умного не нужно ненавидеть, о нем нужно знать. Ленин утверждал, что творчество буржуазного писателя, журналиста напрямую зависит от денежного содержания. То есть нет и не может быть никакой свободы слова, демократии и тому подобной анархической дребедени. Но Россия — страна буревестников и паленой водки. Мы случайно на несколько лет, вопреки ленинским тезисам и принципам буржуазной демократии, освободили пишущие мозги страны от условностей цензуры и денег. Несколько лет мы писали и говорили, что хотели, что считали правильным, что казалось нам правдивым и истинно демократичным. Нам даже говорили, что война — это ад на земле, что нужно призвать к ответу зачинщиков ее, что чиновники, разворовавшие казну, должны сидеть в тюрьме, что недра страны — это наше общее богатство. Боже, как это пошло звучит сегодня! Я покривлю душой, если скажу, что мы на своем Независимом телеканале работали за совесть. За деньги... Нам давали возможность писать и говорить правду, деньгами прикрывая ту брешь, которая всегда образуется между людьми творческими и реальным миром. Нам позволили развернуть во фронт наши души и, невзирая на потери, атаковать, атаковать, атаковать: бить, колоть, резать правду-матку! И мы резали... И мы забывали, что сегодня день зарплаты, что нужно сходить в бухгалтерию отчитаться за командировку, что доллар растет, что доллар падает и т. д. Наши пламенные репортажи, как буревестники Горького, взывали к буре. Страна хотела жить... Государство хотело жить в болоте... Государство сильнее страны, как Ленин величественней тех, кто позволил стране забыть о нем. Я бы составил таблицу деспотов по принципу таблицы Менделеева и каждому деспоту присвоил бы удельный вес в мировой истории. Ленин, наверное, был бы тяжелее остальных. Свинец, а не чело-

век. Так вот: было бы не так обидно, если бы нас раздавили люди из свинца, но нас уничтожили люди из алюминия. Их было больше, они были воспитаны, вернее, «не воспитаны» системой. Они не так быстро плавилась, как люди из свинца. Когда мы почувствовали, что приходит конец свободе нашего слова, каждый из нас бросился занимать нишу. Нишу культуры, нишу политики, нишу криминала, нишу спорта. Ниша войны была моей. Я замешкался, и ее заняли люди из алюминия. Из чего я? Не знаю. Но я закаляюсь... К тому же война закончилась — ее законсервировали. И мне указали на место криминального корреспондента. Мне было обидно, потому что я ходил с разведкой на гору... Мы сидим на первом этаже телецентра Останкино, рядом оператор, щуплый, плюгавый малый: но он пьет со мной, слушает меня, соглашается со мной и поддакивает. «Криминал? — говорит он. — Знаешь, как программа „Криминал“ на нашем Независимом канале зарабатывала деньги? Они снимали негативный репортаж о какой-нибудь несчастной фирме. Приносили кассету директору и объявляли сумму: если им не платили, репортаж шел в эфир. С ментами делились, может, не делились. Но кто станет бесплатно сливать информацию? А крыша? Нужна же крыша! И еще у них телеведущий — бывший сутенер». Это не важно, думал я, кто кем был раньше. Обидно, что мы разворачивались во фронт за те деньги, что нам платили, — могли бы платить и больше. Теперь я согласен с Лениным, когда осмыслил..

Я умолкаю. Беллуччи внимательно вглядывается в меня, дрожит плечиками.

— Замерзла? — спрашиваю.

— Нет, тебя жалко. А ты что, из стали, получается? — она трепетала, ее возбуждала сама мысль об опасности, совсем как взрослую женщину.

Мне опять неловко, что она думает обо мне как максималистка. Вот пример, когда самомнение возвеличивает главного героя в глазах героя второго плана. Я вдруг понял, что совершаю подлость: таких, как моя Беллуччи, нельзя провоцировать войной, они непременно захотят попасть туда.

Натягиваю пуловер. На дворе хоть и конец лета, но лета московского — свежо — облака гуляют наискоски с востока на север и запад. И я читаю:

Облака гуляют наискоски —  
С востока летят на север и запад!  
А я подыхаю от тоски  
И ем макароны на завтрак.

Она удивилась?

Нет. Она не заметила, что это была случайная рифма.

Я не пишу стихов.

Она думала, что пишу.

Она так плохо изучила меня за полгода нашей близости: она открывала форточки, а я люблю, чтобы были закрыты, потому что не хочу слышать шум улицы.

И тогда я посвящаю ей прозу, ту, которую она желала бы слышать.

— Милая, теперь я расскажу тебе про двухсотый батальон и дорогу на юг. Груз двести... Ты знаешь, что такое груз двести? Сейчас все знают. Это мертвые едут домой. Солдаты. Их обмыли в солдатском морге, одели в парадное, положили в деревянный ящик, запаляли ящик в цинк... После этого они становятся «грузом двести» и едут домой. Представляешь, батальон под номером двести! Ты в каком служишь? В двухсотом?! Мама дорогая! Комбат «двухсотого» похож был на ствол дерева. Есть

такие деревья на юге: выгнутые в хребтине, стиснутые окаменевшей корой; ветки ломай — а они не ломаются, лишь гнутся и трещат; плоды на них кислые — в рот не взять; жечь дерево станешь — будет долго гореть, будет в уголь превращаться, и сразу в каменный. Таким вот человеком был комбат «двухсотого». Представь себе, милая, свой первый боевой выход я совершил с «двухсотым» батальоном. Мы уговорили комбата. Мы вышли с его солдатами на южную дорогу. В Чечне, как и в любом просторном месте, много дорог. Южная — та, которая тянулась с севера на юг к старому Бакинскому шоссе и дальше к предгорьям Большого Кавказа. Мы шли по ней. Ехал танк. Бэтээры. Саперы шли и ворошили щупами землю по обочинам. В ямах стояла вода. Была ранняя весна, в горах уже собрали нежную черемшу. Все было для меня необычно и вновь — как ожидание первого ливня: вот как ты меня, слушал я комбата с открытым ртом, а он указывал на сваренный из полуторадноймювых труб крест у моста. «Сапер на фугас должен идти в одиночку, — говорил комбат. — Лейтенант у нас был, царствие ему небесное, и еще четверым рабам божьим земля пухом...» Я тогда спросил его: вы верующий? Он сказал: верить позволительно. И дальше рассказал, что погибли они, кому теперь крест у мостка, в один день: лейтенант первым обнаружил провода, по проводам вышел к мостку, где и прятали подрывники свой фугас. Поднял руку... Все правильно сделал: колонна по его сигналу насторожилась, сам прижался к земле. Ему бы опыта... Он подозвал солдат, разминировали первый фугас. А их подловили на втором. Все четверо взлетели. Собирали останки по ветвям и кустам, не все собрали, все было не собрать... Я внимательно слушал комбата: как прошли мост, я все оборачивался на крест. Я был страшно горд — ведь я прикоснулся к подвигу, из первых уст, как говорится. Комбат еще добавил: если бы не занервничал лейтенант, один бы только и погиб. А точно бы погиб лейтенант? — переспросил тогда я. Без вариантов, сказал комбат. Меня передернуло. И я обратил внимание на животных. Саперные собаки похожи друг на друга, у всех одинаково добрый характер и тоскливый взгляд. Саперные собаки мало живут, потому что сгорают на работе. Так сказал сержант-срочник. Я поверил ему. Потом я поверил комбату, что впереди, у дороги, на нас поставили фугас, и повалился вместе с оператором в канаву. Когда комбат с группой солдат стал выдвигаться в сторону, откуда по нам стреляли, я выскочил из канавы, за мной оператор; мы пристроились к солдатам. Комбат увидел нас, сделал страшные глаза и сказал, что, если мы не спрячемся обратно в канаву, он сам застрелит нас, тогда будет необидно идти под трибунал. Я понял, что комбат боится за наши жизни, был горд, что сам ни в грош не ставлю свою жизнь; мы спрятались в канаве, я посмотрел в глаза бывалому оператору. В глазах у бывалого оператора был страх. Тогда я схватил микрофон и стал суетиться. Не суетись, сказал оператор. Но я вскочил, посмотрел, откуда примерно по нам стреляли, встал так, чтобы была видна картина боя за моей спиной, и поднес к лицу микрофон. Работаем! — прокричал я. Идиот! — сказал оператор и включил камеру. Я говорил «в кадр», за моей спиной слышались выстрелы. У меня дрожали руки и нижняя челюсть; у меня не получалось, я волновался; оператор кричал, что я — идиот! И никак не мог отстегнуть микрофон от камеры: он тоже нервничал, хоть и считался бывалым оператором в нашей Независимой телекомпании... Мы дошли до Бакинки — до конца маршрута. Комбат присел у дороги, положил автомат на колени, и я его сфотографировал. Мы перекусывали тушенкой и сухарями. Потом фотографировались на фоне бэтээра с солдатами двухсотого батальона и их комбатом. Потом мы пошли обратно. Нас хотели взорвать еще два раза: в двадцати метрах перед нами сработал фугас, над головами свистели осколки. Я лежал лицом в луже и не смел поднять голову: мне было обидно, что меня убьют теперь, когда у меня такой материал на руках —

настоящая война; теперь я мог рассказать зрителям правду о войне, что шла на юге нашей страны.

Она вдруг перебила меня, почти крикнула, почти со слезами, вскинула точеный профиль, распушила каштановое, темно-каштановое.

— Правду? Какую?

В кармане предупреждающе завибрировал мобильный телефон.

— Прости, милая, потом дорасскажу.

Я ушел. Она, мне показалось, плакала. Я шел по бульвару, через парк, к метро и думал: как моя Беллуччи напоминает мне... да, да, ее, мою жену, когда ей было девятнадцать лет! Неужели есть женщины-двойники? — думал я. В метро я попал в час пик, стоял в очереди за проездным талоном, спускался по эскалатору, ввалился с остальными в вагон. Ехать мне было недолго и без пересадок, я прижался к дверям и потянулся за Ремарком. Ремарка в кармане не было, я пошарил по другим. Не было! Я забыл Ремарка у Лизы. Ничего, подумал я, заберу в следующий раз. Я еще не знал, что следующего раза не будет у нас с ней...

— Следующая станция «Таганская», — объявил металлический женский голос.

Прошел месяц.

Жена сожалела, что я потерял Ремарка, это была именно та книга, с которой она сдавала экзамен по иностранной литературе на журфаке. Она даже подчеркивала цитаты.

— Как жаль, что ты потерял ее. В метро?

— В метро, — я стыдливо прятал взор.

— Ты знаешь, дорогой, — сказала мне жена, — у нас новая сотрудница. Прелестная девушка, но совершенно бестолковая. Но упертая, думаю, у нее со временем получится. Почему ты так покраснел, ты расстроен, что я теперь буду работать с девушкой в паре? Ты меня ревнуешь?

— Я тебя ревную к работе, — сказал я.

— И к мужчинам?

— И к мужчинам.

— И к женщинам?

— Нет, — сказал я, — к женщинам не ревную, потому что вы все одинаковые.

— Как и вы, мужчины?

— Нет, мы все разные.

— Но женщины так не думают.

Мы снова пожалели о Ремарке. Она все еще помнила о потерянной книге. Она вспомнила и на этот раз.

— Дорогой, я решила тебе сделать подарок.

— Спасибо, — буркнул я.

— Это будет Ремарк.

— Спасибо, — я ждал подвоха. Жена улыбалась так искренне. Она не умела хитрить, она бы закатила скандал. Она менялась, как и я.

— Тебе нужно искать работу, — сказала она мне за ужином. Я пошел переодеть модные трусы на простые, затасканные. Моя жена много зарабатывала, все-таки — в кремлевском пуле: наверное, у нее были любовники.

Беллуччи пропала. Она не отвечала на телефонные звонки. Ее телефонный номер не обслуживался. Домашнего я не знал, так уж получилось. Я пару раз заезжал на ее адрес, потом грустный брел под дождем по бульвару. Уже накрапывала ранняя осень. Одиночество подстерегало меня за углом у метро. Или где-то в другом месте. Оно брело за мной — простуженное одиночество в сыром пальто.

И вдруг она позвонила.

— Алле, это ты? Это я. Ты сердисься?

Я хлюпал по раскисшим дорожкам парка, я присел на скамейку и запахнул воротник пальто, ветер пронизывал мое голое горло. Я не носил шарфов. Лиза сказала, что сейчас не в Москве. Она работает в одном авторитетном издании и сейчас далеко-далеко. Она не в России.

— Если ты в Европе, надень теплый шарф, а то простудишься. К тому же это модно.

— Я в Европе, милый. Обещаю, я буду модной. Серьезной... Помнишь?

Она все еще звала меня милым: все женщины зовут так своих любовников и друзей. По интонации я понял, что перехожу в разряд ее друзей. Она становилась серьезным фотографом, фотокорром, специалистом.

— Милый, я приеду – столько тебе всего расскажу. Вау! Так прикольно! Моя начальница – отпадная баба. Лет тридцать-тридцать два, но выглядит моложе. Страшная зануда. Пьет коньяк ведрами. Никогда не пьянеет. И, похоже, она лесбиянка. Она равнодушна к моей груди.

Я подумал, что мало кто останется равнодушным к ее прелестной груди.

— А я фотографирую осень в твоём парке.

— Осень?.. Милый, мне пора бежать. Пока-пока.

Откуда она набралась этого гадкого «пока-пока»? Изи Гарцмана манера, всех моих чертовых коллег. Изе я все прощу. Изя хоть и голубой, но, когда в Грозном попал со своей съёмочной группой под обстрел, сильно не обгадился, даже записал стендап и снял обезумевшие рожи ментов на блокпосту, отстреливающихся в разные стороны. Изин репортаж был супер. Еще одно поганое слово – «супер». Как дела? Все «супер». С...! Я злюсь. Отчего? Я неудачник? Моя жена – в президентском пуле, меня выгнали с работы, меня бросила любовница. Есть от чего разозлиться.

...Мы добрались до южных окраин Грозного, колонна инженерной разведки погрузилась на бэтээры и в кунги грузовиков и двинулась на Ханкалу. Комбат напоследок пожал нам руки, подарил на прощание теплый осколок. Осколок был с острыми краями: я держал его в руках и представлял, как этот соколок торчит в моем темени, а я воплю от шока и умираю. Меня передернуло. Комбат пожелал нам удачи и сказал: не играйте в войну, не играйте с войной, мальчишки. Он имел право называть нас мальчишками: нам было по тридцать – у него были погоны подполковника...

Они вернулись из командировки вместе с кремлевским пулом. Они разъехались по домам. Их развезли служебные машины. Я слышал, как под окнами взвизгнули тормоза, хлопнула дверь, сработал сигнал домофона. Я заправил одеяло на нашей кровати, присел на стул в кухне, положил перед собой распечатанный на принтере только что законченный рассказ. Щелкнул ключ в двери. Она вошла. От нее пахло коньяком и прелестными духами: они пьют коньяк, когда летят домой. Она разделась и прошла в ванную комнату. Она поставила на диван сумку, она никогда не ставила сумку на пол. Она вышла из ванной голая, не стесняясь меня, – она никогда не стеснялась меня, меня вообще женщины не стеснялись. Она прошла в спальню, бросила на плечи розовую комбинацию. Она потянулась к сумке и достала из нее томик Ремарка. Я прятался в ванной и не видел, что она делала. Я вышел и застал ее лежащей в нашей кровати с глянцевым журналом в руках. У кровати с ее стороны лежала еще стопка таких же глянцевых журналов. На кровати с моей стороны

лежал томик Ремарка. Я присел на кровать, взял книжку, полистал. Я узнавал знакомые, зачитанные моей женой, а потом и мною страницы, перечитывал цитаты, помеченные рукой моей жены. Я стал читать вслух:

— Я встаю. Я очень спокоен. Пусть приходят месяцы и годы — они уже ничего у меня не отнимут, они уже ничего не смогут у меня отнять. Я так одинок и так разучился ожидать чего-либо от жизни, что могу без боязни смотреть им навстречу. Жизнь, пронесшая меня через эти годы, еще живет в моих руках и глазах. Я не знаю, преодолел ли я то, что мне довелось пережить. Но пока я жив, жизнь проложит себе путь, хочет того или не хочет это нечто, живущее во мне и называемое «я».

На следующий, невисокосный год мы все погибли...

Мы прожили еще только год, счастливый и жалкий год. Лиза не вышла замуж: она постоянно путалась в любовниках, иногда звонила. Мы болтали. Я делал вид, что ничего не знаю об их отношениях с моей женой. Жена рассказывала мне об успехах и любовных похождениях своей сотрудницы, некой Лизы, и делала вид, что ничего не знает о наших с ней отношениях. Со своей Беллуччи я расстался за год до нашей смерти. Она все это время ничего не знала про наши с женой отношения.

В минувший високосный год пришли к власти люди, тоже порядочные, но им вообще не было места в таблице: они ничего не весили, они были пустым звуком — ноль целых, ноль десятых. Они не смогли удержать страну в рамках...

Где-то на юге, как обычно бывало в России, началась кровопролитная война.

Моя жена и Лиза погибли во время командировки: случился теракт, был страшный взрыв возле здания, в котором они находились. Я думаю, что от них ничего не осталось.

Но похороны были.

Я думаю, что хоронили пустые гробы. Теща кидалась на гроб и кричала, чтобы гроб открыли и положили ее вместе с дочерью. Она била меня по лицу и кричала, что это я убил ее дочь. Как хоронили Лизу-Беллуччи, я не видел и проводить ее в последний путь не смог. Да я и не думал о том, чтобы присутствовать на похоронах женщины, которой я когда-то рассказывал о войне...

Меня убили через неделю. Меня все-таки взяли на работу: бывшей Независимой, новой Настоящей телекомпании понадобились опытные военные корреспонденты. Мы выдвигались на боевую операцию: в какой-то момент начался обстрел, все попрыгали вниз с брони бэтэра. Я на долю секунды задержался, передавая камеру оператору. Осколок врезался мне в кадык, разорвал артерию. Я помню, как я умирал: я видел небо и глотал собственную кровь, которая была фонтаном из моего горла. Я не чувствовал, как свалился на броню, заливая ее кровью, уже не чувствовал, как меня схватили и пытались наложить мне повязку. Кровь быстро вытекала из моего тела. Потом я поднялся в небо и долго летал над этой землей: горами, домами, реками, кинотеатрами, парками, метрополитенами, Кремлем, улицей моего детства, роддомом, где мама рожала меня. Потом я вдруг сразу исчез. А на земле, среди сотен и тысяч других убитых на войне людей, осталось лежать мое мертвое тело...

— Осторожно, двери закрываются, следующая станция «Таганская»...

Голос метро вывел меня из оцепенения.

Последний раз я заснул стоя лет двадцать назад, когда первый раз нес службу дневального по роте. Дежурный по части незаметно вошел в казарму и дал мне та-



кого пинка, что я опрокинул и тумбочку дневального, и стенд со статьями военного устава. Перебудил полроты. Дежурный по роте, старослужащий матрос, пообещал меня сгноить.

— Молодой человек, смотрите, когда стоите! — девушка с белой челкой хмурилась на меня. — Не видите, я стою.

Вагон был полупустой, я с удивлением взглянул на девушку, на ее глупую белую челку, потом посмотрел на часы. Примерно четыре часа назад мне исполнилось сорок лет. Сорок лет не отмечают, это не юбилейная дата. Но повод. Поезд тронулся, и мы нырнули в черный тоннель. Следующая моя. Я люблю проезжать «Таганскую»... к сорока годам я окружил себя порядочными людьми... Дежавю! Вдруг я вспомнил, испуганно зашарил по карманам. Деньги на месте... Я ехал домой, дома меня ждала вернувшаяся с работы жена, она была редактором на интернет-сайте одной известной телекомпании. Милая моя жена, любимая моя сварливая девчонка, добрая моя попутчица. Я знаю, ты уже приготовила мне подарок на юбилей. Как я люблю тебя! Прости меня, родная, за цифру двадцать семь...

Я вижу в своих руках томик Ремарка, открываю на последней странице и читаю последний абзац:

Он упал лицом вперед и лежал в позе спящего. Когда его перевернули, стало видно, что он, должно быть, недолго мучился, — на лице у него было такое спокойное выражение, словно он был даже доволен тем, что все кончилось именно так.

Я произношу вслух:

— Эрих Мария Ремарк!

---

---

## Николай ГОДИНА

\* \* \*

Большой начальник с маленькой зарплатой  
С утра под окнами шуршит метлой.  
Апрель с досады вдруг готов заплакать,  
С погодой не справляясь нежилой.

Культияпый пионер, с тобой мы квиты,  
Увечные и телом, и душой.  
Окулировкой вприклад привиты  
Друг к другу, биты гипсовой паршой.

Свободные от совести потомки  
Нас выбросят под музыку без нот,  
Пока в осадок выпадут потемки  
И солнце окнам зрение вернет.

\* \* \*

На фоне табака и перегара  
Пахнула баней настель невзначай.  
Судьба за дурь немного поругала,  
Но пригласила вежливо на чай.

Пока не повышает совесть голос  
И не колышет радиоволна,  
Смотрю, как яблоня, приборахолясь,  
Закозырилась, важности полна.

Поразогнав отдельных персонажей,  
Берусь за ум и за лопату враз,  
Понеже над агрокультурой нашей  
Витает дух, а не какой-то газ.

---

Николай Година родился в 1935 году в Полтавской области. Публиковался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Арион», «День и ночь» и др. Автор более тридцати книг стихов и прозы. Лауреат ряда литературных премий, в том числе Всероссийской премии им. П. П. Бажова (2005), Южно-Уральской литературной премии (2014). Заслуженный работник культуры РФ. Почетный гражданин города Миасса. Живет в Челябинске.

\* \* \*

В добровольно-приказном порядке  
Мимо маршируют муравьи —  
Римляне античные, мои  
Топчут приусадебные грядки.

Мы у них за варваров, наверно...  
Вон крапива затаила злость.  
Лук, отстреливаясь, вянет мерно,  
У калины что-то не срослось.

Выглядит трагично куст бадана.  
Сливы не особенная статья...  
Я вчера читал до ночи Дана,  
Чехова бы надо почитать.

\* \* \*

В ритме пятистопного хорей,  
Зримо соловья и зверей,  
С головой в ботанику залез  
Зиму смиренно отстоявший лес.

Лето как привет от гидромета.  
К пафосу не склонного поэта,  
Будто спьяну покачать права,  
Тянет на красивые слова.

По фенологическому знаку  
Утренник сады пугнул, однако.  
Солнце поднялось на крышу дня:  
Так виднее на земле меня.

\* \* \*

Помазал, потер, пошаманил  
И вроде опять на ходу...  
Дамасская роза жеманно  
Теснит ретирадник в саду.

Я помню сирийское небо  
Застиранный голубизны.  
Нелепо представить Алеппо  
На склонах миасской весны,

Где тень, мухроватая слива,  
Калина совсем не плоха,  
Где птица живет боязливо  
На дне неглубоком стиха.

\* \* \*

Мимо берез, у дороги стоящих,  
С песней спешит молодняк на вокзал.  
Был комсомольцем и я настоящим,  
Хоть комсомольских стихов не писал.

С... я сын трудового народа.  
Ближе всего мне живая природа:  
Птички, околки, цветочки, боры,  
Пыль силикозно-карьерной поры...

Облево рощи, не зрелища ради,  
Речка штурмует заторы, искря.  
Тропы узлятся, как буквы в тетради.  
Даль, горы – из моего словаря.

\* \* \*

Однослововой язык собаки  
Мне понятен больше, чем другой.  
Только исподволь землей запахнет —  
В город мы без дела ни ногой.

Слушать — органическое свойство  
Немо молчаливой тишины.  
Наступает травяное войско.  
Мелкие налетчики видны.

Щурится в кустах родник от света.  
Одуванчик вырос на меже...  
Пусть напишет кто-нибудь про это,  
Сам-то не успею я уже.

---

---

Дмитрий ТАРАСОВ

# МОЙ ЗНАКОМЫЙ УБИЙЦА

## Рассказ

В тот магазин неподалеку от Невского я зашел без какой-либо цели. Пройтись, поглазеть на витрины...

В зале, где продавали кинофильмы и компьютерные игрушки, я не задержался и перешел в соседний музыкальный отдел. С вялым любопытством глядя на корешки дисков, я медленно вышагивал между стеллажами — и тут нос к носу столкнулся с Борькой Кузнецовым.

— Сколько же лет мы не виделись? — в просторном помещении магазина его голос прозвучал гулко и радостно.

Действительно, сколько мы не виделись? Лет семь, пожалуй. Работали раньше на одном предприятии, не то чтобы дружили, но общались довольно близко. Оба были инженерами, только я занимался радиотехникой, а Борька руководил отделом телефонной связи. Он был отличным специалистом и частенько помогал мне, бездарному, по правде сказать, инженеру.

Предприятие наше умирало, медленно и мучительно умирало; мы все знали, что рано или поздно ему придет конец, и в глубине души желали, чтобы это случилось как можно скорее; нет ничего хуже, чем присутствовать при затянувшейся и безнадежной болезни, когда начинаешь проклинать и больного, и свою привязанность к нему. Вопреки нашим прогнозам, предприятие агонизировало долго: закроют один отдел, другой, третий, но всегда оставалось что-то, что продолжало худо-бедно работать — и туда, в эти оазисы производства, устремлялись тотчас лучшие инженерные силы.

Проще всего было бы уволиться, но время — середина девяностых годов — стояло тревожное, злое; достойной работы, если, конечно, не считать за таковую торговлю в ларьках, было не найти; вот и приходилось светлым головам, вроде Борьки, прозябать на заводах и фабриках, где им в лучшем случае не давали умереть с голоду. А у Борьки, между прочим, семья была — жена и ребенок, — и ютились они у тещи в однокомнатной квартире где-то в районе Советских улиц.

Имелась, правда, еще комната в коммуналке возле метро «Автово» — огромная, почти тридцатиметровая комната, — но жить там с семьей из-за пьяницы соседа было невозможно. Хотя, с другой стороны, надолго оставлять комнату без присмотра тоже было нельзя: сосед, по словам Борьки, только того и ждал, чтобы

---

Дмитрий Михайлович Тарасов родился в 1965 году в Ленинграде. Окончил Электротехнический институт имени М. А. Бонч-Бруевича. Работал инженером, экскурсоводом, сейчас работает редактором в телекомпании «Петербургское телевидение». Публиковался в журналах «Нева», «Звезда», «Новая Юность», «Сибирские огни», «Крещатик», «Северная Аврора» и других. Рассказы переводились на сербский язык. В 2015 году в издательстве «Лики России» вышел в свет роман «Пятый Собор». Член Союза писателей России с 2011 года.

взломать замок, вынести все вещи и продать их на ближайшей барахолке. Приятелю моему ничего не оставалось, как постоянно мотаться из коммуналки на Советские улицы, и, понятное дело, такая жизнь порой приводила его в отчаяние. Старался он исключительно ради семьи, поскольку ему самому требовалось немного — стол со стулом да проигрыватель с наушниками. Вообще, меня всегда восхищала та забота, с которой Борька относился к своим домочадцам; даже в разговорах он очень редко говорил «я», зато постоянно «мы», «у нас».

Сидя на работе в курилке под лестницей, мы с Борькой обсуждали все на свете — и наше плачевное положение, и мои долги, и его проблемы с жильем. От тех разговоров и вообще от того времени осталось у меня ощущение безысходности. Нет работы, нет денег, дни следуют друг за другом — тяжелые, хмурые, без надежд на улучшение, — а мы дымим сигаретами, беседуем, словно хотим заговорить свои несчастья...

При первой возможности, когда знакомые нашли мне хорошо оплачиваемое место, я с предприятия уволился, и с тех пор, как обычно и бывает в подобных случаях, жизнь развела нас с Борькой в разные стороны. Поначалу, пока еще были свежи воспоминания о совместной работе, мы созванивались, но разговоры получались трудные, с мучительными для нас обоих паузами, так что вскоре общение само собою прекратилось...

И вот я неожиданно встречаю Борьку в музыкальном магазине, и он стоит передо мной, улыбается, и щурит глаза от слишком яркого света, и слегка качает головой — мол, как же мы могли забыть друг о друге...

По всему видно, что нашей встрече он очень рад. В нем почти ничего не изменилось: такой же добрый взгляд, тот же чуть торопящийся голос, те же мягкие усы и борода, разве что седины прибавилось. Глядя на него, никогда не подумаешь, что он инженер, скорее его можно принять за писателя или художника, причем есть в его лице что-то стародавнее, как на фотографиях девятнадцатого века. Если бы я не знал Борькиных родителей, простых рабочих, я не сомневался бы ни секунды, что он происходит из какого-нибудь княжеского рода.

С аристократической Борькиной внешностью, пусть и не связанной с его родословной, очень хорошо сочеталось его увлечение: он страстно любил музыку, причем музыку серьезную, симфоническую, хотя мог послушать и джаз, и классический рок-н-ролл. Еще в советские времена он начал собирать грампластинки, ездил по всяким подпольным рынкам, общался со спекулянтами, а позже, когда в свободной продаже появились кассеты и диски, он стал частым гостем в музыкальных магазинах. Поэтому если уж суждено нам было где-нибудь встретиться, то именно между стеллажами с музыкальным товаром.

Борька остался верен себе — купил три диска — и теперь шел, перебирая их в руках; у меня было время разглядеть его покупки: «Симфония Малера № 5»; «Саксофонист Стен Гетц»; «Стив Вэй, рок-музыкант». Мне ничего не говорили ни эти фамилии, ни музыкальные термины, которыми Борька пересыпал свою речь, тем не менее, когда он говорил о музыке, слушать его всегда было интересно.

Незаметно мы подошли к метро «Владимирская», и тут я прервал Борьку:

— Ты сейчас куда?

— Домой.

Памятуя о том, что у Борьки два дома, я переспросил:

— На Советские, что ли?

— Почему? — удивился он. — В Автово поеду, к семье.

— Так ты с семьей живешь там?!

Борька посмотрел на меня внимательно, а затем рассмеялся:

— Забыл, ты ведь ничего не знаешь, — и вдруг с воодушевлением предложил: — Поехали прямо сейчас к нам, посмотришь, как мы устроились!

В его коммунальной квартире я однажды уже бывал — незадолго до моего увольнения Борька пригласил меня в гости.

Поехали мы тогда сразу после работы. Когда вышли из метро, был уже вечер, правда, совсем светлый, майский.

Дом, где жил Борька, стоял как раз напротив метро «Автово» — большое серое здание сталинской эпохи, с множеством балкончиков, изгибов и углов, а также всяческой советской символики вдоль фасада. Выглядел дом сколь мрачно, столь и величественно. На лифте мы поднялись на четвертый этаж, открыли входную дверь, и в нос мне сейчас же ударил кисловатый запах, какой бывает возле помоек.

— Здесь и есть помойка, — сказал Борька и продолжил: — Разденешься у меня в комнате, а то узколобий Олежка запросто может вещи украсть.

Своего соседа Борька почему-то называл ласково — Олежка — и неизменно добавлял к его имени какой-нибудь хлесткий эпитет.

В огромной светлой комнате сразу бросалось в глаза почти полное отсутствие мебели; справа от двери стоял ветхий шкаф, в дальнем углу — стол и возле него пара стульев с облезлой лакировкой; все остальное пространство занимали книги, сложенные пачками вдоль стен, кассеты и диски.

— Понимаешь, — объяснял Борька, — из-за придурка Олежки тут нельзя держать ничего ценного.

— Где же ты спишь? — спросил я, поскольку не заметил кровати.

— Вот здесь, — Борька указал на прислоненную к стене лежанку. — Откидывается легко, а главное, места не занимает. Живу, сам видишь, как аскет, — добавил он, улыбнувшись.

Действительно, в его жилище царил спартанский дух, и, как у истинного спартанца, у него имелись приспособления для физических упражнений: велотренажер, перекладина в проеме дверей и целый комплект гантелей и гири. Создавалось впечатление, что в комнате обитает холостяк, хотя, по существу, так оно и было, ведь Борька никогда не привозил сюда семью.

— У нас дом хороший, — рассказывал Борька. — И место престижное. Сейчас почти во всех квартирах «новые русские» живут — купили коммуналку, сделали евроремонт, а прежних жильцов переселили куда-нибудь в новостройки. Нам уже много раз такое предложение делали, но недоумок Олежка категорически против. Ему, видите ли, в другом месте жить не хочется, потому что здесь у него все родное: помойки, ларьки, собутыльники.

— А как же его жена? — поинтересовался я. — Ведь женщины в таких вопросах куда практичнее.

— Люся пыталась его убедить, даже через дочку действовала, которую он якобы очень любит, — да все без толку.

— Любопытно, какая у этого Олежки жена?..

— Люся-то? Хитрая и глупая хохлушка. Считает себя очень хозяйственной женщиной, хотя ее хваленая хозяйственность проявляется только в том, что она всякую дрянь с улицы тянет в дом. Между прочим, именно она кретину Олежке привила вкус рыться по помойкам, и у них теперь что-то вроде соревнования — кто больше вещей насобирает. Люся еще с работы тащит — она в аэропорту уборщицей, — и там у них всегда есть чем поживиться.

Пока мы разговаривали, Борька все время был в движении: то крутил педали тренажера, то подтягивался, то поднимал над головой гирию. Впрочем, на мои вопро-

сы он отвечал без задержки и не выглядел запыхавшимся, — видно, сказывалась постоянная тренировка.

Чуть позже, когда мне захотелось в туалет, Борька вышел вместе со мной из комнаты и устроил нечто вроде экскурсии по квартире.

— Тут, — говорил он, показывая на дверь напротив, — Люся живет с дочерью. Они, в общем-то, за порядком следят, Олежку к себе не пускают, иначе он бы вмиг все загадил. Сейчас их нет, поехали к какой-то родственнице в деревню. Продуктов привезут, вина для Олежки...

Мы проследовали в конец коридора, где Борька остановился и продолжил:

— За этой дверью и находится логово злодея.

Дверь была грубая, выкрашенная в грязно-белый цвет и сверху донизу истыканная то ли ножом, то ли отверткой. Там, где обыкновенно располагается замок, зияла рваная дыра, которую, по всей видимости, использовали взамен ручки. Дверь была приоткрыта; похоже, из-за ржавых петель она вообще не закрывалась.

— Олежка дома? — спросил я.

— Либо пьет с друзьями на улице, либо уже залег в своей конуре. Сейчас проверим.

С некоторой опаской и брезгливостью я вошел в комнату вслед за Борькой — и встал на пороге как вкопанный. Хотя я и был подготовлен к чему-то ужасному, то, что я увидел, превзошло все мои ожидания. Бог мой, вся комната была завалена полиэтиленовыми пакетами! Если около двери их было не так много, то по мере продвижения в глубь комнаты из пакетов вырастала огромная куча, у дальней стены достигавшая потолка. Мне сразу стало ясно, что источник зловония находится именно в этой комнате. Чтобы не задохнуться, я зажал нос, и даже привычный к здешним запахам Борька сильно поморщился и не пошел дальше порога.

— Вот он, Олежка поганый, лежит во всей красе, — сказал Борька и ткнул пальцем куда-то в сторону свалки.

— Где? — не сообразил я.

Моя растерянность объяснялась просто: разноцветные Олежкины лохмотья настолько сливались с заполнявшим комнату хламом, что сам он почти ничем не отличался от полиэтиленового пакета. Приглядевшись, я увидел скрюченное человеческое тельце; именно тельце, потому что Олежка был маленького роста, худой, с плешивой головой и тоненькой шеей. Честно говоря, он вызывал отвращение вперемежку с жалостью, а вовсе не те злые чувства, которые питал к нему мой товарищ.

— Он что, всегда *так* спит?.. — при виде спящего человека я непроизвольно понизил голос до шепота.

— Иногда добирается до своей тахты, — ответил Борька. — Она у него за этой кучей стоит, у окна. А когда сильно выпьет, как сегодня, то валится где попало.

Большая черная муха, видимо потревоженная нашим разговором, с густым жужжанием поднялась к потолку и, покружив, уселась на самую вершину свалки. «Да, здесь ее владения», — подумал я, глядя, как муха в царственной неподвижности застыла на своем мусорном троне.

— Так бы и свернул его цыплячью шейку, — выругался Борька, едва мы вернулись в коридор. — Хотя, знаешь... — он чуть помедлил. — Как подумаю, какая у него беспросветная жизнь, так даже сочувствовать начинаю. Но это только, когда он трезвый, а когда выпьет... Ей-богу, свернул бы шею!

Затем Борька отворил дверь на кухню и коротко сказал:

— Смотри!

Картина и впрямь открывалась удивительная: на полу валялись такие же, как и в комнате, полиэтиленовые пакеты, меж которыми шли две узкие тропки — к ра-



ковине и газовой плите; оконное стекло было разбито, и оттуда, из треугольной дыры, веяло вкрадчивым холодком.

Я начал рассуждать в том смысле, что одно дело — комната, частная собственность, и совсем другое — кухня, место общего пользования, — но вскоре сбился, от возмущения не находя слов, и, чтобы хоть как-то закончить, спросил:

— Как ты здесь готовишь?

— Да я на кухню вообще не захожу. Купил микроволновку и готовлю в комнате.

— Что он хранит во всех этих пакетах? — продолжал приставать я.

— Легче сказать, чего он в них не хранит, — отшучивался Борька. — Если бы решили устроить выставку, где были бы представлены вещи, изготовленные человечеством с первых дней своего существования, то основой для такой выставки вполне могла бы послужить коллекция уroda Олежки.

— И все-таки что там? — не унимался я.

— Ну, хорошо, — сказал Борька таким тоном, словно бы предупреждал: ты сам напросился. — Старые газеты, подсвечники, радиодетали, ржавые чайники, батареи, цветные металлы, примусы, разные склянки, сандалии и ботинки, щипцы и напильники, чашки и блюда...

Борька так увлекся, что, даже вернувшись в комнату, без конца говорил про всякие ведра и печатные машинки из Олежкиных запасов. Вдруг он прервал себя:

— Ты же собирался в туалет...

Я ответил, что расхотел, хотя на самом деле, едва выйдя на улицу, сразу же бросился к платным кабинкам, которые, будучи далеко не образцом чистоты, выглядели все-таки гораздо лучше, чем туалет в Борькиной коммунальной квартире.

И вот по прошествии многих лет Борька снова приглашает меня в гости. Признаюсь, моим первым желанием было отказать, уж больно запомнился мне предыдущий визит. Борька, однако, проявил настойчивость, да и мне, сказать по правде, очень хотелось посидеть с ним и вспомнить наши безрадостные и оттого такие памятные дни.

По дороге Борька рассказывал, что после моего увольнения он проработал на предприятии года два — по-прежнему без надежд и денег, — а потом ему удалось устроиться в салон мобильной связи, которые в то время стали едва ли не главной городской приметой. Благодаря своим недюжинным способностям, в коих я ни секунды не сомневался, Борька довольно быстро сделал карьеру и теперь работал в центральном офисе фирмы, был ведущим инженером. Из нашего бедного прошлого было не разглядеть ни сегодняшних успехов, ни сегодняшнего благополучия, — тем приятнее становилось мне при мысли, что у Борьки все так удачно сложилось, что он занимается любимым делом.

Борька отпер дверь, и я не без робости переступил порог квартиры. Вонь, грязь, пьяные соседи, пакеты с разным хламом?.. — ничего подобного, кругом чистота, новые обои на стенах, новая люстра под потолком, даже паркет и тот новый. Откуда? Что за чудеса? Борька лишь загадочно улыбался, ему, похоже, доставляло удовольствие наблюдать за моей растерянностью.

— Добрый вечер, Боря, — из комнаты, где прежде жила Люся с дочерью, вышла аккуратная старушка со сморщенным личиком. — Ты ужинать будешь?

Коротко переговорив со старушкой, Борька объяснил мне ситуацию:

— Тещу тоже сюда перевезли. И нам удобно, и ей хорошо, все не в одиночестве жить. А квартиру на Советских мы сдаем одному знакомому.

Я поинтересовался:

— А где твои?

— Жена в отпуске, на юге, сын на каникулах, так что я сейчас, можно сказать, один.

Борькину комнату было не узнать. Все блага евроремонта, начиная от евро-розеток и заканчивая натяжным европотолком, сосредоточились на тридцати квадратных метрах площади и придавали комнате вид ухоженный, но и несколько казенный. Словно счастливый новосел, Борька подробно объяснял мне, почему выбрали именно такую расцветку обоев, и каким образом перестилали полы, и как вся семья, пока шел ремонт, жила в однокомнатной квартире у тещи, а он то и дело навещался сюда — проверял, вносил исправления.

Слушая, я не переставал думать о том, куда же делся Олежка со своим горемычным семейством. Когда я спросил об этом Борьку, то он, прежде такой словоохотливый, вдруг замолчал, а потом с явной неохотой ответил:

— Нет уже Олежки. Нет. А семья его где-то в Купчине теперь живет. Мы им деньги на квартиру дали, чтобы они съехали отсюда.

— Что значит — его нет? — не сообразил я.

— Умер он, вот что это значит, — уже раздраженно сказал Борька и тут же перевел разговор на другое: — Чтобы Люсе заплатить, мне пришлось кредит взять в банке, иначе денег не хватало. До сих пор проценты еще выплачиваю.

Мне показалось неудобным продолжать расспрашивать об Олежке, раз эта тема была Борьке чем-то неприятна, и он, правда, уже без прежнего рвения вернулся к разговору о розетках и обоях.

Потом мы сидели на кухне — где, как и в комнате, все было по-новому, блестяло и сияло, — распивали бутылку вина, которую купили по дороге, и Борька вдруг предложил:

— Пойдем в комнату сына. Посмотришь, как там сейчас стало.

Бывшее Олежкино жилище, куда он приползал, как зверь в свое логово, и где держал несметные сокровища отбросов, теперь было превращено в подобие радиотехнического магазина, сплошь уставленного аппаратурой — от компьютера до киноцентра. Сын Борьки пребывал в том бездарном возрасте, когда смысл существования определяется лишь количеством и совершенством технических игрушек.

Мы покурили на балконе, — которого я в прошлый раз попросту не заметил, настолько плотно повсюду лежали полиэтиленовые пакеты, — а когда вернулись в комнату, Борька вставил в проигрыватель диск, купленный сегодня в магазине. Полилась музыка — и мгновенно все вокруг изменилось до неузнаваемости...

Даже на меня, человека от музыки далекого, звучание саксофона произвело сильнейшее впечатление, подобное гипнозу, словно я очутился в речном потоке и течение уносит меня все дальше и дальше, — что уж говорить про Борьку с его тонким и глубоким пониманием музыки. Мне казалось, что в те минуты ему открылся весь мир, и он, как малая его часть, растворился без остатка, растворился в мощном и несколько хрипловатом голосе саксофона.

Сидя на угловом диване, мы слушали одну за другой композиции Стена Гетца. Его музыка как будто вливалась в нашу кровь, и в какой-то момент — думаю, под воздействием вина и джаза, которые, соединяясь в нас, создавали особое, доверительное настроение — Борька начал говорить, и голос его звучал тихо, проникновенно, словно он импровизировал, прислушиваясь к музыке, к себе, к своим воспоминаниям. Наверно, его слова и были импровизацией; наверно, он говорил то, что изначально говорить не собирался...

— На месте этого дивана раньше стояла Олежкина тахта. Именно на ней мы сидели в тот вечер...

И дальше Борька рассказал, что он был близок к отчаянию: на работе не платят, семья живет в однокомнатной квартире у тещи, он почти не видит ни жены, ни

сына, а тут еще этот Олежка, который ни за что не хочет менять квартиру. Кругом пакеты с помойки, воняет, шагу не ступить, чтобы не влезть в какую-нибудь гадость. Вдобавок Олежка, чего раньше никогда не делал, стал приводить в дом своих друзей, и те устраивали в его комнате буйные попойки. Однажды развели костер прямо на полу, и быть бы пожару, не окажись Борьки дома. Его терпению пришел конец, когда компания Олежки все-таки взломала замок и вынесла из комнаты вещи. Он мог бы простить и украденный велотренажер, и посуду, и микроволновку, но вот простить диски с музыкальными записями он не мог...

Жаловаться на Олежку в милицию или жилконтору, как показывал предыдущий опыт, не имело смысла; бить Олежке морду — глупо, ведь ему и так били морду едва ли не каждый день. Что было делать? Борька отважился на последний и решительный разговор с Олежкой, уповая на слово, как истинный русский интеллигент, гораздо больше, чем оно того заслуживает. Купив бутылку водки, ибо разговор без бутылки был с Олежкой невозможен, он пришел в его логово.

Олежка в тот вечер уже успел где-то нализаться и пребывал, казалось, в хорошем настроении. Как всякому алкоголику, ему достаточно было выпить совсем немного, чтобы язык у него начинал заплетаться. На Борьку, наоборот, алкоголь почти не действовал; я убеждался в этом многократно на разнообразных застольях, которые время от времени устраивались на нашем предприятии.

Слушая Борьку, Олежка согласно кивал, ни с чем не спорил. Однако сговорчив он был лишь до тех пор, пока не кончилась водка. Затем он развалился на тахте и с наглостью ухмылкой заявил: «Все, что ты сейчас говоришь, мне до фени. Как пил, так и буду. Ты мне не отец и не брат, чтобы меня учить. Хочешь, жалуйся в милицию или к управдому иди. И вещей твоих я не брал. Ты что, за руку меня схватил?»

Некоторое время Борька сидел совершенно неподвижно, устремив взгляд куда-то за окно, прежде чем громкий Олежкин голос не вернул его к действительности: «Эй, ты че, офигел совсем? Застыл, как истукан». Тогда Борька быстро встал и, пробираясь по кучам хлама, направился к двери. Олежка крикнул вдогонку: «В ментовку, что ли, побежал? Давай-давай, тебя там ждут не дождутся». Не оборачиваясь, Борька ответил: «Я в магазин. Скоро вернусь».

Олежка встретил его не слишком любезно: «Тебя только за смертью посылать. Купил?» Но глядя, как Борька вынимает из пакета одну за другой водочные бутылки, он пришел в бурный восторг: «Ничего себе! Два литра! Может быть, позвать кого-нибудь?..» Борька отрезал: «Сидеть будем вдвоем. Никаких собутыльников».

О чем думал в тот момент Борька? Вполне возможно, злость вообще лишила его способности мыслить. Хотя, быть может, мысль его, помимо его воли, отправилась по самому простому и страшному маршруту: четыре бутылки, смертный приговор для здорового мужика, не то что для этого хлипкого алкоголика; четыре бутылки, нет более естественной и легкой смерти для пьяницы, чем смерть от передозировки...

Невосприимчивость к спиртному и злоба придавали Борьке сил. Он почти не пьянел, тогда как Олежка уже едва мог сидеть — на его губах вздувались слюнявые пузыри, а лицо покрылось багровыми пятнами. Но пока оставалась хотя бы одна стопка водки, его рука, слабея и уже плохо слушаясь, все-таки продолжала к ней тянуться.

Дальнейшие события, понятное дело, стерлись из Борькиной памяти. Он помнил лишь, что ему вдруг стало дурно и он вышел на кухню, где долго держал голову под холодной водой, а потом отправился на свежий воздух. Олежку он оставил лежащим на тахте; возле тахты на полу стояла початая бутылка водки, и Олежка, не поднимаясь, то и дело прикладывался к ней.

Как в тумане, Борька гулял по каким-то улицам, сидел в скверах — удивительно, как его не забрали в милицию. По всей видимости, он отсутствовал долго, потому

что, когда, слегка протрезвев, возвращался домой, кругом раскинулась густая ночь. В коммуналке было темно и тихо, лишь в Олежкиной комнате горел свет — там, на куче грязных пакетов, сжав в руке бутылку, лежал мертвый Олежка. Наверно, в первый и последний раз в своей бессмысленной жизни он не смог допить водку...

Закончил играть Стен Гетц. Протяжные и томительные звуки его саксофона еще некоторое время как будто кружились по комнате, потом стихли и они. Мы по-прежнему сидели с Борькой на диване, только теперь молча, — да и о чем было говорить после Борькиной исповеди?

Но молчание всегда кто-нибудь нарушает, и как только исчезла музыка, появились слова, их произносил Борька. Голос его теперь звучал иначе, чем когда мы слушали саксофон Стена Гетца, — громче и более отрывисто, нервно:

— Я предложил ему дуэль. Все было честно: только я и он и, как оружие, бутылка водки. Я пил с ним на равных и точно так же рисковал жизнью. А он просто не мог остановиться... От него никому не было житья — ни жене с дочкой, ни нам, ни соседям. Когда его не стало, все только вздохнули с облегчением. Он был мерзкий человек — подлый, трусливый, который никого и ничего не любил, кроме водки. Его единственная любовь его и сгубила. Он просто не мог остановиться. Не мог остановиться...

От Борьки я вышел опустошенный, словно внутри меня не осталось ничего живого. В подземку, с ее вечной толкотней и шумом, идти не хотелось, и я выбрал уединенную скамейку неподалеку от входа в метро. Сидел там довольно долго, курил и думал о том, что, в сущности, мне не в чем упрекнуть Борьку. Тем не менее я ловил себя на мысли, что стараюсь оправдать его поступок — перед самим собой, перед Олежкой, перед всяким человеком, проходящим мимо. Мысленно я ставил каждого из них на место Борьки и решал: вот этот куда-то спешащий парень с напряженным взглядом, вполне возможно, поступил бы точно так же, как Борька, а вон тот пожилой мужчина с тихим лицом, который остановился возле афишной тумбы и что-то неторопливо читал, вряд ли был бы способен...

— Бутылочку не имеете? — прервал мои размышления робкий голос. Рядом со мной стояло неопределенного возраста существо: вонючие лохмотья, испитое и сморщенное лицо, щетина, синяк под глазом.

Бомж смотрел на меня умоляющими глазами, руки и голова его мелко тряслись; ничего, кроме чувства брезгливости, он не вызывал. Я ответил, что у меня нет бутылки, и он, прошамкав что-то своими разбитыми губами, попятился назад, однако далеко не отошел, а начал рыться в расположенных поблизости урнах. Без интереса я наблюдал за его возней, как вдруг на противоположной стороне улицы заметил Борьку. Он шел быстрым шагом, не оглядываясь по сторонам и мотая взад-вперед большой продуктовой сумкой. Вероятно, он забыл купить какие-то продукты и теперь направлялся в универсам на ближайшем перекрестке. Долгим взглядом я проводил его, и, наверное, потому, что я одновременно видел Борьку и копающегося в урне бомжа, из всего многообразия мыслей и слов во мне зазвучало лишь одно — убийца... И как я ни старался помыслить иначе — мой старый товарищ, бывший коллега, человек, с которым мы вместе так много хлебнули, тонкий ценитель музыки и, безусловно, добрая душа, — это слово вновь и вновь вырывалось наружу — убийца, убийца...

Я встал и пошел в сторону метро. Проходя мимо бомжа, я сунул в его трясущуюся ладонь деньги.

# ВЫСТРЕЛ

## Рассказ

— К мишеням бегом марш!

Команда выбросила Игоря из лежки. Ноги в тяжелых берцах вязли и разъезжались в каше из раскисшего снега, впереди и по бокам сопели снайперасоратники. Оскальзывались, матюгались, подкалывали на ходу друг друга. «Магазин отстегнул, патрона в патроннике нет, на предохранитель поставил, винтовку плащ-палаткой укрыл, вроде ничего не забыл. Бежать, не отставать!» — на ходу перебирал в мыслях Игорь, меся стометровку в двенадцатый уже сегодня раз.

Все, тяжело дыша, подбежали к мишеням, каждый к своей — листку бумаги формата А-4 с черным фломастерным кружком в центре. Листки были пришпилены кнопками к транспортной ленте. Старая, толстая резина, вынесшая на своей широкой спине тысячи тонн угля из никому уже не известных шахтных глубин, доживала свой век на стрельбище военного полигона, терзаемая пулями калибра 5,45 и 7,62. Здесь, у подножия ржавого террикона, на огневом рубеже в сто метров, тренировались в стрельбе или приводили оружие к нормальному бою<sup>1</sup> снайпера, пулеметчики и бойцы других воинских специальностей отдельного батальона спецназа молодой и непризнанной Донецкой Народной Республики. Вот и сейчас восемь бойцов сводной группы снайперов тщательно, с линейками, изучали дырки на своих мишенях. Определяли СТП<sup>2</sup>, расстояние СТП от КТ<sup>3</sup>, замеряли кучность, хвастались или досадливо матерились. Занимались каждодневной, рутинной работой снайпера на тренировочных курсах. Как пианист должен играть, чтобы быть пианистом, так снайпер должен регулярно стрелять. Руслан, инструктор, вот уже третий месяц гоняющий их в хвост и в гриву, поочередно подходил к каждому, оценивал, делал свои замечания.

— Таааак, это у нас Одесса. Сколько рассеивание? — хитро взглянув на Игоря, потом на мишень, спросил он.

— Шесть с половиной сантиметров.

— Плохо! Для тебя плохо. Норма для СВД<sup>4</sup>, вообще-то, не более восьми сантиметров, но ты можешь лучше. Работать надо.

---

Игорь Владимирович Немодрук родился в 1965 году в шахтерском поселке на Луганщине. По окончании школы уехал в Одессу. Был моряком, потом бизнесменом. Яхтсмен и фермер. Весной 2014 года стал активистом движения «Куликово поле». 2 мая первым вошел в Дом профсоюзов. Уцелел в той бойне, не оставил дело борьбы с украинским нацизмом, был участником одесского подполья, в начале 2015 г. удалось выехать на Донбасс, где вскоре вступил в ряды ополченцев. Служил в разведке армии ДНР снайпером.

<sup>1</sup> Приведение оружия к нормальному бою — пристрелка оружия.

<sup>2</sup> СТП — средняя точка попадания.

<sup>3</sup> КТ — контрольная точка, точка на мишени, в которую в идеале должны попадать все пули снайпера. Тот самый фломастерный кружок в центре.

<sup>4</sup> СВД — снайперская винтовка Драгунова.

— Бегать меньше надо. «К мишеням бегом, от мишеней бегом...» — бурчливо ответил Игорь. — Бегаем, как малахольные, по полигону, шо лоси по тайге, а потом пульс зашкаливает и ствол ходуном ходит.

— Это ты укропам в бою пожалуйся. Они тебя, глядишь, и пожалеют, дадут отдышаться и спокойно прицелиться. Так?

— Эти дадут... Догонят и еще раз дадут, — тихо буркнул Игорь, понимая, что инструктор прав. И добавил: — Но мы спецназ, нас хрен догонишь! Уж не знаю, как стрелять, а бегать мы на этих курсах научились!

— Ну раз научились, тогда быстренько собирайтесь и на второй рубеж бегом марш! — ехидно хихикнул Руслан.

Вторым рубежом был высокий, под два метра, бруствер, насыпанный за пятьсот метров от террикона. Мишени были разнообразны: бумажные на фанерных щитах, металлические из толстого листового металла, вырезанные в форме человеческих фигур в полный рост и по грудь. В один ветреный день были даже оранжевые шарики для пинг-понга, отчаянно трепыхавшиеся на веревочках на удалении двести метров. Тогда свои шарики сумели разнести лишь двое из восьмерки. И дистанция до мишеней была тоже разнообразной. В металлические мишени стрелять было приятней. К бумажным приходилось бегать, смотреть результаты. А к металлическим надо было только прислушиваться, они на попадание отзывались приятным «дзинннь».

Неделю назад кто-то из ребят притащил на бруствер кусок линолеума, спасая форму и карематы от снега и донецкого чернозема. И где только раздобыли его, в этой глуши, где до ближайшего цивилизованного строения было километров пять?! Игорь укладывался на свое место, раскладывая рюкзак-эрдэшку<sup>5</sup>, пачки патронов, умащивая поплотнее камуфляжную штанину, набитую песком, — мешочек для упора винтовки. Укладывался и философствовал про себя, глядя на линолеумный орнамент и выдавленную квадратную выемку, в которую так удобно при стрельбе упирать правый локоть: «Интересная штука — жизнь. Шо у людей, шо у вещей. Такие завороты, бывает, делает, шо любое кино отдыхает! Вот взять этот линолеум... На каком заводе его сделали? В каком году? Может, еще при Брежнев. Лежал себе на полу в какой-нибудь квартире, шлепали по нему детские пяточки и хозяйские тапочки... Сколько б он мог рассказать! Вот, например, эта выемка, наверняка от кровати. Какие женские стоны он помнит, когда делали на этой кровати детей? И как потом ножки этих детей шлепали по нему, когда малыши бежали к родителям под одеяло». Игорь с улыбкой вспомнил, как приучали младшую дочь, ей тогда три годика было, спать отдельно, в детской комнате. И как она бегала к родителям в постель по несколько раз за вечер, причем каждый раз несла перед собой свою подушку, прижимая ее к груди ручонками. «Шесть лет прошло уже. И три года, как Аленку не видел, — мысли Игоря текли дальше. — Кто бы мне тогда сказал, шо у нас будет война, да еще такая дурная, братоубийственная, шо я, в свои пятьдесят лет, буду иметь позывной Одесса и буду бегать наравне с молодыми, стрелять из эсвэдэшки, которую до этого и в руках не держал?! Вот и получается, шо у нас с этим линолеумом судьбы похожи».

— По четыре патрона заряжай! Работаем на неизвестную дальность, — вырвал Игоря из раздумий голос Руслана. — Марс, мишень номер пять, Геолог — девять, Одесса — три... Стрельба по готовности!

Привычными движениями заполнив четверкой латунных молодцов магазин и вщелкнув его в винтовку, Игорь приник к оптическому прицелу, выискивая среди группы щитов, рассыпанных на различной дальности, мишень с крупной цифрой «3».

<sup>5</sup> Эрдэшка — РД, рюкзак десантника.

Определить до нее дальность было плевым делом — третий месяц уже на этом полигоне как-никак, наизусть уже все помнится. Тройка была на трехстах восьмидесяти. Взявшись двумя пальцами за верхний маховичок, на секунду задумался и выставил его на дальность четырехста метров. Передернул затвор, опять приник к окуляру прицела и слился наконец с винтовкой в единый снайперский комплекс. Поерзал слегка, устраиваясь поудобнее, нащупал правым локтем выемку и замер, успокаивая дыхание. Четырехкратная оптика ПСО<sup>6</sup> сделала все предметы четкими, фанерный щит, мишень были отлично видимы, даже скотч, которым листы бумаги примотали к фанере, слегка отблескивал. Сетка у прицела была очень удобной.

«Дистанция триста восемьдесят, а прицел на четырехста, значит, берем чуть ниже, — Игорь подвел стрелочку уголка на сетке прицела в кружок мишени, потом опустил ее вниз, сравнив с нижним обрезом листа. — Ветер слева, четыре метра в секунду, значит, поправка влево, 0,23 умножаем на четыре, получается 0,92, почти одна тысячная. Добавим сюда деривацию, она на этой дистанции будет 0,1 тысячной. Итого одна тысячная влево».

Вычисления заняли секунд пять, не больше. И как только компьютер в голове Игоря выдал результат, он увел вершинку уголка влево, так, чтобы прицеливаться ближайшей к уголку вертикальной риску, плотнее вжал приклад, очень медленно выдохнул из легких воздух и задержал дыхание. Сетка прицела почти перестала танцевать. Сквозь кожу перчатки чувствовался изгиб спускового крючка. Теперь главным в этом механизме, состоящем из человека, винтовки и оптики, выступал правый указательный палец человека. Он должен плавно, без рывка, нажать на спуск. Надави чуть резче или не тем местом, и ствол винтовки слегка, незаметно для глаза, колыхнется, и пуля уйдет на малую долю градуса в сторону. Вся работа будет испорчена, и выстрел будет зряшным. В этот раз палец свою работу сделал правильно, грохот выстрела слился с лязгом затвора, стреляная гильза улетела куда-то вправо. Справа и слева забахали соратники. Игорь, не меняя позы, в несколько вдохов восстановил дыхание и еще трижды повторил действия по продырявливанию бумажки номер три.

После четвертого выстрела затвор, выкинув последнюю гильзу и не получив подпитку из магазина, замер в крайнем заднем положении, открыв широкую щель, требуя, словно птенец с открытым ртом, новой пищи. Игорь не торопясь отстегнул пустой магазин, закрыл затвор, укрыл винтовку плащ-палаткой. Слева грохнул выстрел. Гильза не больно стукнула Игоря в плечо и упала на линолеум, исходя горячим дымком.

— Одесса стрельбу окончил! — крикнул куда-то через плечо. Игорь щелчком пальцев отправил гильзу к подножию бруствера и перевернулся на спину, блаженно потянувшись.

— Марс стрельбу окончил!

— Геолог стрельбу окончил!

— ...стрельбу окончил!

— К мишеням бегом марш! — Руслан сорвался с бруствера едва ли не первым.

Так до обеда и занимались — постреляли, побежали посмотреть, опять постреляли. Да и после того, как плотно набили животы борщом и макаронами с тушенкой да слегка отдохнули в кубрике, ничего не поменялось. А в 15-30 прибежал посыльный от дежурного по полигону со словами: «Одессу вызывают. Группа Двойки на БЗ<sup>7</sup> выезжает».

<sup>6</sup> ПСО — прицел снайперский оптический.

<sup>7</sup> БЗ — боевое задание.

Передняя часть кузова под самую крышу была забита рюкзаками. А на полу толстым слоем уложили остальное имущество группы — ящики с бэка<sup>8</sup>, коробки с сухпаем, тушенку, крупу, масло, пару сковородок с кастрюлей, даже ПТРС<sup>9</sup> 1943 года выпуска, которое, сколько помнил Игорь, группа только возила с собой и которое ни разу еще не стреляло по укропам. Ну а бойцы заполнили собой оставшийся объем, и армейский «Урал», как обычно, оказался забит так плотно, что, казалось бы, сунь туда еще одну эрдэшку, и темно-зеленый прорезиненный брезент треснет, как штаны на жирной заднице. Но опыт говорил, что, если последует команда, сюда, под возмущенные крики и трехэтажные маты, еще поместятся АГС<sup>10</sup> с расчетом и полудюжиной улиток<sup>11</sup>.

Такие выезды случаются часто, поэтому бойцы давно уже определились с местами в кузове. Двойка, как командир группы, занимал место для VIP-персон — в кабине. Игорь удобно развалился на эрдэшках, подперев своей винтовкой, словно палкой, капризно не желающий лежать на вершине пирамиды и постоянно сваливающийся рюкзак. Самые козырные места у заднего борта по уставу предназначались для пулеметчиков, но их занимали санитар Леон и замок<sup>12</sup> Овал. Леон был ровесником Игоря, только худым и жилистым. Да и то сказать — какой жир нарастишь, всю жизнь проработав в шахте забойщиком? Имея характер, всегда готовый к скандалу и очень матерный лексикон, показывающий, что хозяин запросто перейдет от скандала к драке, Леон легко отжал это козырное место для себя. А Овал его занимал на правах замка. Лет тридцати пяти, очень полный, он был коренным дончанином, в молодости, совпавшей с лихими девяностыми, бандитствовал, за что получил срок, а с приходом войны взял в руки автомат.

— Все на месте, гоблины? — над задним бортом «Урала» показался кевларовый шлем, под ним голубые глаза Двойки, а еще под ними и его широкая улыбка.

— Мули нету, побежал в кубрик, за сигаретами, — ответил Рус. — Куда едем, Двочка?

— В Докуч<sup>13</sup> едем, — за Двойку ответил появившийся Муля, который всегда все знал, везде успевал и всюду вставлял свои пять копеек. Он выскочил над бортом, как черт из табакерки, и перебрал две пачки сока (наверняка успел в столовую заскочить и выклянчить у поварих), свой автомат, а потом и себя, любимого.

— О! Докуч! — воодушевился Овал. — Класс — Каких-то полгода назад он служил в другом подразделении и как раз в Докучаевске. Игорь, кстати, также служил в той роте разведки, но недолго и в этом городе не был ни разу. Машина дернулась и поехала, а по рукам пошли пакеты с соком, сигареты и зажигалки, передаваемые от одного бойца к другому.

Двухэтажное здание из силикатного кирпича, бывшее ГАИ славного города Докучаевска, встречало их в сумерках. Перед крыльцом была гравийная площадка, окантованная невысоким и ажурным бетонным заборчиком. Наверняка до войны на этом гравии докучаевцы выставляли свои авто, а важные, неторопливые гаишники заглядывали под капоты машин и в карманы их владельцев. А теперь армейский «Урал» бесцеремонно сдал задом к самому крыльцу, едва не раздавив твердой черной резиной нижнюю ступеньку. Будь это два года назад, бывшие хозяева от такой наглости наверняка бы онемели.

<sup>8</sup> Бэка — БК, боекомплект, запас боеприпасов.

<sup>9</sup> ПТРС — противотанковое ружье Симонова.

<sup>10</sup> АГС — АГС-17 «Пламя», автоматический гранатомет станковый 30 мм.

<sup>11</sup> Улитка — круглый короб, в который уложена лента с боепитанием для АГС.

<sup>12</sup> Замок — замкомандира, в данном случае заместитель командира группы.

<sup>13</sup> Докуч — Докучаевск.



С крыльца вели две двери. И левая, в которую бойцы стали таскать свои вещи, оказалась не гаишной. По крайней мере, плакаты на стенах, показывающие схемы строповки различных грузов и металлические столы, более похожие на верстаки, привинченные к полу и стоящие в ряд, говорили, что здесь кого-то раньше обучали. Местные разведчики занимали две комнаты на первом этаже, а приезжим достался второй. Там было холодно и темно. Холодно потому, что на улице был март, а здание не отапливалось всю войну. А темно потому, что все лампочки давно унесли вместе с патронами, только козьи рожки обрезанных проводов торчали в потолке. Но... Группа была «не первый день замужем», где только не приходилось ночевать! И в полуразрушенных сельских домах, и просто на улице, и в шикарной даче какого-то прокурора, сбежавшего в Мариуполь, и в настоящем, хотя и запущенном бомбоубежище. Самая тяжелая ночевка на памяти Игоря была под Широкино, недельки четыре назад. Тогда, по «гениальной» задумке командования, они двумя группами оказались в трехстах метрах от укроповских позиций. Холодно было, дождь мелкий и мерзкий моросил, укропы в тепловизор посматривали! А они передвигались на четвереньках или ползком, грызли сухой паек, по трое набивались под сырые плащ-палатки и даже туалетные надобности справляли лежа на боку. Тело тогда пропиталось промозглым холодом до самого хребта. Надрожались от сырости, да и от страха тоже. Мерзли, дрожали, но сутки наблюдали за укропами. А те безмятежно бродили по широкинской улице, среди кладбищенских могил, даже по шоссе, проходящему в ста метрах от ополченцев, прогуливались. Заглядывали в брошенный «москвич», прикидывая, что бы с него скурочить себе в хозяйство, и не подозревали, что через оптику на них внимательно смотрит снайпер.

Так что сегодняшние неудобства были ого даже какими комфортными! Дела ладились без команд, каждый занялся каким-либо полезным делом. Водитель Боцман притащил ящик с инструментами и различным полезным барахлом. Достал два патрона с уже вкрученными лампочками и кусками проводов и принялся прикручивать их к «козьим рожкам». Кто-то таскал из грузовика рюкзаки и ящики, кто-то из кучи различного имущества, сваленного в соседней комнате, вытаскивал какие-то фанерные стенды с наклеенными на них плакатами и заделывал ими дыры в окнах. Сапер Али, потыкав в розетки зарядкой для мобилника и выяснив, что электричества нет ни в розетках, ни в прикрученных Боцманом под потолком лампах, полез в распределительный щит в коридоре. Тихо бурча и ругая почему-то все начальство до комбата включительно, он недолго там поколдовал, а потом отрезал кусок провода из своих взрывоопасных запасов и сунул его одним концом в ближайшую розетку, а вторым куда-то в щиток. Тихой мышкой пискнула зарядка, засветилась под потолком одна лампа и матюгнулся в адрес второй Боцман. И уже через минуту в литровой кружке, черной от копоти снаружи и коричневой внутри, зашипел в воде маленький кипятыльник. Рядом, свесив набок хвостики чайных пакетов, выстроился в ожидании кипятка взвод кружек поменьше. А на стене, над «чайным» местом, повис написанный Сомом на оторванном от коробки куске картона график ночного дежурства. Солдатский быт налаживался.

Двойка, Овал и, конечно же, Муля пошли к местным. Поговорить за жизнь и узнать обстановку. Остальные принялись мостить себе спальные места. В коридоре были сложены разобранные кровати и матрасы в куче. С кроватями решили не заморачиваться, а просто укладывали на пол кроватную сетку, на нее бросали матрас, а сверху уже свой каремат. Игорь выбрал себе место под длинным столом, словно полка, тянущемся вдоль стены. Стол был добротный, с окантовкой из металличе-

ского уголка и трубами-подпорками. На него удобно легли эсвэдэшка, разгрузка и всякая мелочь, да и спать под таким столом спокойнее — он послужит дополнительной защитой от падающих обломков в случае артобстрела.

Дежурили парами по полтора часа и только ночью. Игорь дежурил с Русом с десяти вечера до половины двенадцатого, с двадцати двух до двадцати трех тридцати, если выразаться по-военному.

— Ну шо тут? — поправляя тяжело оттягивающую вниз ремень кобуру с ПМ<sup>14</sup>, Игорь подошел к сменяемым Доку и Муле, сидящим у окна в коридоре. — Док, оставь свой трахтомат, а то от моей плетки<sup>15</sup> ночью толку никакого.

— Возьми. Патрон в патроннике, — Док слегка подвинул лежащий рядом с ним на подоконнике автомат и затаился сигаретой.

— Все спокойно. Местные дежурят внизу, возле дверей. Мы пару раз обходы делали и тут сидим. В окно хорошо все просматривается, — Муля выдохнул облачко то ли пара, то ли сигаретного дыма.

Игорь подошел к окну. Внизу поблескивал легким инеем брезент «Урала». Через улицу, чуть справа, была какая-то стройка. Проектор ярко освещал недостроенное здание, в котором, однако, светились парочка окон на третьем этаже, башенный кран и крыша вагончика за металлическим забором. А напротив было одноэтажное здание с вывеской «СТО. Шиномонтаж». Возле него приткнулись две легковушки. У открытого багажника одной из них о чем-то разговаривали двое мужчин. Вдалеке глухо гахнул взрыв, и почти сразу же посыпалась автоматная трескотня. «Километра два, похоже, — подумал Игорь, беря в руки автомат и машинально чуть-чуть оттянув затвор, взглянул на медно блеснувший бок патрона, вернул затвор на место. — Интересно, где это стреляют?» Бабахнуло еще несколько разрывов, трескотня пошла гуще и разнообразнее, к автоматам присоединился пулемет, потом, похоже, и «Утес».

Мужики возле машин на войнушку и ухом не повели, продолжая общаться о своем. Ярким, светящимся прямоугольником открылась дверь, на ее фоне встала женская фигурка. Фигурка о чем-то спросила мужчин, один из них коротко ответил, на секунду повернувшись к ней. Девушка протянула руку куда-то к стене, прямоугольник погас, а девушка, став лицом к двери, принялась замыкать ее. Потом присоединилась к мужскому разговору. И все это под звуки канонады. Заработай сейчас кран на стройке или опустись на соседнее дерево стая грачей, они бы уделили им внимания больше, чем этой стрельбе.

— Ну че тут у нас? — подошел к ним Рус, поправляя ремень автомата на плече и сёрбая чай из кружки.

— Че, че... через плечо! — Док затушил бычок в жестянке из-под паштета и резко встал. — Вам шо, каждому по отдельности рассказывать? Пошли, Муля.

— На посту не спать, — важно бросил напоследок Муля.

— Чего они, Одесса? — Рус уселся на место Мули, поставил кружку с чаем на подоконник и прикурил сигарету.

— А... Не обращай внимания, — Игорь взял его кружку и, сделав из нее пару глотков, поставил ее на место. — Все нормально.

Тройка у СТО, попрощавшись, рассаживалась по машинам, чтобы наконец-то разъехаться по домам. Игорь, взяв автомат в руки, прошел в другую комнату, пустую и выходящую окнами на противоположную сторону. Там были видны гаражи, две жилые двухэтажки, два длинных сарая с дюжиной дверей в каждом. Одно

<sup>14</sup> ПМ — пистолет Макарова.

<sup>15</sup> Плетка — сленговое название винтовки СВД. Получила за громкий и хлесткий звук выстрела.

окно в двухэтажке мерцало голубым телевизорным светом, еще пара светила обычным. На балконе краснел сигаретный огонек. Обычный донбасский городок. Игорь вырос в таком же шахтерском поселке, бегал пацаном в такой же сарайчик за углем, потому что поддерживать огонь в печке было его обязанностью. Здесь, похоже, давно уже на газ перешли, но сарайчики остались. Проехало за угол такси. Стрельба за окном прекратилась резко, как будто ее выключили.

А минут через сорок приехал еще один грузовик, на этот раз КамАЗ, привез АГС, троих гранатометчиков с Греком во главе и замкомандира роты майора Ронина. Грек был местным, улыбчивым, круглолицым и молодым. Правильно поставленной речью походил на студента-ботаника, а воевал с четырнадцатого года. Высокотелый же Ронин всем своим обликом походил на сотника из войска Чингисхана. Даже броник, кевларовая каска и берцы смотрелись на нем как доспехи кочевника. Зато его умению материться мог бы позавидовать любой русский, да и не только русский, боцман или сапожник. Он совсем недавно, недельки две назад, добровольцем приехал из родной Бурятии, бросив там работу и семью. Коридор наполнился грохотом ботинок, лязгом железа и жизнерадостными криками.

В спальном мешке, да еще с головой накрывшись поверх спальника плащ-палаткой, было тепло и уютно. Громкие рулады Боцмана, храпевшего в полуметре рядом, мешали спать гораздо меньше, чем давящий в бедро фонарик, забытый в кармане горки<sup>16</sup>. Ночью, сквозь сон, Игорь слышал, как дежурные будили очередную смену, как те, крихтя, возились, одеваясь-обуваясь, грыкали оружием. Но это не мешало спать, наоборот — только добавляло сладости в сон. Приятно было снова погрузиться в объятия Морфея с мыслью, что тебе-то вставать не надо.

Сейчас народу возилось больше. Ходили по комнате, громко цепляясь берцами за кроватные сетки, звенели кружками, вполголоса бубнили что-то. Игорь нехотя, в полудреме, вынул руку из уютного мирка, взял лежащий рядом телефон, посмотрел на время.

«Шесть сорок семь, — подумал Игорь и ткнул мобилку обратно, к ПМ, — можно еще поспать немного».

«Фигушки! — громко заявил о себе мочевого пузыря. — Подъем!»

Упрямылся Игорь минут пять, но с этим начальником спорить себе дороже, поэтому пришлось вылезать из дремотного уюта в прохладную реальность.

Просыпались и вставали без команды. У Двойки в группе вообще очень многое проходило без команд, вроде как само собой. Игорь, четыре месяца назад попавший в этот отряд, вначале удивлялся про себя этому феномену. Зайдет Двойка в кубрик, бросит, ни к кому не обращаясь: «Надо бэка погрузить на машину». И все... А минуты через три, бурча и матеря командование, из-за которого бардак и солдату приходится работать, бойцы из кубрика потянутся к оружейному складу.

Вот и сейчас кто-то еще спал, кто-то выбирался из кокона, крихтя, позевывая и окидывая обстановку мутным, словно у зомби, взглядом. Леон бодрячком возился в «кухонном уголке», заливая кипятком чай в кружке и дербаня темно-зеленый картон сухпая с надписью «Военторг». Двойка пил кофе вприкуску с сигаретным дымом и, шурясь, рассматривал карту и распечатанный спутниковый снимок местности. Вскоре к нему присоединился и Ронин.

Игорь и себе взял коробку сухпая. Вскрыв коробок, он привычно рассортировал содержимое по классам. Первым делом выудил и переправил к себе в карман плитку шоколада. Этот ингредиент сухпая имел свойство исчезать самым быстрым и таинственным образом, поэтому требовал к себе особого внимания. Следом за

<sup>16</sup> Горка — форма, распространенная среди ополченцев, очень удобная.

шоколадом последовали жвачка, упакованные, словно таблетки в пластинке, ветроустойчивые спички и две розоватые пачки «Адаптовита»<sup>17</sup>. Игорь оценил этот напиток еще на снайперских курсах. Причем он хорош был как в «мокром» виде, разбавленный кипятком или холодной водой, так и в сухом, просто высыпанный в рот. Два пакетика чая и сахар нашли свое место в кружке, в ожидании кипятка. Квадратная коробочка «шпика соленого», как последняя в шкале ценностей, отправилась в страну бесполезных вещей — в коробок, в котором перемешались шпик и галеты. А вот маленькая цилиндрическая жестянка с плавленным сыром, пакетик повидла, «каша рисовая с говядиной» и яблочное пюре были сложены в аккуратную кучку. Это и будет завтраком. Все остальное осталось в темно-зеленом картонном чреве на потом. Залив кружку кипятком и поставив кашу греться на маленькую жестяную горелку с сухим горючим, Игорь подошел к небольшой толпе, успевшей обступить стол с картами.

— На Сперматозоид мы ходили в прошлом году! Он ничей был! — возмущался Овал, тыкая пальцем в снимок на столе. — А Крокодил был полностью наш! Полностью! А теперь?! Сперматозоид укропы совсем заняли и половину Крокодила отжали! Офигеть можно! Минские, б..., договоренности!

Игорь, приподнявшись на носках, через спину Сомы посмотрел на стол, пытаясь понять, что за пресмыкающееся осеменяет здешние поля войны? Сперматозоид не узнать было невозможно, и как только умудрились его таким насыпать?! А вот ящер требовал уточнения.

— Шо такое Крокодил? — спросил он.

— Вот этот длинный террикон. — Двойка заскорузлым ногтем провел по спутниковому снимку, — Вот южнее, прямо под ним карьер. А севернее, видишь, другой террикон, Подвал называется. Он выше Крокодила. А между ними длинное ущелье. А вот Черепаха. Сегодня день тратим на знакомство, изучение местности. Вы согласны, товарищ майор?

— Согласен. Ты тут лучше меня все знаешь, поэтому сам решаешь. Я буду пока приглядываться. — Ронин по причине своего совсем небольшого, всего лишь двухнедельного пребывания на Донбассе всецело доверял Двойке, воевавшему с первого дня войны.

— Тогда так... Снайпер, Али и Док — Двойка ткнул указательным пальцем в Игоря, в спину Али, заваривающему себе чай и в продолговатый горбик из плащ-палатки, под которым дрых Док, — идут на Подвал. Кто-нибудь, разбудите Дока. Сом, Муля и Рус — на Крокодил. А... еще Грек на Подвал. Присмотри пару позиций для АГС.

Однако с рекогносцировкой в один день не уложились. Три дня ходили, перебежали, пригнувшись, простреливаемые участки, ползали, часами лежали, прячась среди серых камней, рассматривая в оптику какой-то дикий, словно инопланетный, ландшафт. Крокодил в профиль и в самом деле походил на огромного, километров семь длиной, ящера, уснувшего в окрестностях Докуча. Эти отвалы доломита на его гребне образовали рай для снайперов. Кучи, кучи, кучи серых камней разных размеров, от здоровенных, в два человеческих роста, до небольших, величиной с кулак. Эти кучи, эти пирамидки, были насыпаны густо-густо, одна возле одной. Да еще поросли кустарником, а на стороне, занимаемой укропами даже лесочком, Крокодил пересекала глубокая расщелина. Она и разделяла наши позиции и укроповские. И хотя Подвал, состоящий из мелкого щебня, отсева, как его здесь называют, возвышался над Крокодилом, особого преимущества это не давало. Высмотреть

<sup>17</sup> Адаптовит, адаптон — растворимый тонизирующий напиток, состоящий из сахара, экстрактов различных трав, ягод.

врага, если он соблюдал хотя бы элементарные правила предосторожности, в этом месиве камней, кустов и деревьев было практически невозможно. Зато наш боец, приподнимись он хотя бы немного над гребнем, сразу высвечивался на фоне неба и становился мишенью. Как позиция Подвал Игорю не понравился.

Зато на четвертый день... «Урал», разбрызгивая жидкую грязь по стенам, вприкуру прошел в сводчатом туннеле, пробившем высокую железнодорожную насыпь, немного попетлял вместе с асфальтированной дорогой, перемахнул через ржавые рельсы переезда и остановился, не желая ехать дальше по грунтовке, там, где асфальт кончался. Боцман, выкурив сигарету вместе с выгрузившимися бойцами, укатил обратно. Дальше предстояло двигаться пешком. Вчера они уже были здесь с Двойкой, тогда им на Крокодил проводника дали. А сегодня Ронин просто быстро сходил в вагончик, стоящий в стороне, метрах в пятидесяти, и согласовал там с местными выход, чтобы ненароком свои не обстреляли.

— Ну че, воины, покурили? — он окинул взглядом бойцов. — Выступаем. Идем боевым порядком. Первым Рус. Следующий Муля, потом я, за мной Сом. Следующий Док и Одесса замыкающим. Дистанция три метра. Вперед!

Все быстро закинули за плечи эрдэшки, повесили оружие и пошли. На месте, как в фильмах о разведчиках, никто не прыгал. Грунтовая дорога шла вверх, сначала полого, потом круче. Под ногами тихо хрустела мокрая, темно-серая, почти черная отсыпка. Игорь, трогаясь последним, быстро передернул затвор, загнав патрон в патронник, и уже на ходу достал из кармана еще патрон и снарядил им магазин. Теперь его плеточка заряжена не десятью, а одиннадцатью патронами, какая-никакая, а фора. Обязанностью замыкающего было контролировать тыл, поэтому Игорю приходилось вертеть шеей, как суслику у норки, иногда даже делать несколько шагов спиной вперед. Здесь хотя и тыл, но расслабляться не стоило: донецкая природа на любом свободном клочке земли гнала заросли кустов и деревьев такой дикой густоты, что они могли бы потягаться с вьетнамскими джунглями. Неплохие укрытия для ДРГ<sup>18</sup>. Посматривая же на ребят, он вдруг подумал: «Вот идут бойцы. Русский татарин Рус, с Хабаровска. Муля местный. Ронин бурят. Классический бурят из Бурятии. Сом местный, Док тоже. Док и Леон, вообще отец и сын. Я из Одессы, но тоже местный. Идем на войну, где стреляют и запросто могут убить. И где мы тоже будем стрелять и убивать. Шо нас здесь всех собрало? За четыре месяца, шо я в этом батальоне, я не слышал какой-то особой пропаганды, пафоса какого-нибудь или надрыва. Та и зачем добровольцам пропаганда?! Как будто само собой разумеющаяся работа делаем. Даже когда парились в бане и пили самогонку, когда разговоры расслабленно текли самотеком, эта тема почему-то не всплывала». Говорили о войне, об оружии и экипировке, о разных разностях, а о причинах своего здесь нахождения не говорили. Игорь попытался вспомнить, что каждый из ребят говорил о своих мотивах. С улыбкой вспомнил, как на это ответил Леон. Тоже в бане дело было, когда Игорь его спросил об этом. Голый, с рюмкой в одной руке и куском колбасы в другой, через слово вставляющий «ты» или «ты, б...», он вдруг запнулся, удивленно разведя руками, даже слегка присев от такой бестолковости собеседника: «Ты, б..., Одесса! Так ведь, б..., фашисты пришли!»

Дорога впереди раздваивалась. Одна уходила вправо и круто вверх. Это их путь на Крокодил. Другая огибала подъем и уходила тоже вправо, но не подымалась, шла низом между Крокодилом и карьером, в сторону укропских позиций. Слева, высоко на терриконе, встали в полный рост, разглядывая их группу, две фигурки.

<sup>18</sup> ДРГ — диверсионно-разведывательная группа.

«Наши глаза<sup>19</sup>. На Черепахе, кажется», — машинально отметил про себя Игорь. Головняк<sup>20</sup> уже втянулся в поворот, как вдруг по группе, от передних к задним, словно огонек по огнепроводному шнуру, пробежал сигнал. Разведчики вскидывали вверх сжатую в кулак правую руку и приседали, беря под прицел каждый свой сектор. Игорь, крутнувшись на носках берца, развернулся назад, мигом уткнул правое колено, защищенное наколенником в грунт, а на левое поставил локоть руки, подперев ею цевье винтовки. Что там, впереди, произошло, он не знал, его задача — держать тыл и эти джунгли сзади, вплотную подступившие к дороге. Большим пальцем правой руки Игорь опустил флажок предохранителя, а указательный положил поверх скобы спускового крючка. Скосив взглядом, выбрал поблизости подходящую ямку, в которую падать, если что. Сзади что-то хрустело, приближаясь. Игорь, бросив через плечо короткий взгляд, даже удивиться не смог от ненормальности происходящего! Из-за поворота выехал накатиком с выключенным двигателем рабочий автобус. Пазик, экономя на спуске топливо, тихо хрустел истертыми шинами в полутора метрах от ощетинившихся стволами ополченцев. Рабочие за стеклами автобуса удивленно рассматривали сверху вниз бойцов.

«Блин! Вот они, реалии этой войны, — не знал, то ли смеяться, то ли ругаться, Игорь. — Получается, комбинат этот, доломитный, работает, несмотря на войну. И этот пазик с рабочими минут десять или даже пять назад был у укропов. Офигеть! Поле непаханое для шпионов!»

Бинты, которыми еще зимой снайпер обмотал свое оружие, белоснежные, идеально маскирующие винтовку на снегу, за два месяца затерлись, истрепались и жутко посерели. Игорь хотел их срезать еще на полигоне, когда снег сошел, но они были одного цвета с прошлогодней сухой травой, и он их оставил. А вчера, когда они здесь, на гребне Крокодила, знакомились с обстановкой, он отметил, что цвет бинтов идеально совпадает с цветом здешних отвалов. Настолько идеально, что, придя в расположение, он выпросил у Леона две упаковки, хорошенько выпачкал их в придорожной грязи и повязал кусочками на разгрузку и шапочку. Шапочка у него была фирменная. Могла служить как шапкой, так и балаклавой. А после того, как он нашел на нее кусок желто-зеленой рыболовной сетки, к которой удобно привязывать всякие маскировочные лоскутки и которая, откинута, скрывала светлое пятно лица, а за ненадобностью скатывалась и убиралась, эта шапочка стала маленькой «кикиморой»<sup>21</sup>. А еще он обмотал этим серым бинтом трубу разведчика<sup>22</sup>. Очень удобная штука. Игорь, познакомившись с ней поближе, буквально влюбился в нее. Простая, как палка, она давала очень четкое изображение, не требовала подстройки резкости и, самое главное, позволяла вести наблюдения из укрытия, не высываясь и не подставляя себя ни под взгляд, ни под выстрел. Вот и здесь, на месте, с помощью резинки прикрепив к перископу пучок сухой травы, он плавно, без резких движений, так бросающихся в глаза, выставил его над гребнем высокой каменной кучи. И наблюдал за украми.

Хорошую позицию вчера подобрали. Камни сюда возили, похоже, огромными самосвалами, БелАЗами, и сваливали кучи густо, одна возле одной. Кучи были высокими, выше человеческого роста. За ними было удобно прятаться и скрытно пере-

<sup>19</sup> Глаза — наблюдатели.

<sup>20</sup> Головняк — головной дозор.

<sup>21</sup> Кикимора — маскировочный костюм в виде накидки с множеством лоскутов.

<sup>22</sup> Труба разведчика — ТР-8, оптический прибор перископного типа, восьмикратного увеличения, высотой 560 мм, позволяет вести наблюдения из укрытия, определять дальность до объектов с известными габаритами по угломерной сетке.

двигаться между ними тоже было удобно. А уж как комфортно лежалось среди камней при перестрелках, которые здесь вдруг, ни с того ни с сего, возникали по несколько раз в сутки! Удобно пристроив зад на плоском камне, то ли лежа, то ли сидя, уперев локти, прикрытые налокотниками, в грунт, он рассматривал укров. До них было пятьсот метров. Точнее, четыреста семьдесят. Вчера он изловчился измерить точное расстояние лазерным дальномером, наведя его на большой плоский камень, торчком стоящий у самой траншеи. Камень этот был словно из сказки, только надпись на нем сделать: «Направо пойдешь... Налево пойдешь...» Укропы вырыли свою траншею прямо у подножия этого камня, установили в углу пулемет. А чуть впереди росло дерево с рыжей, прошлогодней листвой. Оно служило хорошим ориентиром. Светосильная оптика перископа съедала расстояние и давала удивительную четкость. Вот у пулемета беседуют о чем-то, повернувшись друг к другу лицами, а к нам боком, два дежурных бойца. Над бруствером видны только плечи и головы в касках. Мимики с такого расстояния не различить, но хорошо видны все их движения, серый камуфляж, тактические очки поверх шлемов, светлые пятна лиц. Можно даже определить, что лица упитанные. Вот справа из лесочка вынырнули две фигурки в черном, у каждой по белому мешку на плечах, наверняка хлеб и продукты притащили. Быстро прошмыгнули, пригнувшись, пятнадцать метров открытого пространства от зарослей до траншеи и спрыгнули вниз, к бесеующим. О чем-то весело говорят, это было видно по движениям.

«Шо рассказывают? — подумал Игорь, достав свободной рукой из пакетика, засунутого в карман разгрузки, несколько семечек и закинув их в рот. — Наверняка какие-то местные новости. Или приколы, только им и понятные. Такие же солдаты, как и мы. Такие же Володьки, Сережки или Мишки. И юмор такой же. И ждут их где-нибудь в Полтаве или Черновцах, и молятся за них. А поди ж ты — враги!» Он давно и старательно гнал от себя мысли, что придется стрелять в человека. Все понимал. Что мы их сюда не звали. Что война. Что не мы ее начали. Что у нее свои жесткие правила. А все равно не по себе было от мысли, что вот сделает он выстрел, правильный, выверенный, как учили на полигоне, и где-то далеко завоет над гробом женщина! Бр-р-р... Аж мурашки по коже!

Пришедшие поболтали минуты три и пошли по траншее влево, скрылись непонятно где. Игорь вел за ними взглядом, разворачивая трубу влево. Один из дежурных повернулся и приложил к глазам бинокль. Это немного напрягло. Умом Игорь понимал, что увидеть его невозможно, над каменной пирамидкой торчит всего лишь часть перископа, хорошо замаскированная под пучок травы. Да к тому же сзади, на соседней куче, рос густой куст, он своим фоном хорошо его скрывал. Но все равно.... Казалось, укроп усталился сквозь бинокль прямо в него. Черные мешочки вынырнули на границе поля зрения его трубы. Игорь, плюнув на любопытного дежурного у пулемета, отвел от него объектив и сосредоточился на бегущей парочке. Те отбежали уже далеко влево и намного дальше чем пятьсот метров.

«Оппа! Да у них здесь блиндаж», — глядя, как фигурки нырнули в едва-едва видимое отверстие в глинистой насыпи, Игорь удивился, что ни он, ни кто-либо из его группы не заметил этих блиндажей раньше.

— Одесса, ответь Овалу, — голос раздался в правом ухе, в которое был вставлен маленький наушник гарнитур. — Как обстановка?

Овал находился на Подвале, он с высоты координировал сегодня действия всех подгрупп. Где-то там, рядом были и агээсники с Греком во главе. Двойке же с пятеркой ребят сегодня предстояла самая сложная и опасная часть работы. Они сейчас где-то внизу, в ущелье между Крокодилем и Подвалом, скрытно, на тихой лапе,

двигаются как можно ближе к украм. У них задача — взять языка. Идеально, если скрадут такую же укропскую группу, шарящую, на свою беду, в ущелье. Ну а снайпер, пулеметчик да и остальные отсюда, с Крокодила, должны прикрыть огнем, если что. Игорь уже прижал кнопку на ларингофоне для ответа, что все тихо, как вдруг впереди, но не с этих наблюдаемых позиций, а скрытых за леском раздалась пулеметная очередь. С Подвала ответила такая же. Из-за спины, с наших позиций, оставленных метрах в ста пятидесяти сзади, тоже затарахтел короткими очередями пулемет. Это подключился Стас, друг Игоря по старой службе. И понеслось! Пулеметные, автоматные выстрелы затарахтели сзади, спереди, справа. К ним добавились бабахи подствольников. Несколько раз где-то рядом в воздухе шелкнули, пролетая, пули. Сквозь трескотню было слышно, как далеко впереди, у укропов, гахнуло один за одним два выхода. Похоже, минометы. Через секунду чуть справа в вышине прошуршало и еще через мгновение взорвалось два раза то ли в районе Подвала, то ли вообще в Докуче.

— Овал Одессе, — Игорь сполз от греха подальше вниз. — Было тихо, пока ты не спросил. Как принял?

— Принял, — Овал по-донецки тянул гласные, голос его был спокоен. — Двойка Овалу.

— На связи, — чуть замедлив, тихо, почти шепотом отозвался Двойка. — Что происходит?

— Та просто постреляшки вспыхнули, — ответил Овал.

Игорь спустился к подножию каменной кучи и откинулся спиной на камни, сплевывая семечковую лузгу на россыпь пулеметных гильз.

— У? — протянул Ронину жменю семечек.

— Угу, — Ронин также принялся лузгать плоды подсолнечника, устроившись поудобнее

Справа, метрах в двадцати, курили Сом с Доком. Встретившись глазами, они, как по команде, оскалились в улыбке. На левом фланге задымили Рус и Муля. И тоже лыбились во весь рот. Игорь положил трубу разведчика на плоский камень, в который миллионами лет был впаян белый купол какой-то окаменелости, то ли кусок огромной раковины, то ли свод чьего-то черепа. Окаменелостей тут было очень и очень много. Не сходя со своего места, Игорь мог видеть с полдюжины. Когда-то давно это было дном доисторического океана. Миллионы лет на это дно падали ракушки, рыбы, плавающие ящеры. Все это покрывалось илом, уплотнялось, каменело. Потом океан ушел, дно поднялось, стало сушей. На нее напоздали с севера ледники и опять уходили. По ней бродили мамонты и саблезубые тигры, с ними бились каменными орудиями первобытные в лохматых шкурах. Потом и они пропали. Топтали копытами своих коней эту степь скифы и сарматы, древние русичи и половцы, татары и казаки. Святослав и Олег ходили этими местами на неразумных хазар, Петр Первый водил свои азовские походы, гонялись друг за другом тачанки Пархоменко и батьки Махно, танки Манштейна жестоко прокатились с запада на восток в сорок первом, наматывая на гусеницы эту землю, но у же в сорок третьем убегали от Красной армии на запад, злобно огрызаясь. И вот в третьем месяце шестнадцатого года двадцать первого века, на второй год войны, которая еще и названия своего не получила, опять здесь кипят страсти и льется кровь.

Перестрелка, потарахтев минут двадцать, затихла сама собой. Док, в одну за-тяжку докурив и засунув бычок под камень, осторожно приподнялся, приложил би-



нокль к глазам. Плавно поводя из стороны в сторону, так же плавно присел. Отнял бинокль от глаз, посмотрел в сторону командира. Ронин и Игорь одновременно и не сговариваясь вопросительно дернули подбородками. «Все спокойно», — махнул он рукой. Игорь, кряхтя, полез на свою лёжку.

На вражеских позициях ничего не изменилось. Дежурные у пулемета опять болтали, дерево-ориентир все так же мотало под ветерком своими рыжими листьями.

— Одесса Двойке, — раздался в ухе тихий шепот.

— Одесса на связи.

— Работать можешь.

— Могу, — у Игоря участился пульс, и он не заметил, как тоже почему-то перешел на шепот.

— Работай, — Двойка все так же тихо шептал. — Надо, чтобы они засели и не высовывались.

— Принял, — шепнул, проглотив комок, Игорь и, плавно переместившись к винтовке, лежащей рядом, чуть ниже вершины каменной кучи, протянул Ронину трубу, — Приказ работать.

Игорь, стараясь успокоить дыхание, приложился к винтовке, снял ее с предохранителя. В прицел все смотрелось чуточку по-другому, чем в перископ, все-таки и кратность меньше, и по высоте на полметра ниже, но разница была небольшой. Болтуны в окопе все так же сплетничали, на прямой линии с ними в поле зрения попало несколько колышущихся на ветру травинок. Это плохо, пуля, чиркнув об травинку, могла едва заметно отклониться. Зато они показывали направление ветра, который тут крутил завихрениями.

«Так, шо мы имеем с этот гусь? — Игорь никак не мог уgomонить свой пульс, поэтому старался отключить осознание того факта, что сейчас он целится не в мишень, а в человека. — Ветер слева, косо, два-три метра в секунду. И, блин, порывами! 0,28 умножаем на три и делим на два. Получаем ноль сорок две тысячных. Блин, а если я сейчас убью не какого-то укропа майданутого, а нормального мужика?! Какой, на фиг, нормальный?! Нормальные мужики в украинскую армию не идут! Возьми себя в руки, Игорь! Работай!»

Он посмотрел на своих соратников. Ронин на соседней куче старательно вдавливал себе в глазницу окуляр трубы. Справа Док, приподнявшись, так же внимательно рассматривал врагов в бинокль, а Сом, сидя рядом с ним с пулеметом на коленях, вертел головой то на него, то на Игоря. Слева, полулежа на камнях, Муля и Рус тоже в ожидании неотрывно уставились в четыре требовательных глаза на снайпера. Игорь опять прикинул к прицелу.

«Итак... Поправка 0,42 влево. Добавим деривацию 0.1 и тоже влево. Итого полтысячной влево, — пока калькулятор в голове сыпал цифрами, Игорь несколько раз глубоко вдохнул-выдохнул, вентилируя легкие, каждый последующий вдох делал слабее предыдущего, постепенно успокаиваясь и переходя к ровному, тихому дыханию, — Но ветер же, сволочь, порывистый. Вынесу прицел на полтысячной влево, а он возьми и не подуй. Промахнись».

Игорь поиграл пальцами правой руки, разминая их.

«Тогда делаем так... — он подвел вершинку уголка на сетке прицела под ухо левого бойца, — Не подует — пуля левому достанется, подует — в правого. Или в одного, или в другого попаду наверняка». Задержал дыхание и с мыслью: «Господи, прости грех мой и направь пулю по воле твоей», — плавно нажал на спуск.

Выстрел грохнул, как обычно, громко и хлестко, гильза, звякнув, улеглась в россыпи точно таких же, которые были насыпаны тут раньше каким-то пулеметчи-

ком. Пренебрегая правилами, которые советовали снайперам не любопытствовать после выстрела, Игорь все-таки опять приткнулся к окуляру прицела. Вдоль бруствера метушливо бегала одна голова в каске. Подбежав в угол, где был пулемет, укроп вдруг развернулся и побежал обратно. Помня, что приказ Двойки был заставить врагов засесть и не высовываться, Игорь быстро, на глаз, сделал упреждение и выстрелил. Мимо! Каска развернулась и снова метнулась в угол. Игорь перенес точку прицеливания вправо и снова быстро выстрелил. Опять мимо! Укроп опять побежал влево. Выстрел! Снова мимо!

«Черт бы тебя побрал! И чего в траншее не засесть?! Наверняка паника у человека! — Игорь, помня, что магазин заряжен бронебойно-зажигательными патронами, плюнул на мечущегося в траншее укропа и всадил один за другим три пули в камень, — Бэзешки<sup>23</sup> при попадании в камень дают вспышку и секут осколками, может, хоть это заставит придурка засесть в траншее!»

Слева раздалась автоматная очередь. Это Ронин, не выдержав, в азарте высаживал в сторону укропов один магазин, потом еще один. Справа к нему присоединился Док. Он с сигаретой в зубах, шурясь от дыма, короткими очередями разряжал автомат. Его солидно сменил Сом. Затарахтели попеременно и Муля с Русом. Снайперу больше делать тут было нечего, и он сполз вниз. Укропы, как ни странно, не отвечали ни единым выстрелом.

«Ну вот, кажется, ты и открыл свой счет, снайпер Одесса, — Игорь грыз семечки, глядя, как его друзья резвятся, — Это им за Одессу, за Дом профсоюзов, за Вадика Негатурова!»

---

<sup>23</sup> Бэзешки — сленговое название патронов БЗ, бронебойно-зажигательных.

## РАССКАЗЫ

### ДНЕВНИК ВООБРАЖАЕМОГО ПРЕЗИДЕНТА

#### День первый

Сегодня от нечего делать, глядя в окно, представлял, как я стал президентом: сам В. П. пожал руку и пожелал служить Отечеству. И я сразу начал служить: повысил пенсии в три, нет, в четыре раза, уволил всех чиновников, разогнал депутатских прихлебателей — не самих депутатов, а их помощников, сократил рабочий день до шести, ой, вру, до пяти часов, выдал беспроцентные кредиты малому бизнесу. Так, что еще? Ах да, самое главное — улучшил дороги и вот еще что (мне кажется, всем российским автолюбителям понравится моя затея): издал указ, что сотрудником ГИБДД может быть мужчина весом не более семидесяти килограмм, а если за год его вес увеличится более чем на три килограмма, то он тут же будет уволен с полной конфискацией имущества, а вырученные от конфискации деньги пойдут на улучшение улучшенных дорог. Кстати, этот указ можно бы применить и к чиновникам, но их я уже уволил. Полагаю, что надо вернуть чиновников, но предварительно каждого взвесить. Так, что же я еще могу сделать на посту президента? В общем, многое могу, но пока надоело управлять страной, пойду я лучше в футбол поиграю.

#### День второй

Сегодня решил продолжить президентскую службу, и вроде бы есть чем заняться в реале, но думаю, пять-десять минут фантазий не помешают моей обычной жизни. Итак, вчера я успел сделать много, за один день столько всего сотворил, а что же страна? После пятичасового рабочего дня народ вышел на улицы, чтобы поприветствовать меня и поблагодарить: какое множество моих портретов, с ума сойти, надо быть скромнее, в следующий раз не забыть запретить портретизм, а сегодня уж пусть радуются и благодарят меня, я это заслужил, они это заслужили, мы это заслужили. Хорошо-то как, возвышенно, прекрасно, может, еще сотворить что-нибудь такое-разэтакое?.. Ой, две девицы мне улыбаются, машут рукой, я им в ответ — вот те раз, фантазия растворилась в сознании, сбежав в подсознание, и я стою у окна и машу рукой. Кому? Прохожие подумают: вот чудак, они ведь не знают, что я только что был президентом.

---

Владимир Заморин родился в 1969 году в Ленинграде. Учился в ПТУ № 64 на судового повара. Служил в армии. Учился в Гуманитарном университете профсоюзов на кафедре режиссуры под руководством З. Я. Корогодского. Живет в Санкт-Петербурге.

### День третий

Что ж, третий день служу Отечеству на посту президента, кажется, справляюсь: людям нравится — второй день ходят по улицам с моими портретами. Кстати, надо все-таки запретить портретизм, а то найдутся завистники, начнут говорить о моей мании величества, а какое я величество? Я сам из народа, я есмь народ, я все для народа, для него, родного, дорогого, любимого. Хорошо, с народом разобрались, надо и о себе подумать — решить квартирный вопрос, негоже руководить страной из коммуналки, нужно подыскать квартиру, такую, чтобы не стыдно было принимать в ней зарубежных гостей, министров, там, всяких разных. Ищем в Питере квартиру, хотя... президент должен жить в Москве, ой, как не хочется переезжать. Так, ладно, решено: возвращаем статус столицы Питеру. Если уж предыдущий президент Крым вернул (а это, извините, не хи-хи, это все-таки полуостров, почти остров), то Питеру вернуть столичность — пара пустяков, никто и не заметит. Царские палаты в Зимнем дворце мне не нужны, что я, император какой, а вот рядом с Эрмитажем квартирку было бы неплохо. На Мойке, у Зимней канавки, стоит желтый дом, в котором жил Собчак, по-моему, неплохой вариант. Прекрасно, сейчас вызову «Петровича», знаете, грузовички такие, перевозками занимаются, скарба у меня немного, одного «Петровича» достаточно. А вечером, бог даст, буду из окна разглядывать атлантов.

### День четвертый

Четверг. За окном дождь, говорят: «Дождь в дорогу — хорошая примета». Может, уехать куда-нибудь, но куда я поеду, как я оставлю свой народ без себя, на мне за них лежит ответственность. Допустим, можно ли оставить домашних питомцев без присмотра: вот так уедешь на неделю, вернешься, а у тебя все углы в квартире изгажены, и все передохли от голода. Нет, нельзя оставлять народ без себя, пропадет он без меня, буду сидеть дома и смотреть в окно, на мраморных, темных Атлантов, на пасмурное небо столицы и вспоминать по строчке стихотворение Леонида Аронсона:

Печально как-то в Петербурге,  
Посмотришь в небо — где оно?  
Лишь лета нежилой каркас  
Гостит в пустом моем лорнете.  
Полулежу. Полулечу.  
Кто там полудетит навстречу?  
Друг другу в приоткрытый рот,  
Кивком раскланявшись, влетаем.  
Нет, даже ангела пером  
Нельзя писать в такую пору:  
«Деревья заперты на ключ,  
Но листьев, листьев шум откуда?»

Стихи написаны летом шестьдесят девятого: быть может, именно в тот момент, когда перо водило по бумаге, родился я, а мама испытывала боль и радость (все рождается в этом мире с болью и радостью). Мне кажется, что когда является на свет новорожденный, обязательно где-то рядом или на краю земли какой-нибудь известный или безымянный поэт сочиняет стихотворение, не ведая, что

тем самым составляет верительную грамоту рожденному. Нет, сегодня буду сидеть дома, пить чай с малиновым вареньем, на доньшке осталось; выпил бы водки, да денег нет. Что за жизнь: я президент большой, могущественной, богатой страны, а денег на водку нет. Завтра займусь финансовыми сбережениями, хотя нет, завтра надо подумать о семье и друзьях, надо их куда-нибудь пристроить, приобщить к общему делу, сколотить, так сказать, команду. Друзья просят решить их квартирные вопросы, помочь с трудоустройством — всем помогу, всех обеспечу, но завтра, сегодня идет дождь, и президент имеет право на печаль.

### День пятый

Сегодня, как и планировал, займусь семьей и друзьями. Перво-наперво — дочь. Полагаю, она станет министром культуры, однозначно — она читала «Войну и мир» (даже я не читал), так что ей самое место в культуре; в нашей стране большая половина населения не читала роман-эпопею, но делает вид, что читала, а половина из большей половины нечитавших, но делавших вид, что читавших «Войну и мир», не может отличить Алексея Константиновича Толстого от Льва Николаевича Толстого, а Льва Николаевича Толстого от Алексея Николаевича Толстого, они (Толстые) для них (для половины из половины нечитавших) как одно существо, этакий Змей Горыныч. Ладно, дочь — министр культуры, решено. Теща, само собой, в губернаторы столицы, ежу понятно. Хваткая, умная, энергичная, круче Вальки будет. Теперь братья и сестры (двоюродные они мне, но как родные): старший, значит, епархию возглавит, он вроде как знает толк в религии, Кириллу надо будет потесниться: Бог дал, Бог взял, не мной заведено; среднего назначу министром машиностроения, у него водительские права есть, и в машинах он разбирается, а в министерстве и подавно разберется, что к чему и кому; младшенький, куда ж тебя сунуть, чтобы потом не пришлось вытаскивать, а вот станешь ты помощником своего брата, у тебя же тоже права есть; старшая сестра будет министром здравоохранения, у нее есть опыт работы медсестрой; у младшей сестры есть опыт работы с кассовым аппаратом, получается, министр торговли. Про троюродную племянницу не забыл — министр спорта, хватит мутить воду бывшему министру. Теперь друзья: А. В. — министр телерадиовещания, это понятно; Е. К. — спикер, как и обещал, дочь, уверен, сам пристроишь; у Р. Н. проблемы с ипотекой, а забей Р. Н. на ипотеку, теперь ты министр градостроительства; С. В. возглавит союз композиторов, мне нравится его музыка, душевная такая, хорошая музыка; С. С. станет министром МВД, теперь хулиганам не поздоровится, спуску не даст никому; Ю. З. министр иностранных дел, ты все-таки француз, хоть и ненастоящий, но в нашем узком кругу ты все-таки француз; у А. Л. вроде все в порядке, надо будет деньги тебе вернуть, но могу и место найти в министерстве, если надо; А. Т. возглавит реабилитационные центры, а то у нас там только настроение поднимают, а здоровье не возвращают; и самое главное, надо кому-то возглавить Центробанк, деньги должны находиться в руках, которым я доверяю, русского назначить нельзя — сопьется, нужен еврей, Б. А., придется тебе, понимаю, что ты творческий человек и хочешь стать великим режиссером, но надо, сам понимаешь, деньги, а жена, если что, тебе поможет, она у тебя толковая; О. К., раз уж ты в Москве обосновался, будешь губернатором нестоличного, обычного города...

Что-то я как-то подустал, не думал я, что назначение людей, даже близких, на руководящие должности — такое утомительное занятие, даже не хочется в окно выглянуть, посмотреть, как там народ, ходит ли с моими портретами. Нет, на сегодня все.

### День шестой

Опять дождь, и, судя по небу, на весь день, но сегодня, как ни странно, нет печали на душе, наоборот, все внутри клокочет, свершений просит. Не пойму, с чего это. А-а-а, сегодня же суббота, а когда у народа выходной (а я есмь народ), для него любая погода хороша, лишь бы не работать. Кстати, о народе, как он там? Выгляну в окно, проверю... Хм, гуляет народ, даже в дождь гуляет, но вместо моих портретов в руках зонтики. Да, я помню, хотел отказаться от портретизма, но как я пойму, что правильно служу Отечеству, что народ меня любит, ценит, благодарит, — только по портретам. Если в каждой квартире, в каждом кабинете, в каждой руке гуляющего мой портрет, значит, я дорог народу, уважаем народом и делаю все правильно для народа. Надо наладить производство зонтов с моим портретом. Кому доверить столь важный государственный заказ (чтобы краска не расплывалась под каплями дождя и не уродовала мое красивое, мужественное лицо)? Знаю!!! Знаю кому!!! Ю. П. — виртуоз, мастер, Художник с большой буквы, а если справишься с заказом, возглавишь Союз художников. Решено. Ну, а я должен подумать над тем, как взбодрить народ, взбудоражить, усилить его любовь ко мне. Ладно, будем думать, а сегодня пусть гуляет народ под простыми зонтиками — без моего лица.

### День седьмой

С народом надо что-то делать — выглянул в окно, а на улице никого, пустые улицы. Сперва подумал, может, телевизор смотрят, позвонил на электростанцию, в Сосновый Бор, в трубку крикнул: «Вырубай!!!» Теперь в столице нет света и телевидения, только газ, а людей все равно нет на улице, пустые улицы, как в кино, даже страшно как-то становится. Сволочи!!! Сидят, наверное, на своих кухнях с включенным газом и что-то замышляют, как пить дать, замышляют. Может, позвонить в «Газпром» и крикнуть: «Перекрывай!!!»? Нет, вентиль перекрывать нельзя, Европа может взбунтоваться, она же тоже на газе нашем сидит, хотя делает вид, что не сидит, но мы-то знаем, что сидит, ладно, пусть газ будет. Надо было еще вчера для народа что-нибудь сделать, а не откладывать великие свершения на сегодня. Все надо делать вчера, все вчера, а жить надо только сегодня (о, как сказал умно, надо сохранить в памяти — пригодится). Так чем будем будоражить народ, чтобы он вновь взялся за мои портреты как за иконы? Думай, президент, думай!.. Хм. А что если прибегнуть к средству всех времен и народов!? Как это я вчера не додумался, прекрасное средство для лечения народа — водка. Сейчас она стоит триста, четыреста, а то и восемьсот за пол-литра, а мы ее сделаем по восемьдесят восемь рублей. Нравятся мне две восьмерки: если их положить, то получится две бесконечности рядом, — это так романтично. Блеск!!! Ну, что?.. О-о-о, зашевелился народ, оживился, стал выстраивать километровые очереди у винно-водочных лабазов, и портреты мои мелькают в очередях. Хорошо! Главное, чтобы меру знали, завтра все-таки понедельник, хоть и пятичасовой рабочий день, но трудиться надо, и надо, чтобы остались силы портреты мои держать твердо в руках. Надеюсь и верю: народ знает меру. Я горжусь своим народом, я есмь народ, я горжусь собой.

### День восьмой

Сегодня встал пораньше — и сразу к окну, чтобы посмотреть, как там народ после вчерашнего. Народ — молодец, знает меру, идет на работу, в каждой руке мой портрет, правда, многие перевернуты лицом вниз, но это они не со зла, видно, непривычные еще к бурным выходным, ничего, пообвыкнутся, четче будут держать шаг, руки не будут дрожать. Эх, хорошо, солнце ярко светит, на улице май, прекрасная пора. Народ идет на работу, надо бы и мне заняться служением Отечеству. Так с чего начнем?.. А не снять ли нам фильм про президента, и не документальный, а художественный, порадовать, так сказать, народ, а я бы мог в нем сыграть сам себя, я все-таки в прошлом актер, даже в сериалах снимался, приходилось играть бандитов и таджиков, вроде справлялся. И я не вижу в этом ничего зазорного, вопиющего, я же не собираюсь дирижировать оркестром и «калинку» танцевать, ни того ни другого я делать не умею, а в театре играл, незаметно, но играл. Ну, а если я себя сыграть не смогу, если вдруг с текстом сценарным не справлюсь, не смогу литературно говорить так, чтобы зритель поверил, то можно пригласить Безрукова, он хорошо играет гениев; я не в восторге, но народу нравится, а кино надо снимать для народа и приглашать на роли только тех актеров, которые любимы народом.

### День девятый

Сегодня ни с того ни с сего захотелось полакомиться кильками пряного посола: что же, если я президент, то не могу возжелать обычных килек?! Конечно могу! Помню, в детстве, нарежешь свежий батон, намажешь сливочным маслом кусок, сверху килечку пряного посола и черный, крепко заваренный чай, сладкий-сладкий, кусаешь и запиваешь. Вот уж, воистину — лепота. А в отрочестве, когда я служил коком на гражданском судне, в полдник я делал себе божественный кильковый бутерброд и, запивая его чаем, любовался горизонтами морей. Был в моей недолгой морской жизни один замечательный рейс: наш сухогруз, нагруженный под завязку сахаром в бельгийском порту города Антверпена, взял курс на далекий Иран, через Северное, Балтийское море, по Неве в Ладогу, из Ладоги в Волгу-матушку, по матушке до Каспия. Через пятнадцать дней мы вошли в порт иранского города Пехлеви, и вот в этом самом порту, можно сказать, на чужой планете, я встретился лицом к лицу с будущим министром спорта России (теперь уже бывшим, я его уволил и назначил свою троюродную племянницу). Его судно, нагруженное сахаром, тоже пришвартовалось в Пехлеви, и был он тогда обычный второй помощник механика, с обычным комсомольским карьерным взглядом на жизнь. Да, жизнь непредсказуема на встречи. Но вернемся к моему президентскому желанию отведать килек пряного посола. Никому ничего не говоря: ни своим личным поварам (их у меня пятеро — по итальянской кухне, по французской, по японской, по немецкой и по арабской), ни телохранителям (их у меня двадцать, на всякий случай), я улизнул от всех, выскочил на Миллионную и скоренько в супермаркет за заветной килькой. Захотелось пройтись одному по городу, свободно вздохнуть народным воздухом, побыть, как все, как один из народа. Конечно же, я воспользовался мерами предосторожности: чтобы меня никто не узнал, надел шляпу с полями и солнцезащитные очки и стал похож на народного мушкетера, который живет в том же доме, что и я, но, слава богу, у меня не было выдающихся усов, и во мне никого не признали. Зайдя в супермаркет, я направил-

ся к стеллажам с консервированной рыбой, ищу свою кильку: что за напасть, нет килек, то есть они есть, но все в томате. И тут мой взгляд остановился на помидорах, вернее сказать, не на них, а на ценнике, который кричал, что томаты стоят триста рублей. Я хотел вспомнить всех матерей, которых знал, упомянуть все органы, участвующие в деторождении, но вспомнил, что есть антиматовый закон, мной еще не отмененный, а надо бы. «Это что за аномалия такая — продавать помидоры за триста рублей, — это я выговаривал собравшимся по моему требованию предпринимателям, которые занимаются поставкой и продажей народу помидоров. — Вы что, с..., творите?» А они, глядя мне в глаза, спокойно отвечают: «Так ведь санкции». — «Санкции?! — повышаю голос я. — Да вы своими томатами всю кильку утопили. У вас санкции для народа, а на кильку санкции не распространяются! Так, что ли?» Молчат, в глаза уже не смотрят. В общем, я им сказал, чтобы завтра же помидоры стоили восемьдесят восемь рублей, и даже не стал им объяснять, почему именно восемьдесят восемь.

А килекпряного посола я так и не отведал, пришлось давиться шашлыком из осетрины.

### День десятый

Не ожидал я такого бума на мое решение по помидорам, еще, чего доброго, назовут меня президент-помидор, прямо как в сказке Джанни Родари, но он писал о Синьоре Помидоре, который, если не изменяет память, был управляющим королевства, типа нашего премьер-министра, кстати, я ведь никого не назначил на должность премьера. А если разобраться, в принципе, зачем он мне, нет, правда, зачем мне партнер, я и сам справляюсь, без заместителя. А за окном народный бум: народ вышел на улицу с моими портретами, на которых у меня изо рта торчит помидор. Нехорошо это, надо бы поговорить с народом, объяснить, что мои портреты — это хорошо, а торчащий изо рта помидор — плохо. И я хотел выйти к народу, но потом вспомнил, что утром назначил на должность пресс-секретаря О. Р., женщину очаровательную, умную, томную, игривую и приятную во всех отношениях, вот пусть она и идет, объясняет народу, что такое хорошо и что такое плохо... А пока она ходила, я придумал, что нужно сделать, чтобы урезонить помидорный бум, — я решил все продукты, начиная от соли и заканчивая мясом, уравнивать в цене: пусть все стоит восемьдесят восемь рублей, и тогда я буду не президент-помидор, а дважды бесконечный президент, бесконечно-вечно молодой. Между прочим, я где-то слышал, что существует средство Макропулоса, эликсир молодости, его вроде как изобрели в Чехии, и микстура по рецепту продавалась в аптеках тем, кому за семьдесят, но потом в Чехию пришли фашисты и закрыли все аптеки, так как все фармацевты были не арийского происхождения. Надо выяснить, сохранилась ли формула, и если да, то любой ценой раздобыть ее.

### День одиннадцатый

Вчера перед сном, по настоянию министра кинематографии, смотрел американский блокбастер «Падение Лондона», чтобы дать добро сценаристам так или примерно так выстраивать сюжетную коллизию в российском блокбастере обо мне. В общем, посмотрел я американское «Падение» и согласился с сюжетом: понравилось, что все главы государств погибают и остается только один (в нашем филь-



ме — я) вершитель судеб мира сего. Единственное, что не устроило в просмотренной кинокартине: президента (американского) спасает крутой телохранитель; по моему, в реальном мире так не бывает, чушь какая-то, а вот если я сам себя спасаю, то это может быть жизненной правдой. Я в юности занимался боксом, и хотя провел всего пять юношеских боев, но в трех одержал победу. Еще остался порох в пороховницах, и сегодня могу несколько раз ударить по боксерскому мешку. Поэтому писакам сказал: да, все главы погибают, остаюсь я, без телохранителя, один на один с врагами цивилизации. Эх, хорошо бы самому сняться в таком кино и получить все призы всех фестивалей, включая «Оскара» за лучшую мужскую роль первого плана. И тогда меня, может, не только в своей стране народ бы любил, но все народы мира возрадовались бы мне. Наверное, все-таки сам себя сыграть, сам снимусь, причем бесплатно: чего не сделаешь ради искусства, ради всемирной народной любви.

### День двенадцатый

Вот уж никак не мог представить, что в моей прочной утопии возникнет брешь и корабль мечты с радужными парусами может пойти ко дну. Так все складно складывалось: я президент, народ меня любит, назначил родных и друзей на высокие должности, все довольны — и народ, и родственники, и друзья, и я. Хотел как лучше для всех, а друзья мне кинжал в спину — зарплату требуют: мол, мы на должности, а где оклад? И родственники к друзьям присоединились, а дочь изрекла: «Деньги не помешают». И как им объяснить, что денег в государстве нет и надо научиться жить без денег, а научившись жить без денег, легче будет жить с деньгами. Нет, какие-то деньги в закромах есть, но они для народа — чтобы народ мог покупать продукты и водку по восемьдесят восемь рублей. Думаете, я просто так, из любви к бесконечности, все цены подогнал под две восьмерки? Одна цена нужна для простоты расчета — чтобы не возиться с дебетом-кредитом; помню, как-то у меня была очень хорошая знакомая, очаровательная девушка (имени называть не буду: личная жизнь президента — это его личная жизнь, даже если она не укладывается в рамки гетеросексуального сознания), так вот, она была бухгалтер, и как-то ненароком я заглянул в ее бумаги: мама дорогая, у меня мозг закипел при виде такого скопления цифр. Бухгалтеры, они же как математики, как физики, бесконечность могут превратить в конечность, великие люди... Ах да, зарплата родственникам и друзьям. Как быть в ситуации, когда свои же могут мою фантазию исковеркать, а еще, не дай бог, навязать свою. Знаю, народ меня в обиду не даст, он за меня горой, но с родственниками и друзьями надо что-то делать, надо как-то замазать брешь в корабле с радужными парусами.

### День тринадцатый

Да, как ни крути, а деньги нужны любому государству, даже такому утопическому, как мое, и не только для народа, а для внутренней экономики — мать ее за ногу; оказывается, они еще и для внешней экономики нужны — отец ее за обе ноги. Мне-то деньги не нужны, живу на всем готовеньком, но раз уж зашла речь о деньгах, то сегодня утром, вытираясь полотенцем после соляной ванны, я спросил очаровательную девушку из обслуживающего персонала, не придавая особого значения вопросу: «Зоенька, а сколько стоит это полотенце?» И она, как-то по-детски смущаясь, ответила: «Десять тысяч евро». — «Чего? — удивился я. — Оно же одно-

разовое». Но Зоя ничего не сказала мне в ответ, а стала как-то по-женски суетливо прибираться ванную комнату. «Ни хрена себе, — подумал я, — за какую-то одноразовую тряпку десять тысяч евро, как это возможно?» Согласен, полотенце шикарное: когда вытираешься, создается ощущение, что проваливаешься в бездну тишины и спокойствия. Каждая ворсинка будто гладит, щекочет, ласкает, и в воображении возникают картинки, картинка, картинка... Да, оно стоит десять тысяч, но почему полотенце одноразовое, это же не презерватив, его же постирать можно. А вечером, когда я принимал ванну, Галина из обслуживающего персонала сказала, что если полотенце использовать второй раз, то оно теряет свой эффект. Хорошо, пусть будет одноразовое полотенце за десять тысяч евро, пусть. И знаете, я более не стал расспрашивать обслуживающий персонал о цене того или иного предмета. Я убедился в том, что государству нужны деньги, большие деньги, чтобы у народа появилась возможность откладывать на черный день. А вдруг кто-нибудь решит на отложенные деньги приобрести мое одноразовое полотенце, а что, у народа будут деньги, а я устрою аукцион «Одноразовые президентские предметы быта», народу понравится затея, ему это в диковинку, а мне приятно.

Итак, государству нужны деньги, но вот вопрос: где их взять? Центробанк предложил запустить печатный станок и спокойненько отпечатать двухсот- и двухтысячные купюры. Нет, не будем мы запускать станок, будем искать деньги в государстве, а где? Правильно, в банках. Банков у нас много, больше, чем заводов, вот у них и будем брать деньги на зарплату, на мелкие расходы, и народу, конечно, кое-что перепадет. Завтра созову всех главных банкиров.

### **День четырнадцатый**

Ну что, созвал главных банкиров, а они не пришли, прислав вместо себя своих заместителей; у директоров, видите ли, неотложные дела (знаем мы эти дела — пузо зеркальное греть на Кипре). Сколько же этих замов набилось в Константиновском дворце — не продохнуть, вот уж никак не предполагал, что у каждого банкира по семь заместителей, прямо как труссы-недельник. У них даже на лице высвечивается день недели. Вот эти явно понедельники, от выходных еще не отошли; те черные, как вторники; у этих бровки домиком, губки бантиком — реальная среда; ни рыба ни мясо — четверги; с застывшей улыбкой на лице — пятницы; ну а блондинки — по субботам-воскресеньям. И что мне с этой компанией делать? Для начала решил пошутить — процитировал легендарного советского поэта: «Где деньги, Зин?», а они мне в ответ: «Чего?», даже не улыбнулись, кроме пятниц. Сволочи, считают, что их президент банка — главный начальник, а я для них пустое место, я по их наглым замовским глазам вижу, что они думают: «Подумаешь, президент выискался, выдумал в своей голове государство и думает, что он главный. А завтра найдется еще один дурак, который тоже выдумает свое государство и тоже будет с пеной у рта доказывать, что он главный». «А вот дудки вам, с..., врете, не пройдет, — это я выкрикнул замам. — С таким отношением ко мне банкам, а вам и подавно, в моем мире не выжить! Это понятно?» И как только я вытрубил свою тираду, тут же успокоился и выдвинул ультиматум: или я, или они — и потребовал, чтобы завтра же были оклады у моей команды, включая меня, по пятьдесят тысяч, нет, что я говорю, пятьдесят миллионов рублей в месяц, нет, в неделю, нет, все-таки в месяц, а мне лично недельные премиальные, вот. И о народе тоже не забыл — потребовал, чтобы с курсом доллара разобрались, а то скачет, как заяц, не успеваешь стабильностью насладиться. Так что с завтрашнего дня у всех нас начнется новая, счастливая жизнь.

### День пятнадцатый

Как я вчера прижал денежных толстосумов, а? Так вот, вчера я их прижал к ногтю, а сегодня утром от каждого банка приехала «неделька» со своим банкоматом, я спрашиваю: «А зачем так много банкоматов?». А они в ответ: «Так это деньги перечислять». Они подумали, что каждый банк мне должен пятьдесят миллионов в месяц как зарплату. Вот из-за таких расточительных банков в стране денег и нет. Я им, значит, в ответ: «Я не могу позволить разорять свою страну своей зарплатой, достаточно одного банка, одной кредитной карты, одной зарплате. Президент прежде всего должен думать о народе и о своем государстве». Представьте, сколько у меня было бы кредитных карт, я бы запутался, какую в какой вставлять. В общем, порешили: один банкомат, одна кредитная карта, одна зарплата, все довольны. Поначалу «недельки» растерялись, мол, чей банк возложит на себя великую миссию президентской зарплаты, ну, я тыкнул в первый попавшийся агрегат, мне-то какая разница, они все с одинаковым логотипом «банк», только цвета разные, я и выбрал синий, цвет моря. Хотели установить банкомат в гостиной, я запротестовал: «Нет, только не в гостиной, ходят тут всякие представители третьих миров, воры и бандиты, лучше ставьте в спальне, там надежнее». И вот когда банкомат установили в спальне и все ушли, а я остался один на один с агрегатом (в правой руке персональная карта, волнуясь, рука дрожит), подхожу к банкомату, вставляю карту, набираю пароль «президент», экран спрашивает: «Хотите проверить баланс? Хотите получить наличные?» Хотел было проглотить слюну, но во рту пересохло, и нужной слюны не оказалось, поэтому ответил экрану сухо: «Баланс». И на экране высветилась сумма... я заплакал: сдержали банкиры слово, я думал, обманут, сволочи, но нет, не обманули, ровно пятьдесят миллионов. Все-таки честные люди в банке работают, а значит, и доллар стабилизировали, банкирам можно верить, значит, и народ будет доволен.

А я сегодня поплачу от радости, а завтра подумаю, что можно купить за деньги.

### День шестнадцатый

Пятьдесят миллионов, пятьдесят миллионов, а я спокоен. Раздать долги. Погасить кредит. Плюс-минус, останется сорок девять миллионов. Ага, сорок девять, и что можно купить за такие деньги? Квартира не нужна — на Мойке апартаменты. Машина за ненадобностью, прав все равно нет, а сдавать на права лень, еще билеты учить, без машины обойдусь, все равно возят в бронированном автомобиле туда, куда захочу. Может, яхту? И чего? Надо будет нанимать команду, один я не управлюсь на большой яхте. И что? Будет по палубе команда бегать, суетиться, а я чего буду делать, я что, для команды яхту покупал, что я буду на своей яхте как неприкасаемый. Ну, хорошо, дадут пару раз порулить, доверят штурвал, а дальше что: сиди в каюте, кури сигару, плюй в потолок, хорошая перспектива для президента. А может, вспомнить молодость, потряхнуть стариной и стать на яхте коком? Ну, нет, это не комильфо, не поймут, народ не поймет. Чего тогда? Чего купить-то? Деньги ведь нужны, чтобы их тратить, а получается, что не на что тратить — все есть. О-о-о!!! А может, сделать подарок, но кому? Все родственники и друзья пристроены, и у них самих на счете пятьдесят миллионов, даже дочери подарок не сделать, у нее тоже все есть. А через месяц еще упадет пятьдесят миллионов, не считая недельных премимальных, а я эти-то деньги не знаю, куда деть. Ладно, пусть лежат, копят, может, пригодятся, вдруг настанет черный день, допустим, конец света, вот сбережения

и понадобятся. Ведь ничего не будет, но что-то должно остаться, вон сколько фильмов со счастливым концом про постапокалиптическую жизнь: какая-то жизнь останется наверняка, все будет безумно дорого, это понятно, а тут я со своими миллионами, очень кстати. Да, буду сберегать деньги на черный день, и менять на другую валюту не буду, и народу посоветую этого не делать, после конца света свет будет гореть только для моего народа, в моем государстве.

### День семнадцатый

Господи, в кои-то веки первого июня выдалась такая прекрасная погода. В такой яркий, солнечный день и детей приятно защищать, вопрос — от кого в моем государстве защищать детей; я детей люблю, а значит, и народ мой любит. Ладно, раз уж завели праздник, пусть будет, тем более погода хорошая. Все-таки не усидел дома, замаскировавшись, никому ничего не говоря, выскочил на Мойку, через капеллу на Невский, иду, дышу народным воздухом, хорошо. Заглядываю в глаза прохожим, которые идут без моего портрета, пытаюсь в их глазах найти оппозицию, вроде светлые глаза, умные, и зрачки не увеличены, понимаю: хоть и без моего портрета, но он свой; а то знаете, как бывает: вроде не оппозиционер, а зрачки по пять рублей, явно человек что-то замышляет, к чему-то готовится или уже приготовился, таких я не люблю, никогда не знаешь, что у такого на уме, и в сердце, и в крови. Я люблю светлые глаза, чистые, открытые, смотрящие гордо перед собой; такие глаза не предадут, не обманут, в пиджак за ножом не полезут, чужие юбки задирают не станут. Быть может, на днях издам указ, чтобы у всех были чистые, светлые глаза, с гордым взглядом, а всех с увеличенными зрачками, с лживым, раболепским взглядом, с поникшей головой — всех на лечение, а кто не желает лечиться, ариведерчи, границы открыты, живи в Европе или в Азии, хоть в Америке, твое дело, а в моем государстве только светлые глаза, только чистые. Может быть, к указу сделать приписку, чтобы глаза были у всех еще и голубые, красиво же, народ с голубыми глазами, у меня карие, пусть останутся, я все-таки президент, должен как-то отличаться от народа. Вот так, в размышлениях о глазах, дошел до Театра комедии, и моему взору предстал Катькин садик, с закаменевшей величественной императрицей в центре, окруженной преданными вассалами. Захотелось выпить пива, все-таки жарко. Сел под навес летнего кафе у ограды сада, заказал пиво, жду, достал пачку сигарет, закурил. И тут обращаю внимание на надпись на стуле напротив: «Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью». Не придав значения надписи, продолжаю ждать пива, и тут (опять это — «тут») мой взгляд цепляется за надпись на пачке сигарет: «Курение убивает», и что-то во мне екнуло, что-то перевернулось. Принесли пиво, я стал с жадностью пить и размышлять: «Как же это так, вредит здоровью, а продают, убивает, а торгуют, есть в этом какая-то хитрость, патологическое вранье, это все равно что прочитать на прикладе «калаша»: «Минобороны предупреждает: выстрел из этого автомата может лишить жизни человека». Нет, что-то не сходится, что-то тут не так, какая-то катастрофическая игра жизни со смертью, протягивание руки-протеза утопающему. Я, признаюсь, запутался в своем размышлении, в чем именно, не понял, но явно в этих предупреждающих надписях сокрыта человеческая сущность, сакральная ложь. Не допив пиво, отправился на Миллионную, день был испорчен мыслями о бытие.

### День восемнадцатый

Сегодня ни с того ни с сего решил окинуть президентским взором карту мира. Разложил ее в гостиной (восемь на четыре, площадь позволяет) и стал изучать раскинутый у моих ног мир. Помню, в детстве я с отцом играл в одну забавную игру: дома была маленькая брошюра с картами государств, папа обводил контур страны фломастером и спрашивал меня: «На что похоже?» И я, напрягая воображение, с радостью находил сходство. Россия, тогда еще СССР, была похожа на скачущего коня, перепрыгивающего с запада на восток, волоча за собой огромную мошонку. Индия была женщина, завернутая в сари. Италия — галантный сапог, а рядом плавал мяч (о. Сардиния), ждущий удара ногой. Югославия — взбирающийся к вершине верблюд. Китай — петух, но без клюва, клюв оттяпала Корея, Северная и Южная. В Африке, помню, самым выразительным государством был Чад с генеральской головой. Скандинавия (почему-то папа не отделял Швецию от Норвегии) была затаившимся перед прыжком тигром, алчущим проглотить добычу (Данию). Великобритания — гусеница в короне; Япония — морской конек, удирающий от скачущего коня. Центральная Европа — сплошные кляксы. США со своим множеством разноцветных штатов напоминали расфуфыренного павлина. И вот изучив карту мира сегодня, я понял, что, в общем-то, за десятки лет мало что изменилось в контурах государств. Все те же женщина в сари, сапог с мячом, надутый павлин, гусеница в короне, кляксы. Исчез, правда, верблюд, отрезана мошонка у коня — жизнь меняется, меняются-исчезают контуры государств, но что бы ни происходило в мире, в памяти навсегда останутся контурные линии, нарисованные папиным фломастером.

### День девятнадцатый

Охреть!!! Простите столь непристойное слово, которое мало кто использует в своем лексиконе, но оно самое приличное из всех, переполняющих мой речевой аппарат. Я откладываюсь в это верить, потому что этого не может быть. Сегодня получил сообщение от (кого бы вы думали, в жизни не угадаете) самого Дмитрия Анатольевича, который реальный премьер, не из моего воображения. Он пишет: «Здравствуйте, Владимир. Имел честь познакомиться с Вашим „Дневником воображаемого президента“. В нем много занятного, но мало внятного для руководства страны. В Вашем государстве все появляется, словно манна небесная. Конечно, в своем воображении Вы можете вести себя как угодно, но, бога ради, не уподобляйтесь несчастным, которые убеждены, что государством может управлять кухарка. Зная, что Вы в прошлом были коком, уверен, что сии мысли („Домохозяйку — в президенты“) Вас не вводят в заблуждение. Как человек читающий и любящий Пушкина, несмотря на утверждения некоторых моих коллег по кабинету, что Александр Сергеевич устарел, Вы, сами того не ведая, еще раз подтвердили мое убеждение, что „Пушкин, как всегда, он где-то рядом“. Я догадался, откуда у Вас появилась идея о „дневнике“ — из его „Воображаемого разговора с Александром I“. А ознакомившись с утопическими произведениями Кампанеллы и Мора, Вы решили погрузиться в философские рассуждения: что нужно сделать для того, чтобы было всем хорошо. Но мы прекрасно знаем, что лучшее — враг хорошего, и к тому же всем хорошо быть не может: существуют вселенские законы равновесия, которые при всем человеческом желании и могуществе нарушить невозможно; да и не тянете Вы на трибуна, возвещающего философские сентенции. Владимир, займитесь лучше более близким, знакомым Вам делом, Вы же актер (вроде как), вот

и играйте свои роли, но прошу Вас, умоляю как человека: не пишите всякую ахи-нею. Надеюсь, мы поняли друг друга».

Я в замешательстве, не могу собраться с мыслями, хотя одна, самая яростная, эгоистичная, гордая мысль пробивает себе дорогу через хаос недопонятого, невзвешенного сознания: мне нужен премьер-министр.

### **День двадцатый**

Весь день провел в думках: где найти премьера, чтобы был умный, здоровый, честный, открытый, сердечный, благородный, без вредных привычек, красивый и чтобы был женщиной. Когда рядом с тобой красивая, умная, здоровая женщина — все лучше, чем с теми же достоинствами мужчина, но сомневаюсь, что такую женщину можно найти. Боюсь, что такая женщина, если и найдется, точно мне мозг вынесет, так просто, из женского принципа. Поэтому отложим женскую кандидатуру до лучших времен и будем думать о... А что если переманить реального премьера в свой мир: а что, у меня не хуже, зарплата, может, и поменьше, но жизнь на всем готовеньком, а если захочет, я его президентом сделаю. Решено, сейчас напишу ему, авось не откажется.

### **День двадцать первый**

Авось не прокатил — нет ответа от премьера на предложение перебраться в мой мир и стать первым после меня. Что ж, буду без премьер-министра. А что, двадцать один день как-то руководил государством, справлялся, чего я вдруг захотел первого министра? Обойдусь, возьму ответственность на себя: мое государство, мой народ, и ответственность за все тоже моя. А вообще, мне надо расширять политический кругозор, а не заниматься поиском новых друзей, надо посмотреть, послушать, узнать, что делается в соседних государствах, как они там живут, чем дышат, что едят, с кем спят. Сегодня посмотрю информационную программу с Дмитрием Киселевым, который всю матку-правду выложит про то, что делается там, и про то, что делается у нас. Что ж, посмотрим, посмотрим.

### **День двадцать второй (судный день)**

Молодец Дима, удивил, ничего не скажешь. Во-первых, холеностью; во-вторых, вкрадчивым толкованием, что такое хорошо и что такое плохо. Политик Эрдоган — это плохо; канцлер Меркель — это тоже плохо, что бы она ни делала, что бы она ни говорила; Путин — всегда хорошо; президент Олланд — тоже, в общем, плохо; депутат Савченко — очень плохо; небо Крыма — хорошо, а Ходорковский — очень, очень плохо; Клинтон—Трампа — совсем уж плохо, а мультфильмы — хорошо, ну, это не ново; стритрейсеры — безумно плохо; и, в завершение, Республика Тыва — это очень хорошо. Да, конечно, указать, где что лежит и как это использовать, имеет право любая говорящая голова с экрана, и субъективных претензий быть не должно, тем более к тому, кто все равно тебя не слышит. Нет, «Вести» — это не картина мира, это плоский экран, с плоской информацией, и каждый должен сам для себя решить, оставлять ли ему взгляд на жизнь упрощенным или попытаться выплюнуть безвкусную жевательную резинку. С каждым днем я понимаю,

что воображаемая игра в президента заставляет меня задумываться не о народе, не о благах для себя и своих родных и близких, а о себе самом, как человеке, который здесь и сейчас, один на один с самим собой, со всем миром, со всей вселенной.

## ВЗГЛЯД ИДИОТА

### Взгляд первый. Взгляд идиота

Дня три назад посмотрел маленький фрагмент, всего три минутки, одного российского сериала, поэтому не имею права говорить обо всем телевизионном проекте, ведь по пальцу нельзя судить о человеке, можно многое о нем узнать по пальцу, но не более. Поэтому о фрагменте. За эти три минуты я увидел сцену в трактире. Время повествования — десятилетия прошлого века, в общем, до революции. Сидят посетители, пьют, едят, разговаривают; вокруг них кружит половой (так в старину называли трактирного слугу, вроде нашего официанта), зализанный, угодливый, услужливый, скользкий, противный, сразу понятно — сволочь. То есть по одному пальцу я узнал о человеке все. И вот специально зашел в кабак, не бухать, а выпить чашечку кофе и понаблюдать за официантами. Сажу, пью кофе, наблюдаю: нормальные ребята, мальчишки и девчонки, понятно, кто-то из них порядочная сволочь, но ни у кого на лбу это не написано. Вы скажете: «Другие времена, другие нравы и люди». А я вам отвечу: «Чушь!» Да, меняется мода, деньги, политический строй, но люди остаются людьми со своими неизменными заботами и проблемами. Если, допустим, человека лишить забот и проблем, вот тогда, может быть, что-то изменится в душе человечества, тогда, я думаю, и Бог не нужен будет. Лет пять назад я оказался на студенческом спектакле «Идиот». Милые студенты играли милое произведение «мило». Главный герой романа князь Мышкин после недельного путешествия в поезде из Швейцарии в Россию, сразу с поезда, отправляется в дом генерала Епанчина. Уверен, многие из вас пользовались услугами РЖД и, может быть, даже отправлялись в дальние поездки, после которых были вымученными, грязными и вонючими. Вот и князь, грязный, вонючий, в коротких брючках, тонком пальтишке (а на улице не май), — в доме у генерала, дальнего родственника, через третье колено. Мышкина принимают, генерал находит князя занятным и в чем-то полезным. Епанчин приглашает Льва Николаевича — это имя-отчество князя — к столу, за которым Мышкин знакомится с тремя дочерьми генерала. И вот тут начинается милое студенческое «мило». Маленькая справка о генерале: «Генерал Епанчин жил в собственном своем доме, несколько в стороне от Литейной, к Спасу Преображения. Кроме этого (превосходного) дома, пять шестых которого отдавались в наем, генерал Епанчин имел еще огромный дом на Садовой, приносящий тоже чрезвычайный доход. Кроме этих двух домов, у него было под самым Петербургом весьма выгодное и значительное поместье; была еще в Петербургском уезде какая-то фабрика. В старину генерал Епанчин, как всем известно было, участвовал в откупках. Ныне он участвовал и имел весьма значительный голос в некоторых солидных акционерных компаниях. Слыл он человеком с большими деньгами, с большими занятиями и с большими связями». А теперь перенеситесь в наше время. Узнаете сегодняшнего бизнесмена, бывшего генерала? А его дочерей можете представить? Три сестры. Молодые, красивые, у каждой машина, явно не «лада», окончили МГИМО, возможно, втихую сидят на «коксе». И вот к ним зава-

ливається родственик, грязный, вонючий, ничтожный, — первая реакция? Наверняка не умиление. Теперь вернемся в дом Епанчина и представим, что должно было происходить: в процессе общения и некоторого отворачивания к гостю девицы понимают (не дуры ведь), что унижаются сами, пытаются ерничать над гостем, и чем больше они пытаются выказывать себя, свой ум, свою проницательность, свою красоту, тем ничтожнее они выглядят на фоне князя, его простого понимания жизни, чувств, правды, — ведь все простое от Бога. А в студенческом спектакле почему-то здоровые, красивые, богатые, избалованные, вздорные сестры сразу сближаются с «идиотом», чуть ли не целоваться лезут. Вы скажете: «Тогда другие были девушки, другое воспитание». А я отвечу: «Чушь!» Не надо судить людей по пальцу и придумывать, что раньше жили другие люди, лучше нас, а в будущем будут жить еще лучше! Во все времена мы будем оставаться людьми, со всеми вытекающими из этого последствиями. Так что не надо. Да, и еще. В свое время Федор Михайлович Достоевский записал в дневнике о духовном состоянии общества: «Все немного пьяны». И вот прошло более ста лет, а общество так и не протрезвело, вот такой вот взгляд идиота.

### **Взгляд второй. Вчера**

Я очень хорошо помню завтрашний день, во всех подробностях: как я проснулся, сварил в турке кофе, который сбежал, потому что я смотрел в окно и наблюдал за красной машиной, выезжающей из двора; не могу вспомнить, что привлекло меня в этом обычном утреннем действии автомобиля, ах да, цвет, красный на сером фоне, кровь на асфальте, картина Гелия Коржева «Поднимающий знамя»; стал вспоминать, в каком музее она выставлена, кажется, в Русском, — и тут сбежал кофе, но остатков хватило, чтобы взбодриться и проснуться окончательно. Помню, как, уходя, закрывал входную дверь: ключ меня не слушался и не хотел проворачиваться в замке, в конце концов ключ поддался моему натиску, и замок закрыл дверь до вечера. Улица. Остановка. Теплый декабрьский ветер. Ранняя весна. Троллейбус. Я сел в конце салона и дождался кондуктора, я надеялся на счастливый билетик, и я его купил, решил сразу не есть, оставить на вечер, съем счастье, запивая чаем. Финляндский вокзал. Справа — фонтаны, скрывающие Ленина, слева — здание, скрывающее паровоз Ленина; я остановился, да, остановился посреди дороги, но светофор позволял мне задержаться на трамвайных путях; я подумал, что это: почему за сегодняшний день уже третий раз нездоровая красная тема, лучше сменить: чтобы не думать о красном, нужно представить другой цвет, но все всплывающие в воображении цвета тоже подпортили свою репутацию в радужном спектре; на светофоре зажегся желтый свет: бежать, я побежал к тротуару. Через две минуты (успел сосчитать до ста двадцати, чтобы не думать о красном) я покупал билет на электричку, а еще через триста шестьдесят восемь счетов сидел в четвертом вагоне, у окна по центру. Я расстегнул рюкзак и достал чтиво: Карлос Кастанеда «Искусство сновидения». Я хорошо помню завтрашний день, во всех подробностях, но совсем не представляю, что будет вчера.

### **Взгляд третий. Рисунок**

Будто натирая на терке морковь, долго штрихуется синим карандашом небо, затем, на другой половине листка, так же натираем зеленым — траву; верх и низ



рисунка есть, между ними белая полоса, на которой можно нарисовать все что душе угодно: родителей, дом, дерево, друзей, машину, школу, самолет, танк — выбор велик; все, что пожелаешь, ты можешь нарисовать на волшебной белой полосе, черной полосы не будет. Полоса большая, и на ней может поместиться целый мир, твой мир, в любых цветах. Что же ты? Вот цветные карандаши. Черной полосы не будет. Это твой рисунок.

### **Взгляд четвертый. Подвиг**

Давно я так рано не просыпался, видимо, это из-за грустного, пасмурного неба, которое наконец-то прояснилось, и июльское солнце заглянуло ко мне в окно. Из-за раннего пробуждения захотелось что-то сделать, что-то грандиозное. «А не совершить ли мне подвиг». В квартире нет места подвигу, и я ринулся на улицу. Редкие прохожие, щебечущие птицы, застывшие машины, как говорится, тишь да гладь, Божья благодать. Кому нужен мой подвиг? «Ну и ладно», — подумал я и встал на голову. Да, да, так всегда бывает: если не совершаешь подвиг, то совершаешь глупость. И вот стою я на голове и понимаю страшную вещь: все, ну правда, все — и одинокие прохожие, и щебечущие птицы, и застывшие машины — все они хотят оторваться от земли и больше никогда не возвращаться на нее. Вверх ногами это ясно видно. Но земля, как маленький ребенок, ухватившийся за свои игрушки, грозно оберегает их. «Мое. Никому не дам». Может быть, когда земля повзрослеет, она даст нас кому-нибудь еще поиграть, тем самым совершив свой подвиг.

### **Взгляд пятый. Культура**

Уступил место в транспорте; высморкался на улице в бумажный платок, урн нет — сложил сопливую салфетку, спрятал в карман, дома выброшу в мусорное ведро; попросили огоньку — дал прикурить; машин нет, горит красный свет, жду зеленый; захожу в магазин, здороваюсь с продавщицей, покупаю две бутылки водки, благодарю; захожу в подъезд, желаю доброго дня соседу по квартире, открываю дверь — я дома; выкидываю использованный бумажный платок в унитаз, спускаю за собой, мою руки с мылом, вытираю махровым полотенцем каждый пальчик на руке; откручиваю крышку у первой бутылки водки, включаю телевизор, канал «Культура».

### **Взгляд шестой. Ноябрь**

Настоящий месяц осени, когда не хочется просыпаться, потому что снятся красочные сны, а если уж проснулся, то вставать из разгоряченной снами постели лень, а если уж встал, то первым делом включить чайник или заварить в турке кофе, но только не смотреть в окно, не разочаровывать себя панорамой настоящей питерской осени; сесть на диван или в кресло, можно на стул или табуретку, но обязательно сесть, пить горячий чай или кофе с привкусом уюта. На улицу? Нет, не сейчас: выйти на улицу — это как встать с постели, но этот шаг еще сложнее, он грозит разрушить последние ощущения комфорта, но... надо, хотя именно осенью это «надо» хочется забыть и не вспоминать его если не до весны, то, по крайней мере, до мороза и солнца, когда день чудесный. И вот ты на улице, никуда не денешься — серое

небо, серые дома, серые деревья, серая дорога, серые машины, люди тоже серые, идущая навстречу девушка улыбнулась, нет, не мне, конечно, а моей серости: она никогда не видела такого серого человека, как я, а я от ее улыбки покраснел, стало стыдно, что я такой серый. Но если я покраснел, то уже не серый, и все вокруг покраснело со стыда и тоже перестало быть серым. Стыдно быть серым, даже когда настоящая осень, когда ноябрь.

### **Взгляд седьмой. Герой**

Принято считать, что герои — это Личности с большой буквы: всегда впереди, всегда на белом коне и всегда грудь в орденах. Не знаю, наверное, это так, но вчера я видел геройский поступок, конечно, в моем понимании. На улице проходящий мимо юноша бросил окурок в урну, но промахнулся: на ходу нелегко попасть в мусорную корзину; так юноша вернулся к окурку, подобрал его и, чтобы во второй раз не промазать, аккуратно опустил его в урну, а вокруг было много людей, и никто не заметил ни мимо летящий окурок, ни последовавших действий юноши. И вроде не на белом коне, а в белых кроссовках, и грудь не в орденах, а по-юношески впалая; я бы не решился на такой поступок, а он, по-моему, герой.

### **Взгляд восьмой. Солнце**

На улице пасмурно, но у меня есть ножницы и желтый картон; вырежу солнце и повешу его — меня не запугать непогодой. Вырезал солнце, теперь надо понять, куда бы его повесить. На оконное стекло — клей канцелярский китайский, не держит; прибить к стене — гвозди столярные китайские, гнутся. Пошел в магазин, купил мольберт, мольберт оказался китайским: устойчивости никакой, ножки не по-детски раздвигаются... Незаметно прошел пасмурный день — в поисках, куда бы пристроить солнце.

### **Взгляд девятый. Приключение**

О приключение! Как ты прекрасно и загадочно, ты рождаешься из ничего и зачастую умираешь в пустоте. Ты — возбуждающее ощущение, когда мурашки по коже и когда голова не дружит с сердцем, у тебя нет преград и очень много соратников: глупость, удача, отчаянность, отвага, напористость, бескомпромиссность, бескорытность; не меньше у тебя и врагов: глупость, невезение, надежда, трусость, лень, компромисс, зависть. Ты преследуешь нас на протяжении всей жизни, в любом возрасте, и дело не в том, готовы ли мы прыгнуть с парашютом или пойти в булочную за хлебом: и в первом и во втором случае важна готовность к безрассудности, которая нас губит или делает нас героями; ты словно путешествие на необитаемый остров, где нас ждет безвестность, на которую, быть может, не каждый из нас может решиться. Приключение, ты — вызов судьбе, и в этом твоя сила и отличие от путешествия, которое более прагматично и более комфортно. Если путешествие — это осанна народу, то хвала личности — это ты, приключение!

### **Взгляд десятый. Фонарь**

Улица пустынна, ночь, в аптеку мне не надо — нет нужды; прохожу мимо всего, что в эту ночь не греет; метро закрыто; есть ключ от домофона, но он под-

ходит только к моей двери в парадную, для москвичей, чтобы им было понятно — в подъезд, но какое мне дело до москвичей, я в Питере, и меня окутала ночь, пронзительно-родная, зимняя дождливая ночь. Впереди группа мальчишек, хотя, конечно, им кажется, что они уже мужчины, они пытаются всем своим видом доказать причастность к мужскому полу, мне все равно, спрашивают, который час, смотрю на часы, три ночи, через час будет утро, говорю ребятам об утре — смеются; не понимают, что утро — это лучше, чем ночь, а я это понимаю, и поэтому, когда они убегают, я пытаюсь подняться, хватаясь за столб, а когда я все-таки встаю на ноги, я вижу вверху свет фонаря — ты мое солнце, а утром, заглядывая в зеркало, понимаю, что мне не светит мой фонарь.

### **Взгляд одиннадцатый. Снег**

Создавалось ощущение, что щека, соприкасаясь с белым покровом, отмерла, но это было не так, мертвым было все тело. Кровь больше не циркулировала по замкнутой системе сосудов, так как сердце утратило ритм сокращений, и только мозг еще продолжал действовать, вырисовывая на внутреннем экране видения — яркие картины детства: большая зеленая елка, круглые серебряные шары, золотой дождь, мама, Дед Мороз с большим красным носом, юная Снегурочка с красивой жемчужной улыбкой и девочка в синем платье, как же ее зовут, хочется к ней подойти и спросить, но ноги не слушаются: мое сердце утратило ритм сокращений, и мозг мой об этом знает, но не выдает страшную тайну — о том, что меня больше нет; он боится меня напугать (нельзя умирать в страхе), а потому вырисовывает картины на внутреннем экране до тех пор, пока я не обретаю покой, и только тогда я вижу белый покров — я превращаюсь в снег.

### **Взгляд двенадцатый. Розы**

Белые хлопья снега, соприкасаясь с серым асфальтом, моментально тают. Серое небо, серый асфальт, а между ними пелена белых хлопьев. Город превратился в черно-белое кино, а его обитатели — в массовку: фильм снимается одним дублем. Вот вдалеке идет главный герой, на уровне груди у него красное пятно, он очень далеко, поэтому сложно понять, что на черно-белом фоне так ярко выделяется — кровь? Нет, с его приближением кровь обретает форму цветов: розы. Большой яркий букет в черно-белом кино шокирует массовку — многие останавливаются, кто-то провожает жадным взглядом злости, зависти, радости, любви; главный герой невозмутим, он знает, что не вписывается в формат сегодняшнего кино, хотя и одет, как положено — в черные одежды с белым шарфом, но красные розы — задумка Режиссера? — только не сегодня, фильм снимается одним дублем. Поздно, фильм снят, завтра будет другой съемочный день, другая массовка, другой главный герой — таких фильмов снимается множество, каждый день, и все они разные, но сегодняшний съемочный день запомнят потому, что сегодня в черно-белом кино у главного героя яркая кровь превратилась в красные розы.

### **Взгляд тринадцатый. Роль**

Психологи уже давно нашли объяснение словам Шекспира, что «весь мир — театр, в нем женщины, мужчины — все актеры». Да, «мы все лицедействуем», как сказал, задолго до англичанина, римский писатель Петроний. Мы играем с самого раннего детства: девочки — с куклами, примеряя на себя роль матери, мальчики —

с солдатиками, представляя себя генералами. Когда мы вырастем, наши роли станут более социальными, более практическими: «дочь», «друг», «хулиган», «пай-мальчик», «ябеда» и т. д. и т. п. Затем роли делаются все серьезнее, все ответственнее: «возлюбленный», «влюбленная», «муж», «жена», «подчиненный», «начальник», «праведник», «оппозиционер» и т. д. и т. п. Роль так много, что все не перечить. И отыграв какую-то жизненную «сцену», оказавшись наедине с собой, «в примерке», мы чувствуем душевное опустошение, вероятно, потому, что очень плохо сыграли выбранную роль или, скорей всего, играли чужую.

### **Взгляд четырнадцатый. Лето**

Смотрел вслед уходящему лету. Дорогому, жаркому, любимому, светлому, комариному, яблочному, печальному, радостному, душному, бездушному. Лето, мы с тобой никогда больше не увидимся, ведь через год ты будешь другим летом, и я буду другим. Ты уходишь, оставляешь меня одного наедине с грустной осенью, невнятной зимой и цветущей весной, я постараюсь пережить эти мучительные месяцы и дожждаться солнечного летнего утра. А сейчас просто оглянись, посмотри на меня, скажи «прощай», а лучше «до свидания», мне все равно, только обернись, прошу тебя! Ну вот и ладно. Я загадал: если обернешься, у нас еще будет бабье лето.

### **Взгляд пятнадцатый. Надежда**

Самое лучшее, что нас ждет, — это надежда на лучшее. Завтрашний день может быть намного интереснее сегодняшнего, а вчерашний, вероятно, был насыщеннее сегодняшнего. Я знаю, сегодня уже не произойдет ничего из того, что я наметил вчера, может быть, завтра. Помню, в детстве я таскал из бабушкиного шкафа конфеты, которые лежали в грубом целлофановом пакете, их было так много, что я был уверен: если съесть по одной конфете в день, то они никогда не закончатся. Но, увы, настал день, когда я съедал последнюю конфету и сладкая жизнь заканчивалась. Как это похоже на жизнь: дни, словно сладкие конфеты, съедаются и в конце концов заканчиваются, оставляя обертки прожитых будней, оставляя нас наедине с тем, что умирает последним, а это, как известно, — надежда.

### **Взгляд шестнадцатый. Новости**

Начал читать Гоголя и заснул, проснулся, подумал: что это я; стал читать Толстого и снова заснул, проснулся: да что это со мной такое; взялся за Достоевского, да, да, опять заснул и опять проснулся: может, съел что-нибудь не то, и не пил вроде; включил телевизор, стал смотреть новости и тогда окончательно проснулся. При снятся же такие новости.

### **Взгляд семнадцатый. Обман**

В репертуаре Владимира Кузьмина есть песня «Спортлото». Всю свою сознательную жизнь, слушая эту песню, я слышал в припеве слова: «Снова я рисую, я играю в спортлото», и только вчера расслышал, что в припеве не «рисую», а «рискую», вроде бы, подумаешь, одну букву не расслышал, но из-за этой буквы пропала поэтичность этой, как мне казалось, своеобразной песни. Одно дело, когда ты рисуешь не только крестики, но и еще что-то себе фантазируешь, вырисовываешь: что будет, если выиграешь в лотерею, какая начнется замечательная жизнь,

как все вокруг изменится, и ты сам изменишься (что, конечно же, самообман: деньги, как и власть, не меняют человека, а лишь ярче проявляют его сущность); и другое дело, когда ты рискуешь, как обычно, в общем-то, банально, как всегда. И быть может, я так же не могу «расслышать» человека, облекая его в те черты, которых у него нет, и с которым я общаюсь так, как себе его представляю, а он мне отвечает тем же — общается со своим надуманным мною. Сложно «расслышать» человека, когда ты слышишь его ошибочно, не задумываясь о своей глухоте, а когда приходит осознание того, что он не тот, каким он тебе казался, ты уличаешь его во лжи, в которой он не виновен, и он в ответ обвиняет тебя в том же. В поисках настоящего в других мы порой забываем о своей подлинной сущности, а значит, сами порождаем то, что называется обман.

### **Взгляд восемнадцатый. Свидание**

Созвонились. Договорились. Глажу брюки, рубашка на очереди, утюг старый, доморощенный, еще советский, успел отгладить штанину, на второй утюг сдох, мятая рубашка, что с ней делать, ладно, надел куртку на голое тело. Ну встретились, гуляем (театр, кино, ресторан отпадают), катаемся в метро, рассказываю о ветках подземки, о старых и новых станциях, в честь кого и чего названы, заболтался — стало жарко, забыл про рубашку, которой нет, расстегнул куртку, она подумала, что я извращенец, стал оправдываться, рассказал про смерть советского утюга, не верит, спрашивает, что такое советский, я объясняю, еще больше не верит, фыркнула и вышла из вагона, а я остался и поехал домой, решив больше юных девиц не приглашать на свидание.

### **Взгляд девятнадцатый. Настроение**

Очень легко, непринужденно можно передать свое плохое настроение окружающим тебя незнакомым людям. Вот идешь, допустим, по улице, настроение такое скверное, что хочется с кем-нибудь поделиться. Навстречу идет неважно кто — прохожий, ты скажешь про себя, не вслух что-нибудь такое, и настроение передалось: если идет старушка или старичок, то про себя говоришь: «Да, пора помирать», — настроение передано; если идет девушка-женщина, то произносишь фразу о легкости поведения в нецензурной форме, и вроде бы ни о ком, но тебя услышали, подхватили твое настроение. С мужчинами проще: достаточно просто взглянуть в глаза незнакомца, поймать его взгляд и про себя (вслух опасно) произнести презрительно: «Гнида» — сработало. В переполненном транспорте тоже хорошо передавать свое плохое настроение: когда начинаешь исподтишка подталкивать пассажира, давая ему понять, что тебе надо выходить, но сам не выходишь, стоишь на месте, пассажир повернется, посмотрит на тебя, удивится, начнет думать и незаметно для себя менять свое настроение. С хорошим настроением все намного сложнее — вот его передать, поделиться им с незнакомыми людьми почти невозможно. Начнешь петь что-нибудь веселое, современное, ходовое, а прохожие только морщатся; скажешь доброе слово встречному — он прибавляет шаг, опасаясь, что после комплимента ты предложишь ему Библию; начнешь улыбаться пассажирам в транспорте — все шарахаются, как от больного, даже от помощи отказываются: место уступил — надменно не садятся; подаешь руку на выходе из салона — осуждающе игнорируют. Да, тяжело поделиться хорошим настроением с окружающими незнакомыми людьми. Хорошо, что есть близкие и друзья, которым можно его подарить.

### **Взгляд двадцатый. Скидка**

Когда в стране все стабильно, то никакие скидки ни на что не нужны: в самом деле, зачем? Допустим, нужен человеку автомобиль с многоцилиндровым двигателем — пожалуйста, вот ваш «кадиллак», и никаких скидок. А другому импонирует самокат, и ему без скидок средство передвижения. Но это когда в стране все хорошо. А если нет, то скидки необходимы: скидка на совесть, скидка на верность, скидка на любовь. Трудно быть честным на все сто процентов, когда в стране доллар дорожает; поэтому пятьдесят процентов честности вычитаем, чтобы прокормить семью. Невозможно быть верным своему делу на сто процентов: как можно, если завтра твое дело сгорит или утонет, — надо своему делу отдавать сорок процентов, а шестьдесят бросить на поиски нового занятия, которое вскорости понадобится. С любовью вообще запутаться можно — кому сколько процентов выделять: конечно, сто процентов любви должны принадлежать любимому, дорогому, быть может, верному, хотя бы на семьдесят процентов, — но он... безработный и уже целый год не может найти работу, и процентность любви как-то незаметно снижается и разбазаривается: туда пять, сюда десять, а вчера аж двадцать процентов оставила в гостях. Ну куда это годится, когда в стране нестабильность и не все хорошо, а ведь так хочется, чтобы жизнь не знала, что такое скидка.

### **Взгляд двадцать первый. Стремянка**

Есть множество способов быть выше других: за счет положения в обществе, достижений в спорте, в искусстве, за счет крупных счетов в банке. Из всего перечисленного я не могу похвастаться ничем. В каком-то смысле я ноль без палочки, но я нашел для себя оптимальный способ возвыситься над другими (всегда можно найти возможность быть выше других): купил стремянку, обычную рабочую стремянку. Раздвинул, залез — и ты на вершине; наслаждался величием — сложил и пошел дальше. Удобно, практично, оптимально. Тяжеловатое, конечно, приспособление для величия, неудобно всегда с собой таскать, но вот сегодня купил китайскую стремянку — очень легкая, очень высокая, очень хорошая.

### **Взгляд двадцать второй. Вовремя**

Не понимаю, почему? Почему всё, буквально всё не вовремя? Счет за квартиру приходит тогда, когда денег уже нет; отключают горячую воду именно тогда, когда тебе срочно нужно принять душ; встречаешь и влюбляешься в единственную и неповторимую женщину твоей жизни — когда ты уже женат и у тебя трое детей; увольняют с работы, когда кредиты душат со всех сторон, — всё не вовремя. Доллар подпрыгивает не вовремя, зима приходит не вовремя, жизнь проходит не вовремя. «Счастливые часов не наблюдают» — ха! счастья нет и не будет, пока все происходит не вовремя. Не понимаю, кто устраивает эти временные ловушки? Бог? Не думаю: делать Ему больше нечего, да и в Его понятиях времени нет, время придумали люди. А что это значит? Да-да, именно во всем виноваты мы, люди, мы сами! А раз так, друзья, давайте как-нибудь организуемся, что ли, чтобы все у нас было вовремя: дети рождались вовремя, зарплату повышали вовремя, влюблялись вовремя, уступали дорогу вовремя, ругались, мирились, все вовремя — всему свое время, и тогда наверняка мы будем счастливы, потому что все будет вовремя.

Петр МУРАТОВ

# СКАЗ ПРО РАЗВИТОЙ СОЦИАЛИЗМ

Воспоминания о незабываемом периоде  
истории нашей страны

*Светлой памяти дорогого Леонида Ильича посвящаю...*

Самое интересное, что дается человеку — это жизнь. Единственная и неповторимая. Не бывает неинтересных жизней, нужно лишь уметь интересно про них рассказать. «Времена не выбирают, в них живут и умирают...» Поэтому описать свою жизнь — значит описать свое время.

Пишу как представитель поколения, чья юность и молодость пришлось на 70—80-е годы минувшего века. Этот «Сказ» — повествование о временах «развитого социализма» — кульминации существования уникальной страны под названием Советский Союз, эпохи грандиозной фантастической исторической абстракции — «строительства коммунизма под руководством КПСС». Неповторимые времена, отпечатавшиеся в моей памяти стойким ощущением целостности и противоречивости одновременно. Чувствую горячее желание не просто изложить факты, но и немного порассуждать.

Реалии той поры я попытался отразить на фоне колоритных декораций своей малой Родины — славных города Казани и Татарстана. Горбачевскую перестройку встречал уже в Сибири. Я не старался ни очернить, ни приукрасить — вот так все и было.

\* \* \*

Казань, Казань... Казань 70—80-х. Разлитая в воздухе патриархальная провинциальность, приправленная легким восточным колоритом. Смешение архитектурных стилей и укладов жизни, контраст импозантности дворянских, купеческих кварталов города и захолустья трущоб слобод и околотков, зачастую близко соседствовавших друг с другом в самом центре города. Ширь волжского разлива и простор акватории казанского речного порта со снующими туда-сюда «ракетами», «омиками» и «мошками», пахнущими соляной. Отдающая сероводородом жаркими лет-

---

Муратов Петр Юрьевич родился в 1962 году в Казани, выпускник биофака Казанского университета. Кандидат биологических наук. Ныне предприниматель. Публиковался в литературных журналах «Аргмак. Татарстан» и «Сибирские огни» (Новосибирск). В июльском номере 2015 года «Невы» были опубликованы воспоминания о войне («Исповедь советского человека») Муратовой (Калиничевой) Людмилы Петровны в обработке П. Ю. Муратова. Живет в наукограде Кольцово Новосибирской области.

ними деньками водяная гладь озера Нижний Кабан и захламленный, поросший камышом узкий Булак — бывшая протока от озера к Волге.

Старушки татарочки в длинных белых платках, серьезные белобородые бабаи в тюбетейках с палочками, в мягких сафьяновых сапожках и русские бабули в традиционных цветастых платочках. Угрюмые гопники в голубых олимпийках, заправленных в широкие, на 2—3 размера больше, штаны, и мятые мужички в домашних трико, увлеченно «забывающие козла» в домино за столом под деревьями — обязательном атрибуте любого казанского двора. Городская публика той поры вспоминается мне немного деревенской: сходить до ближайшего магазина в домашних тапочках и даже в майке, почистить рыбу или разрубить мясо около подъезда дома было в порядке вещей. А около никогда не запираемых дверей подъездов красовались таблички с поквартирным списком жильцов.

Отовсюду льются колоритная, немного гортанная татарская речь и особая русская, со своеобразным, нигде больше мною не встречавшимся казанским акцентом. Однообразные и заунывные дворовые песни укрывшихся в затемненных местах группок молодняка под звуки гитары — уметь держать в руках шестиструнную деревяшку, зная всего три аккорда, было тогда очень почетно.

А культ хоккея и футбола! Пацаны каждого двора заливали зимой свою площадку со снежными, как правило, бортами, а уж деревянная коробка была особым шиком. Как самозабвенно болели за завсегдатаев вторых лиг — за футбольный «Рубин», ныне экс-чемпион России, и за хоккейный, как тогда говорили, «Скаурицкий», ныне «Ак Барс», и тоже экс-чемпион России. Вот только татар в тех командах, в отличие от нынешних, было по половине состава, поскольку это были по-настоящему городские команды, даже один мой одноклассник дорос до вратаря «Рубина».

Представляю, как естественно и органично несло бы над Казанью переплетение переливов колокольного звона и умиротворяющих напевов сур из Корана! Но, к сожалению, колокольни и минареты слились в едином благозвучии, создающем особую, неповторимую ауру родного города только в новые времена, уже после моего отъезда из Казани в Сибирь по распределению после окончания Казанского университета.

Жизнь была непроста. Жили очень скромно и, как правило, от зарплаты до зарплаты. Обстановка жилищ подавляющего числа советских людей была стандартна и довольно убога. Мне возразят: самое необходимое у людей в наличии было! Но вспоминаю, как мои друзья, брат и сестра, оставляли друг другу ключ от квартиры под ковриком перед входной дверью на лестничной клетке подъезда. Бросили, поправили ногой и побежали. Показательно? Квартирных краж совершалось существенно меньше, чем сейчас, хотя войти в любой подъезд можно было совершенно свободно. Конечно, воров-домушники «работали» во все времена, но они, видимо, знали, куда стоит лезть.

Кому сейчас придет в голову хвастаться тем, что поставил домашний телефон? Или купил цветной телевизор или холодильник? Купил да купил. Обыденность. Но тогда их приобретение по «весу» и значимости было сопоставимо, пожалуй, с покупкой автомобиля сегодня. Правда, наличие «Жигулей» — заветной мечты каждого советского человека — сейчас не в счет. Но тогда! Бытовало шутовское замечание: «Чего не здороваешься, машину, что ли, купил?» А популярное выражение «Автомобиль — не роскошь, а средство передвижения» воспринималось с улыбкой, философски. Знаете ли, кому как.

Моему отцу удалось удачно поработать в Ираке, «в загранке», как тогда выражались: он был классным специалистом по авиационному радиооборудованию. Тогда,



в 1977-м, там только что пришел к власти молодой амбициозный Саддам Хусейн, и страна была на подъеме (мои родители чуть не плакали, когда в 2006 году по телевизору показывали казнь бедного иракского лидера). Главным итогом заграничных мандировки стала новенькая «Волга» ГАЗ-24, купленная по льготной очереди для специалистов, поработавших за рубежом: иракцы оплачивали труд наших спецов в фунтах стерлингов.

И вот в самом конце 1978 года отец пригнал «волжаночку» из Москвы. У-у-у! Это было событие, точнее, Событие! Событие сродни нынешнему приобретению, наверное, только «бентли» или «майбаха». «Роскошь»! Опасаясь нездоровой реакции соседей, мы долгое время вообще не решались подъезжать на «Волге» к своему дому. Папа настолько ее любил и берег, что почти не пользовался. Когда через 27 лет он с болью в сердце продавал ту ставшую старенькой «Волгу», в ней еще пахло новым салоном, а спидометр указывал пробег в «целых» 30 тысяч километров (и то почти треть из них накатал я), то есть машина фактически только прошла обкатку.

М-да... Такого отношения к автомобилю сейчас уже не встретишь, каким бы дорогим он ни был — машина наконец-то превратилась в «средство передвижения». Ведь и «бентли», и «майбах» заменить при желании на другое авто сейчас не проблема. Но в те времена понятия «поменять автомобиль» не существовало. «Железный конь», впрочем, как и квартира (а в абсолютном большинстве случаев и жена!), одни и на всю жизнь.

Иметь на руках валюту не разрешалось, купить или продать ее кому-то за рубли запрещалось — на этот случай имелась статья в Уголовном кодексе. Валюту можно было лишь обменять в банке по официально установленному курсу (70 «инвалютных» копеек за один доллар) на чеки Внешпосылторга, которые отоваривались в рублевом эквиваленте в специальных магазинах «Березка» (не путать с валютными магазинами для иностранцев!). Там предлагался различный дефицитный товар, или, с легкой руки Аркадия Райкина, «дифссыт», недоступный за рубли. За них, родимых, их еще кликали «деревянными», «дифссыт» можно было взять только по блату, а «с рук» или «из-под полы» — в два-, а то и втридорога. Казань «Березок» не имела, в Москве же к ним бывало трудно подойти из-за толп грузинов, скупавших чеки по курсу один номинал за два рубля. На барахолке у тех же грузинов, фарцовщиков или цыган тоже можно было купить вожделенный «дифссыт», но с учетом их немалого гешефта. И то держи ухо востро, чтоб не обманули или не всучили неликвид.

В молодежной среде настоящей культовой вещью были фирменные джинсы. Отец купил мне в «Березке» двое джинсов фирм «Милтонс» и «Ранчер». Я страшно ими гордился. Но самой крутой, как тогда выражались, «джинсой» считались «Вранглер», хотя правильно произносить «рэнглер». Они (по сути, тряпка!) стоили на «барахолке» две средние зарплаты советского человека. Вспомнился популярный в те годы слоган: «Кто носит фирму „Адидас“, тому любая баба даст!»

«Дифссыту» неизменно сопутствовала очередь. Вспоминая ее, на ум приходят слова Александра Радищева: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайай!», правда, адресовано это почти 200 лет назад было не очереди. Зато как точно! Что «лайай»? Всегда и везде одно и то же: «Вы здесь не стояли!», «Куда без очереди полез!», «Ну и что ж, что ветеран!» или «Больше одного килограмма (одной пары, двух штук, трех рулонов и так далее) в одни руки не давать!» Воспетое официальной пропагандой «чувство локтя советских людей» не доставляло удовольствия, если ты ощущал чувство этого же самого локтя... в бок. Но вот, как сухой щелчок бича, звучал из уст беспощадного продавца «не подлежащий обжалованию» приговор очере-

ди: «Вон за той женщиной больше не занимать!» И как-то сразу «чудище» обмякло, сдувалось, стихало, чтоб через несколько секунд вновь мобилизоваться с утроенной энергией.

Торгашей одновременно ненавидели и заискивали перед ними, ценили знакомства в торговой среде и радовались, когда кого-то из них сажали. Причем злобно щелкали зубами представители всех дружественных классов бесклассового советского общества: «Сажать бы их через одного!» Работники советской торговли отвечали взаимностью: грубостью и хамством, обсчет и обвес в магазинах был в порядке вещей. Торгаши воспринимались какой-то отдельной привилегированной кастой, конкурсы в торговые институты зашкаливали. Да что там институты! Простая продавщица считала себя выше любого, кто стоял по ту сторону прилавка, который частенько казался мне бруствером фронтального окопа или баррикадой. Вспомнился шуточный куплетик на мотив итальянской песни «Феличита»: «Пересчитай! Нас обманули на десять копеек! Пересчитай! Пересчитай!» — «Ты мне не чета! Я учусь в Институте советской торговли! Ты мне не чета! Мне не чета! Мне не чета!»

Вся нелюбовь и презрение к торгашам воплотились в образе незабвенного персонажа Директора Рынка из рязановской кинокомедии «Гараж», вышедшей на экраны в 1979 году. Помню, моему сыну, уже в новые времена, было лет девять или десять, когда он подсел ко мне — я в очередной раз пересматривал эту комедию. И как-то незаметно для себя сынок попал под обаяние этого нестаряющегося фильма, тем более что некоторые актеры ему были знакомы по другим картинам. И вдруг он задал вопрос по-детски простой и достаточно сложный одновременно: «Папа, а почему директорше рынка нужно непременно построить гараж? Если она такая богатая, почему его попросту не купит?» Мне пришлось потрудиться, чтоб постараться доступно ответить, ведь купить гараж тогда было практически невозможно — сынок, слушая, недоуменно хлопал глазенками, пытаясь понять, как такое могло быть.

Блатной так же считалась работа приемщика бутылок, на эту «хлебную» должность было не попасть. Как ни придешь в пункт приема стеклотары, на двери одно и то же объявление: «Тары нет». Но она мгновенно находилась, если ты предложишь (причем сам!) принять бутылки дешевле, например, «чебурашку» (пол-литровая бутылка из-под пива или минералки) вместо 12 копеек — за 10. Иначе греми с бутылками обратно домой.

«Того-то нет» — как символ времени. «Мест нет» в ресторанах и барах, «мест нет» в гостиницах и санаториях. «Пива нет» в пивных ларьках. Такси не поймать, либо оно непременно «едет в парк». Нужна картошка? — Посади. Фрукты-ягоды? — Вырасти. Гараж? — Построй.

Где-то в середине 70-х годов Казань стала первым городом в Союзе, в котором ввели талоны на нормированный отпуск товара — пока только сливочного масла: «кило» на человека в месяц. Но, как вскоре показало время, лиха беда — начало.

Очень значимую роль в снабжении семей продуктами и «диффсытом» играли регулярные торговые вояжи в Москву. Во многих трудовых коллективах даже существовал неофициальный скользящий график: каждый работник по очереди на выходные мотался в столицу, собрав заказы и деньги сослуживцев, благо ехать одну ночь. И вот на перрон казанского вокзала высыпали толпы встречающих граждан, страждущих своих заказов: под бравурные звуки «Марша Сайдашева» прибывал долгожданный поезд-кормилец «Татарстан», сообщением Москва—Казань.

До сих пор перед глазами маячит незабываемый типаж: уставший, вымотавшийся человек с видом исполненного долга тащит в обеих руках огромные сетчатые авоськи с консервами одного вида, а крест-накрест через все туловище, словно

пулементные ленты революционного петроградского матроса, две вязанки туалетной бумаги. Впрочем, подобный портрет был обычным почти для всех городов РСФСР. Помимо Москвы и Ленинграда, так называемую «первую категорию» снабжения (или «московскую») имели еще закрытые («режимные») и, чтоб привлечь переселенцев, молодые строящиеся города.

Почему-то во всех бывших союзных республиках, в которых мне удалось тогда побывать, изобилие продуктов и товаров было намного богаче. Но, как ни странно, жители братских республик так не считали, все время недовольно гундосили и не раз с пеной у рта доказывали мне, что именно они «кормят Россию» (последствия распада Советского Союза убедительно показали, кто кого кормил).

Но больше всего задевало, что продуктовый дефицит наблюдался именно в Татарстане, где сельское хозяйство всегда было неплохо развито. Народ шепотом объяснял этот феномен так: «Все идет в Москву». Поэтому бытовала еще одна популярная полусушительная фраза: «Из Казани в Москву товарными вагонами, обратно в Казань — пассажирскими».

Не меньшим дефицитом были хорошие книги — кстати, показатель культурного уровня населения. Богатая библиотека являлась предметом особой гордости ее хозяев. А на книги Булгакова, Пастернака, братьев Стругацких, Булычева, Высоцкого (малоформатный «Нерв») смотрели с восхищением, как на драгоценности. Но иногда гость владельца библиотеки, съедавший глазами корешки вожделенных книг, натыкался на шуточный лозунг: «Не шарь по полкам жадным взглядом — здесь книги не даются на дом!» Вспомнились еще два широко распространенных афоризма тех годов: «Книга — источник знаний» и «Книга — лучший подарок».

Чудовищный дефицит книг малопечатаемых, но фантастически популярных авторов еще можно понять. Но вот вопиющую нехватку изданий классических русских и советских поэтов и писателей, тех, что изучали по школьной программе, чтение которых можно было только приветствовать, я понять никак не могу. Зато в книжных магазинах ровными плотными рядами от пола до потолка в любое время года — полные собрания сочинений классиков марксизма-ленинизма, материалы «исторических» партсъездов, сборник статей дорогого Леонида Ильича Брежнева «Ленинским курсом» или его бессмертная трилогия «Малая Земля», «Возрождение». «Целина». Народ, помнится, иронично напевал на мотив все той же «Феличиты»: «Перечитай! „Целину“, „Возрождение“, „Малую Землю“ перечитай! Слева направо, справа налево перечитай! Перечитай! Перечитай!»

Особой популярностью пользовались полные собрания сочинений. Однако многие, подобно коврам на стену, жаждали достать их почти исключительно для убранства жилищ: ровные корешки одинаковых томов, чередующихся по цвету, украшали, как правило, большие зальные комнаты квартир. Но для более эффектной их демонстрации требовалась «стенка». Нетрудно догадаться, что и мебельные стенки тоже числились в дефиците. Впрочем, считалось крутым, когда стена комнаты была сплошь увешана одними заполненными книжными полками, но для этого книг требовалось не просто много, а очень много. Один мой знакомый, одержимый в то время книжным собирательством, как-то жаловался, мол, всю жизнь «рвал анус» с этими книгами, а что теперь? Корешки выцвели, бумага потемнела, шрифт поблек — стоят, только пыль на себя собирают. Думал-думал, вздыхал-вздыхал и однажды матюгнулся да и свез все добро в гараж — выбросить или сдать в утиль рука все ж таки не поднялась...

Но тогда... Помню, в книжном магазине на Сибирском тракте недалеко от пересечения с улицей Арбузова регулярно проводили розыгрыши полных собраний сочинений. Люди приходили с вечера занять место к утреннему открытию ма-

газина только для того, чтоб суметь получить заветный талончик, дающий право на участие в розыгрыше! Можно сегодня себе представить подобное? Простоять всю ночь, чтоб не купить, а всего лишь попытаться это сделать! Мы были в их числе — очередь страждущих книголюбов впечатляла! И поначалу нам фантастически везло: почти три раза подряд наши талончики оказывались среди выигранных. Удалось купить полных Некрасова, Гамзатова и Мамина-Сибиряка. Но потом как отрезало.

\* \* \*

Мое раннее детство прошло в историческом районе Казани Старо-Татарская слобода среди красивых старинных мечетей, из которых только одна, Марджанй, в то время была действующей. Жил на улице Ахтямова, рядом с озером Нижний Кабан. В трехкомнатной коммуналке на трех хозяев на первом этаже мы втроем с родителями занимали маленькую девятиметровую комнатенку. Жилье выделили профком и дирекция завода «Радиоприбор», где папа с мамой работали инженерами. Бабушка называла наше более чем скромное жилище «кладовкой со всеми удобствами», что было вполне обычным явлением той поры. Но, как говорится, «дают — бери». Выбирать жилье в те годы не приходилось.

Через шесть лет мама, имея уже одиннадцатилетний стаж работы на «Радиоприборе», получила возможность расширить жилплощадь, но... всего лишь переехав в другую коммуналку в комнату вдвое большей площади того же дома на Ахтямова. Принятие такого предложения означало бы согласие ожидать очередного улучшения жилищных условий еще неизвестно сколько лет. Мои родители подумали-подумали, отказались от новой комнаты в коммуналке и решили строить кооперативную квартиру.

Квартиры тогда были трех категорий: служебные (проживаешь в ней, пока работаешь в конкретной организации), государственные — таковых было большинство. Эти квартиры давали бесплатно. Государственная квартира ценилась выше: при наличии прописки пользуешься ею бессрочно. Можно разменять ее на другую, но ни продать, ни подарить, ни завещать, ни заложить. Словом, полностью не распорядишься, а слово «приватизация» тогда было народу неизвестно. Получить бесплатно «хату» от государства, не тратя кровно заработанных, несомненно, представлялось намного более предпочтительным. Хорошо, если ты работал на большом мощном предприятии, желательного оборонного комплекса, которое активно строило свое жилье. Но вот работники школ, вневедомственных детских садов, больниц, поликлиник или просто небогатых организаций получали его по горисполкомовским очередям, нередко ожидая своего «отдельного благоустроенного» счастья по 10—15, а то и 20 лет. Прописка по адресу квартиры носила разрешительный характер, в отличие от уведомительной регистрации в наше время.

Кооперативное жилье (его было относительно немного) доставалось гораздо быстрее государственного, поскольку будущие жильцы участвовали в его возведении непосредственно. Так и говорили: государственные квартиры «получали», а кооперативные «строили». Но даже желая вложить собственные средства, попасть в жилищный кооператив было не так-то просто — туда тоже была немаленькая очередь. Однако профком завода «Радиоприбор», получив отказ от переселения в коммунальную комнату, пусть и существенно большей площади, пособил родителям со вступлением в кооператив. И вот почти полтора года наша семья, отказывая себе во многом, жила на одну зарплату: вторая шла на оплату первого взноса — почти

1800 рублей, что составляло сорок процентов стоимости квартиры. То были большие деньги: месячные зарплаты инженеров немногим превышали 100 рублей. Кое-какую сумму пришлось занять. Остальную часть стоимости жилья выплачивали по-немногу еще в течение пятнадцати лет.

Наша кооперативная «двушка» строилась на территории нового микрорайона под названием Танкодром — он действительно в прошлом таковым и являлся: внизу под горой, на Оренбургском тракте стояло Казанское танковое училище. Танкодром довольно долго сполна оправдывал свое оригинальное название: проехать по нему можно было разве что на танке. Обустройство микрорайона запаздывало, социальной инфраструктуры почти никакой, кругом торчали унылые серые пятиэтажные «хрущевки», грязь, регулярно прорывавшиеся на улице канализация или водопровод. Чего стоил один только спуск к остановке троллейбуса по глиняному, скользкому после дождя косогору.

Дворы, в их привычном виде, исчезли с началом массовой типовой панельной застройки. Обширные пространства между домами люди по привычке продолжали называть дворами. Причем само понятие «двор» стало обретать нарицательный смысл: выражения «уличный», «дворовый» воспринимались синонимами чего-то нехорошего. И я часто грустил, вспоминая уютные дворики Старо-Татарской слободы.

В те времена граница Казани в направлении Оренбургского тракта проходила по высокой насыпи железной дороги, что вела на восток. Дальше вдоль тракта стояли деревни: Аметьево, Старые Горки, Ферма, Борисково. Танкодром, шагнув за железку, раздвинул границы города, поэтому новый микрорайон воспринимался далекой «тьмутараканью», выселками. Это сейчас, учитывая размеры нынешней Казани, он считается расположенным недалеко от центра.

И вот наконец-то наш кооперативный двухкомнатный «рай» обрел явь и плоть! Но квартира принадлежала не нам, а кооперативу, содержание дома осуществлялось за счет его жителей. Все решалось на общем собрании под бдительным приглядом избранного председателя. Помнится, одной семье было отказано в удачном обмене на квартиру в другом районе, поскольку кто-то из членов кооператива нуждался в расширении. Дескать, обменяйтесь сперва с ними и уже их жильем распорядитесь, как хотите. Понятное дело, желанный обмен сорвался.

Но все равно наша новая «двушка» в сравнении с «кладовкой» воспринималась хоромами. И не беда, что одна комната проходная, а кухонка всего четыре квадрата, главное — «отдельная благоустроенная». Совмещенный санузел? Ерунда! Как говорилось в анекдоте, Никита Сергеич Хрущев хоть и успел соединить ванны с туалетами, но не успел соединить полы с потолками.

\* \* \*

Большинство учеников моего класса были знакомы между собой с самого раннего детства: их переселили из каких-то бараков с Суконной слободы. Многие байки о прошлом так и начинались: «Когда мы жили в старых бараках...» Проживали они тоже компактно — в нескольких домах по улице Комарова. Позднее группировка гопников со всего Танкодрома стала именоваться «Комаровские».

Хулиганье обитало повсюду, их дух, своеобразная субкультура «нормального пацана», казалось, были разлиты в воздухе той, прежней Казани. И даже многие мальчишки из благополучных семей, хорошо успевавшие, занимавшиеся в музыкальных или художественных школах, тем не менее старались походить на них из же-

лания выглядеть круче. Я тоже, не стану скрывать, вполне правдоподобно косил под гопника. Общепринятыми были наглое выражение лица и даже походка: ходить полагалось не спеша, вразвалочку, чуть скосив стопы внутрь, руки непременно в карманах. Желательно что-нибудь жевать или курить, время от времени сплевывая на землю. Хрипловатый смех звучал толчками и напоминал кашель. Слова произносили немного в нос, растягивая и гнусая.

Решающее значение для веса в коллективе имело наличие старших братьев или просто «наставников». Так и говорили: «Он ходит с таким-то». Имярек «такой-то», разумеется, должен был принадлежать к числу «блатных», как они себя называли. У меня, к сожалению, ни старших братьев, ни корешей из блатных не было. Но и собственные кондиции тоже имели значение, продвинуться вверх по пацанячьей иерархической лестнице можно было только одним путем — через «махач» (драку). Поэтому умение грамотно «вклеить промеж ушей» и «побазарить», правильно исполнив не только по содержанию, но и по форме, было весьма ценным. Некоторые пацаны свой «базар», или, как еще произносили, «бáсар», тренировали специально. До сих пор в ушах стоит хрипяще-сипящее, типа зловещее, шипение детским, еще не сломавшимся голоском: «Ну, ты, че-о-о, деш-ш-шевка, блин, в натуре, а?! Ты, чушпан, на кого хвост пружинишь? Сма-а-ррри у меня, марёха, ща бампер сверну! Пойал?!» Комментарий для непосвященных: «чушпан» — кастрированный поросенок, «марёха» — тот, кого морят, унижают, гнобят.

Вражда молодежных группировок, массовые драки здорово отравляли духовную атмосферу города. Определение «казанский феномен» появилось позже, при Горбачеве. Почему-то эта тема в пору «перестройки и гласности» очень полюбилась журналистам и телевизионщикам, постоянно представлявшим родной город в нелицеприятном свете, как будто ничего позитивного здесь вообще не происходило. Хотя молодежные группировки тогда безобразничали и в Горьком, и Свердловске, и в других крупных индустриальных городах, но с чьей «легкой руки» ославили именно Казань, не ведаю. Стремление выглядеть приблатненным, культивировать в себе бойцовские качества, бесстрашие и агрессивность, качать мышцы и уметь драться были присущи молодняку многих городов и поселков страны. Во все времена на Руси сойтись врукопашную «стенка на стенку» считалось национальной забавой. Но войны группировок казанских гопников назвать «забавой» язык не поворачивается.

Все как на войне: объявление войны какой-нибудь, как правило, соседской группировке, заключение союзов, перемирий. На стенах домов, заборах, в общественном транспорте часто красовались надписи: «Такие-то» — козлы, «такие-то» — короли (вместо слова «короли» обычно изображалась корона), из которых можно было понять, кто с кем враждует. В итоге: «Че-че-че?! За базар отвечаете? Айда шаблá (толпа) на шаблу, что ли?» И понеслась!.. Словом, с наступлением темноты на улицу лучше было не выходить. Патрулирование пацанами своих владений называлось «моталками». Некоторые мои одноклассники регулярно участвовали в «моталках» и в междоусобицах гопников, это существенно повышало авторитет. «Комаровские» на моей памяти враждовали с «павлюхинскими», «аметьевскими», «Высотной», ЖБИ, «Борисково», со «Вторыми горками». Но самой крутой в городе тогда считалась группировка «тяп-ляповских» — с жилого микрорайона вокруг завода «Теплоконтроль». Слава о ней гремела далеко за пределами Казани.

Группировки были подчеркнута интернациональны. «Честь улицы» — превыше всего. «Где живешь?» — первый вопрос чужаку повсюду звучал одинаково. Если ты был с «вражеской» территории, правдивый ответ на него мог привести к непредсказуемым последствиям. Но и врать тоже было опасно: могли подловить на втором

вопросе: «Кого знаешь?» (авторитеты из разных группировок были известны за пределами своих улиц). И если ответа не следовало или он оказывался неверным — значит, врешь! А раз врешь — значит скрываешь, откуда на самом деле, и, скорее всего, «враг».

Не существовало у гопников и экстремистской направленности — подавляющее их большинство были «пролетарского происхождения». Здоровые понятия о самом главном тогда были у всех. Никому и в голову не приходило ставить под сомнение значимость и величие нашей Победы. С детства, играя в «войнушку», мы старательно изображали «русских» и «немцев», а не гоблинов или десептиконов, как сейчас, причем никто не хотел быть «немцем».

Помню, в марте—апреле 1979 года, к 90-летию со дня рождения Гитлера, по Казани поползли упорные слухи, что невесть откуда взявшиеся «бритоголовые» собираются шумно и широко отметить юбилей фюрера. Никто их в глаза не видывал, однако слухи множились и множились: кто-то говорил, что, мол, откуда-то приедут, кто-то — что они настолько глубоко законспирированы, но обязательно повылазят, «вот увидите!» Власти города, видимо, отнеслись к подобным слухам всерьез, поэтому вечером 20 апреля на опустевших улицах города дежурили усиленные наряды милиции. «Патрулировали» город с целью обнаружения и наказания бритоголовых, и группировки гопников, каждая на своей территории. Впервые милиция их не трогала, а на вопросы «Чего тут шляется?» пацаны объясняли: «Да не, начальник, отвечаем, все нормально будет: мы, в натуре, бритоголовых ищем!» И действительно, махачей «шablá на шablу» в тот день не случилось, между группировками было заключено всеобщее перемирие, правда, никаких бритоголовых ни милиции, ни гопникам обнаружить не удалось.

Большинство гопников вспоминаются вполне вменяемыми пацанами. Многие из них впоследствии как бы переросли, перебороли этот возрастной недуг, да и служба в армии в этом «исцелении» служила хорошим лекарством. Абсолютное большинство вчерашних гопников, повзрослев и посерьезнев, шли работать, заводили семьи, некоторые даже получали высшее образование. Хотя и немалое их количество ломали себе судьбы: вставали на «кривую дорожку», попадали в тюрьмы или спивались.

До сих пор не могу понять, что за бес вселялся в души обыкновенных пацанов?! Отчасти понятно: подростковый максимализм, «понты», бравада, общественный вызов, желание привлечь к себе внимание. Плюс своего рода протест против общепринятых норм поведения и правил жизни, ощущение силы, околориминальная псевдоромантика, строптивость и агрессивность как способ защиты. Почему-то тогда среди многих наших пацанов считалось: вежливость, учтивость, доброжелательность — свидетельства мягкотелости, слабости. А слабых бьют! Вот и старались всю, выпендривались друг перед другом и всеми вокруг, как могли. И потихоньку, незаметно, исподволь подобная гипертрофированная норма общения формировала некую постоянную жесткую поведенческую установку, выйти из которой у многих уже не получалось. Засасывало. Зачастую ссору можно было легко загасить, но не-е-ет! Как же! Кодекс чести «нормального пацана» не позволял.

Безусловно, группировки гопоты той поры принципиально отличались от «братковских» ОПГ 90-х годов. Мне довелось как-то увидеть по каналу НТВ в телепроекте «Криминальная Россия» сюжеты про казанские ОПГ «Жилка» и «Хади Такташ» — разница колоссальная. Главной причиной отличия, на мой взгляд, является отсутствие, скажем так, экономической составляющей, несопоставимо меньшее влияние на молодежную среду криминального бизнеса «образца» 70-х годов, размах которого просто смешно сравнивать с лихими 90-ми.

\* \* \*

Умение играть в футбол и хоккей, разбираться в них было тогда обязательным для любого уважающего себя казанского пацана. Иногда можно было занять авторитет среди пацанвы, просто хорошо играя. Летом любая ровная полянка превращалась в футбольное поле, воротами становились камушки или школьные портфели. А зимой мы, пацаны, расчищали снег, используя его для строительства бортов, и заливали уже собственную хоккейную площадку. Штангами ворот служили сложенные стопками кирпичи, натасканные отовсюду. Для прочности конструкции «штанги» обливали водой, но ворота оставались без перекладины, а площадка — без задних игровых зон. Со временем ЖЭКи стали ставить в некоторых дворах деревянные хоккейные коробки.

Ежегодно в нашей школе проводились чемпионаты по параллелям классов, спасибо физруку Леонарду Георгиевичу Качаличу. Зимой — по хоккею, весной — по футболу. Невозможно описать тот азарт и страсть, с которыми бились пацаны за спортивную честь класса! И хотя я неплохо обращался и с мячом, и с шайбой, на чемпионатах школы всегда стремился во вратари. В хоккейной маске играть не любил: дышалось с трудом, видимость плохая. Удобных масок, как и вратарских клюшек, тогда не продавали — так, пластмассовая штамповка на резинках. Поэтому регулярно получал увесистым мерзлым куском резины в морду. Даже как-то раз зуб шайбой выбили. Не беда: прибежал домой, выплюнул зуб, отполоскал кровь и... пошел доигрывать матч.

Осенью 1972 года состоялась историческая, незабываемая хоккейная суперсерия матчей СССР—Канада. Описывать колоссальный интерес к этому захватывающему спортивному зрелищу после показа фильма «Легенда номер 17» излишне. Правда, прямых репортажей из Канады тогда не велось: власти трогательно заботились о здоровом сне трудящихся, и сидеть в ресторанах или смотреть телевизор после 23.00 не полагалось. Счет уже сыгранного накануне матча узнать было неоткуда, поэтому репортаж в записи на следующий день фактически превращался в прямой.

Мы бредили этими играми. Конечно, прекрасно знали и любили наших хоккеистов, их постоянно показывали по телевизору, их имена были на слуху. Но вот канадцы... Задиристые, волосатые, без касок, с выбитыми передними зубами, постоянно что-то жующие — они идеально походили на гопников. Неудобно вспоминать, но, видимо, поэтому именно канадские, а не советские хоккеисты стали тогда нашими кумирами. К тому же суперсерию, пусть даже с минимальным перевесом, все-таки выиграли «Кленовые листья»... За право носить имя кого-нибудь из канадских профессионалов шли упорные споры, я, помнится, именовался «Питером Маховlichem».

К сожалению, из-за тех же канадцев стало входить в моду драться прямо на площадке во время игры (до этого невыясненные спорные моменты оставляли для разборок после матча). Тогда же я впервые услышал выражение «жевательная резинка». Крайне редкие случаи появления у кого-то из пацанов этой вожденной резинки становились настоящим событием — на обжевки от нее выстраивалась целая очередь, поэтому даже самый маленький кусочек «жвачки» ценился на вес золота. Кому жвачки не доставалось, все равно во время игры в хоккей совершали энергичные жевательные движения.

Но были ли такие паца... пардон, мальчики, которые не могли принять и усвоить все те правила? Которые не махались, не умели грамотно базарить, не интересовались футболом-хоккеем, не ставили три аккорда на гитаре? Конечно, были. Их участь в нашей школе оказалась незавидной. Дети жестоки и часто безрассудны, особенно, как я заметил, где-то в средних классах, в раннем подростковом периоде.



Потом, в старших классах, мозги постепенно начинали заполняться разумом, отношения между учениками становились более уважительными. К тому же количество девяток классов, в сравнении с восьмыми, уменьшалось: наиболее одиозным ученикам давали понять, что в девятый их не возьмут, предлагая загодя подыскать какое-нибудь ГПТУ.

А что же пионерия, комсомол? В нашей школе они существовали сами по себе, для проформы, практически не влияя на повседневную жизнь. Хотя меня, пионером, назначили сперва звеньевым в классе, а потом, в бытность комсомольцем, избрали в комитет комсомола школы сектором печати.

Помню, как восторженно, с пафосом звенел голосок ведущей радиопрограммы «Пионерская зорька», еженедельно выходившей в эфир по воскресеньям: «Вся советская пионерия с большим воодушевлением поднялась на торжественную патриотическую вахту „Идем дорогой Ленина, дорогой Октября“! Во всех пионерских организациях нашей необъятной Родины юные ленинцы в едином порыве...» И т. д. и т. п. Не знаю, какие указания поступали на этот счет из роно, но в школе регулярно проводились «классные часы», на которых среди учеников принудительно распределяли направления работы этой самой «торжественной вахты»: «пионерстрой», «юные тимуровцы», «красные следопыты» и так далее. Словом, бал правили привычные для тех времен формализм и обязаловка, к которым приучали с младых ногтей.

Ежегодными обязательными были смотры строя и песни, а также фестивали народов СССР. Каждому классу поручали одну из братских союзных республик нерушимого Советского Союза, за исключением РСФСР. Нужно было собрать материал про нее, рассказать про какого-нибудь видного исторического деятеля этой республики, прочитать стихотворения национальных поэтов, что-то в тему спеть и сплясать. Фестивали проходили по параллелям классов и были состязательными: школьная комиссия давала баллы за каждое выступление. Помнится, я читал стихотворение какого-то узбекского советского классика про мелиорацию, будучи наряженным в подобие их национального халата, перешитого из маминого домашнего — узор на нем был похож на узбекский. Голову украшала кустарно сшитая нахлобучка, напоминавшая среднеазиатскую тюрбетейку, поскольку татарская не подошла бы в силу заметной несхожести фасонов.

Как-то на песенный конкурс нашему классу дали известную песню «Орленок», предписывалось не просто спеть, а немного обыграть сюжет песен. Актив класса под бдительным присмотром классной руководительницы Зины Ивановны остался после уроков мирковать над инсценировкой. Было придумано следующее. Роль Орленка отвели статному, высокому ученику нашего класса — Саше Куликову. Орленку нашли какую-то тельняшку, на голову повязали бинт, изобразив на нем фломастерами кровь. Куликов стоял в центре, а справа и слева от него по два ученика, которые при исполнении фразы «навекі умолкли веселые хлопцы» должны были выразительно упасть на пол. В число несчастных «веселых хлопцев» отрядили и меня. На наших головах тоже красовались разрисованные красным бинты, а для пущей достоверности каждый «хлопец» держал себя кто за руку, кто за бок, изображая боевые ранения. За «орлятами» полукругом стояла подпевка из девчонок.

Сперва Зина Ивановна предложила нарядить Куликова-Орленка в военную форму (ее муж был военнослужащим), но форма оказалась полевой, темной с португеей и здорово смахивала на белогвардейскую. Поэтому от первоначального замысла отказались, а облачили в нее Рината Гарипова, предусмотрительно сняв с фуражки кокарду со звездой. При словах «лети на станицу, родимой расскажешь, как сына вели на расстрел» он должен был выйти с игрушечным пистолетом и увести Куликова со сцены.

Честно говоря, меня сразу стали «терзать смутные подозрения» относительно неминуемого провала всего задуманного сценария. Но, как ни странно, Зина Ивановна одобрила эту туфту, да и времени, чтоб придумать что-то другое, уже не оставалось. Однако впечатляющее фиаско превзошло все наши нехорошие предчувствия.

Конкурс стартовал. Мы вышли на сцену с героическими лицами и все вместе запели: «Орленок-орленок, взлети выше солнца, собою затми белый свет!» — пока все нормально. «Навеки умо-о-лкли весе-е-лые хлопцы...» — мы, кто вскинув руки, кто схватившись за грудь, картинно грохнулись на пол сцены школьного актового зала. К сожалению, я упал неудачно и ударил локоть, поэтому, «навечно умолкая», чуть слышно матюгнулся. Услышав мою ругань, Орленок Куликов почему-то смутился и следующую фразу «В живых я остался один!», которую он должен был громко произнести, не исполнил. За него ее спели своими тоненькими голосками одноклассницы из «массовки».

Лежа на полу, я реально осознал весь идиотизм происходившего на сцене, поэтому меня стал разбирать смех. Другой одноклассник, Валера Денисов, лежал напротив и улыбался, «кровавая» повязка с его головы слетела во время падения, под ней, разумеется, было чисто. Наконец широко улыбающийся Гарипов в «белогвардейской» форме увел со сцены Куликова «на расстрел». Оказавшись за кулисами, оба — и «палач», и его «жертва» — негромко заржали. В зале, наверное, слышно не было, но я-то услышал! Моему терпению пришел конец: незаметно прикрыв ударенным локтем лицо, я бесшумно затрясся всем телом от невыносимого приступа дикого хохота.

М-да... Мы заняли последнее место. После провального выступления — «разбор полета» в классе. Зина Ивановна неистовствовала. Досталось всем: и «белогвардейцу» Гарипову, и Куликову, крайне неубедительно воссоздававшему героический образ юного коммунара, и, непонятно за что, хоровому кордебалету.

Но больше всех вдули нам, «веселым хлопцам»:

— Упали, как дурачки! Денисов лыбится! Муратов ржет! Как можно опозлеть такую хорошую песню?! — грохотала Зина Ивановна.

— Я не ржал! — пытаюсь защититься.

— Не ржал, говоришь?! Да я своими глазами видела, как ты лежал и трясся от смеха!

— То был не смех! — я твердо стоял на своем.

— А что тогда?!

— Предсмертные судороги!

Занавес.

В 1977 году нашу школу возглавил Лев Аркадьевич Могильнер, по непроверенным слухам, полковник КГБ в отставке. Прямой, жесткий, но справедливый и честный человек, он совершенно не боялся гопников, был с ними подчеркнуто твердым и непреклонным. И гопники, чувствуя его силу и характер, частенько давали слабину, отступали. При прежней директрисе они имели привычку постоянно приходить в вестибюль или на крыльцо школы, кого-то заирать, унижать (штатных школьных лицензированных охранников с тревожными кнопками и рациями, как сейчас, тогда не существовало). Одного школяра, помню, застрашали настолько, что он, боясь выйти из школы, прыгнул из окна второго этажа с противоположной от крыльца стороны и сломал ногу. Лев Аркадьевич быстро их отвадил, а однажды при нас банально навтыкал одному «авторитету» по кличке Усы.

Директор резко активизировал сотрудничество и с инспекторами по делам несовершеннолетних, и с участковыми, с которыми проводились классные и общешкольные родительские собрания. На одном из общешкольных собраний Лев Аркадьевич демонстрировал небольшую экспозицию ударно-колюще-режущего арсенала, изъятого у учеников в стенах школы.

Одно время мы забавлялись тем, что, зарядив в розетке небольшой конденсатор, разряжали его в кого-нибудь из школяров, как правило, младше или слабее себя. Особенно «сладостным» было наблюдение за процессом медленного подноса конденсатора к открытой части тела отчаянно верещающей жертвы, которую крепко держали. Ну, а мастерски метнуть кому-то под ноги портфель так, чтоб цель, как подкошенная, рухнула на пол, или перед самым уроком намазать соплями дверную ручку класса, чтоб учитель впопыхах ее схватил — это так, шутки, за плохие поступки не считалось.

В то же время добрые сердца ребятишек ведь никуда не девались: каждое утро к крыльцу школы собирались все дворняги округи. Псы, виляя хвостами, ожидали завтраки и угощения, которыми заботливые мамы снабжали в школу своих чад. Но в какие-то моменты детские сердца вдруг будто бы в свинцовую фольгу заворачивались.

Лев Аркадьевич вместе с учителем физики обеспечил все помещения классов телевизорами. При нем в школе возникло множество спортивных и прикладных кружков. Но самым знаковым и необычным деянием директора была организация в нашей школе музея латышских стрелков.

Наша школа стояла на улице Латышских Стрелков. В 1978 году в Казани широко отмечался шестидесятилетний юбилей освобождения города революционной Латышской Красной дивизией от колчаковцев. Лев Аркадьевич решил провести праздник одноименной улицы и школы, на которой она стояла. Из Риги даже приехали трое настоящих латышских «стрелков», стареньких ветеранов той дивизии — они сидели на почетных местах в первом ряду школьного актового зала во время торжественного собрания и концерта в честь знаменательной даты. Перед школой состоялся праздничный митинг и шествие по улице, названной их именем.

Венцом торжеств стало открытие ветеранами-«стрелками» школьного музея Латышской Красной дивизии. Причем Лев Аркадьевич поручил основную работу по его организации самому проблемному, на тот момент, девятому «Б» классу. Надо отметить, ученики того класса проявили большую заинтересованность, делегации от класса не раз ездили в Ригу в Музей латышских стрелков. Там с нашими школярами делились информацией, историческими документами, некоторыми экспонатами, опытом в проведении экскурсий по музею. Так в нашей школе появилась своя собственная изюминка. Одна ученица девятого «Б» даже проводила экскурсии на английском языке (несколько раз школу посещали иностранные делегации).

Первый визит в Ригу наших «музейщиков» запомнился еще одним событием, но другого толка. По рассказам пацанов, около вокзала до них докопалось местное хулиганье. Те понятия не имели, что связываться с казанскими — себе дороже. Пришлось нашим доступно «растолковывать» это непосвященным аборигенам простым «контактным способом»: казанская делегация не ударила лицом в грязь, подтвердив свое высокое реноме. Вернувшиеся с гордостью докладывали о боевом успехе, и это было самым ярким впечатлением от первого визита в столицу Советской Латвии.

\* \* \*

Всеобщим «хобби» советских людей было садоводство. Почему в кавычках? Потому что в большинстве случаев это увлечение было вынужденным. Где-то ближе к 70-м годам руководство страны, поняв, что полноценно обеспечить советский народ фруктами-ягодами-овощами в рамках существовавшей тогда системы не в состоянии, приняло логичное и давно напрашивавшееся решение: позволить людям ими самих себя обеспечивать. «Спасибо партии за это и лично Леониду Ильичу!»

Повсеместно стали выделяться земельные участки для организации садовых обществ, строго по предприятиям. Заводу «Радиоприбор» досталась обширная территория заброшенного яблоневого сада за деревней Нижний Услон, что напротив Казани через Волгу. Но земли давали крохи — по три сотки на семью! Причем не могли поставить на участке баню или гараж, только небольшой летний домик да сараюшки: земля тебе, дорогой товарищ, «высочайше пожалована» исключительно для растениеводства! Впрочем, на дачу в Нижний Услон на машине, если она имелась, почти никто и не ездил: моста через Волгу еще не существовало, а добираться в объезд через переправу в Свяжске представлялось крайне неразумным. К тому же после дождя по раскисшим проселкам не то что проехать, пройти бывало трудно.

В 1973 году у нас появилось собственное трехсоточное «счастье», а на участке росло аж девять одичавших яблонь! Правда, оставили мы только четыре, самые плодоносящие, остальные пришлось вырубить: сильно затеняли землю. Но «помилованные» окультуренные яблоньки не смогли пережить жесточайшую зиму 1978—1979 года (температура опускалась до минус пятидесяти!), и их пришлось спилить. К счастью, растения не погибли и по весне выбросили от корня сильные ростки, заплодоносив вновь через два года. Сорт яблок определить никто не мог (даже спецы), поэтому он именовался «нижнеуслонским» — ох, и вкусные были яблочки!

Иногда, если не поджимало время, мы высаживались чуть раньше на пристани Студенец и шли до дачки по прибрежному косоугру километров пять пешком. «О, Волга, колыбель моя...» Летом, когда все вокруг цвело и благоухало, стрекотало и порхало, освежал речной ветерок, прогулка по высокому берегу Волги-матушки доставляла особое удовольствие. Под тобой — отражающий бездонное чистое небо простор волжского разлива со снующими вверх-вниз по реке баржами и круизными лайнерами, «омиками» и «ракетами». Напротив через Волгу, на пологом берегу, изумрудным ковром расстился сосновый бор.

Да, такой незабываемый пейзаж здорово подслащал далеко не всегда позитивную действительность. Ибо до дачи требовалось сперва добраться. Чуть свет в субботу — подъем! С сумками и рюкзаком с пересадкой на двух троллейбусах до Речного вокзала. Рысью к портовым кассам: там с раннего утра толпились огромные очереди. Взяв билеты, бежишь на «омик», а суровый речпортовский «матюгальник» подгонял: «Ом-420 до Матюшина отправляется с третьего причала!» Уф! Ты на кораблике, хоть дух можно немножко перевести. До Нижнего Услона через Волгу — сорок-сорок пять минут хода. От деревенской пристани еще минут сорок ходьбы — и ты на любимой дачке! Вся дорога занимала «каких-то» три-три с половиной часа!

Конечно, после одной только дорожной «одиссеи» хотелось отдохнуть. Но не-е-ет! Некогда! Лопату, тяпochку, секатор в руки или туесок на шею — и вперед! Висевший на ветке яблони транзисторный приемник только и успевал позывными радиостанции «Маяк» («Не слышны в саду даже шорохи...») отсчитывать каждые незаметно пролетевшие полчаса.

Но все вышеописанное меркло по сравнению с дорогой домой с урожаем! Сперва марш-бросок с полной выкладкой до пристани. Осенью, когда дачников с ведрами собиралось особенно много, иногда подгоняли к дебаркадеру пристани баржу. Помещались все, но тащиться через Волгу приходилось уже часа полтора-два. Потом в переполненном троллейбусе, приняв позу буквы «зю», в одной руке — ведро с малиной, в другой — со смородиной, а чуть ли не в зубах — туесок с крыжовником. Доползя до дома и закрыв за собой дверь, я ощущал то же, что и финиширующий марафонец. Зато слаще и вкусней той ягоды не было ничего на свете! А зимой, с чувством исполненного долга, чай с вареньем — красота!

Земельный надел нашей дачки площадью в «целых» три сотки принадлежал не нам, хозяевам, а садоводческому кооперативу. Участок, впрочем, можно было продать, формально цена включала в себя только стоимость дачного домика, хозпостроек и произрастающих на нем культур, но ясно, что чем больше площадь участка — тем выше цена.

Да, товарищи дорогие, три соточки — это мало. Оскорбительно мало! Домики, плотно натканные по участкам, затеняли значительную часть площади земли. Слышимость, в силу критичной близости соседей, была потрясающей, в том числе когда кто-то рядом посещал нужник. Одна радость: сосед дядя Ильдар, сослуживец моих родителей, имея неплохой голос, при работе все время душевно исполнял народные песни. Из-за подобной скученности говорить о дачном отдыхе в полном смысле слова не приходилось. Впрочем, нечего расслабляться: тебе землю дали, чтоб пахать на ней, а не качаться в гамаке, задрав ноги. Воду, электричество подвели? Подвели. Течет река Волга? Светит солнышко на небе ясное? Вот и радуйся.

Долгое время руководство садоводческого товарищества «Радиоприбора» добивалось выделения дополнительных земель: сразу за садовым забором, в сторону деревни Воробьевка, лежали обширные пространства заброшенных, давно не обрабатываемых сельхозугодий. Что мешало дать возможность людям вновь окультурить землю, кто этому сопротивлялся, я не знаю. Буквально за полтора года до кончины «нерушимого» Союза всех желающих все-таки облагодетельствовали: землицы добавили. Поэтому у нас появилось еще пять соток в чистом поле, метрах в четырехстах от нашего участка. Ставить еще один домик — зачем? Да и с подведением воды срослось только лет через семь — мы там сажали неприхотливые культуры: картофель, тыквы, кабачки, патиссоны. И каждый раз, катя туда на тележке полный 36-литровый бидон для полива, мой «разум возмущенный» сверлила упрямая мыслишка: ну, почему сразу нельзя было дать людям по восемь соток?!

Вспомнилось еще, как в отсутствие моего отца (он был в загранке) в течение двух дачных сезонов нам помогал управляться на даче Султан-абый — тесть соседа по участку, певца-любителя дяди Ильдара. Султан-абый — бодрый, деятельный, сухонький, такой классический татарский бабай — слыл опытным садоводом. В знак благодарности мои родители приобрели для него в Багдаде Коран в прекрасном издании. Мама вернулась оттуда раньше папы, она рассказывала, чего ей стоило провезти Священное Писание мусульман. С иракскими таможенниками при проверке багажа, ясное дело, никаких проблем не возникло: завидев Коран, они улыбались, показывали большой палец, одобрительно кивали головами. Но вот наши... Наши погранцы вполне могли изъять: ввоз из-за границы любой религиозной литературы не разрешался. Мама замаскировала книгу, как могла, чем-то обмотала, засунула поглубже в багаж. Помогло то, что она ехала в составе группы членов семей военспецов, и ее багаж должным образом не обшмонали. Не забуду, как благодарный Султан-абый со слезами на глазах обеими руками принимал бесценный дар — dostat Коран тогда в Казани было почти невозможно.

К слову, поездка мамы в Ирак могла вообще не состояться: особист из первого отдела «Радиоприбора» вынул ей всю душу с фактом пребывания в детском возрасте на оккупированной во время войны территории. Иметь «правильную» анкету, «чистую» биографию для решения многих, зачастую судьбоносных, вопросов в те времена было принципиально важно (особенно при трудоустройстве в определенные организации). Слава богу, помог по своим каналам мамин брат-москвич — полковник спецслужб, и въедливый особист отстал.

Но у нас, грех жаловаться, хотя бы была ровная земля. Если, стоя на нашем участке лицом к Волге, повернуть голову влево, то открывался захватывающий вид

на «Гору дураков». Упаси боже обвинить меня в авторстве этого топонима, но «из песни слов не выкинешь»: именно такое название бытовало в народе. Что за гора? Просто крутой склон высокого берега Волги к безымянному ручейку, впадающему в реку недалеко от пристани. Что за «дур...» Извините, язык не поворачивается произнести. Конечно же, то были совсем не дураки, а обыкновенные садоводы. Дураками скорее хочется назвать тех, кто выделил им участки, крутизна которых доходила порой до сорока пяти градусов. И это-то при наличии огромного количества свободных брошенных угодий, а то и целины вокруг!

Нужно было видеть эти дачи! Люди нарезали участки на терраски, укрепив их вертикальные откосы листами шифера, удобрили землю, натаскав на себе навоз и чернотом, поскольку из-за крутизны склона машина там бы не прошла. Так же на себе за тащили стройматериалы — в результате одной стороной дачный домик нависал над склоном, а противоположной был в него врыт. При определенном ракурсе обзора «Горы дураков» иногда создавалось впечатление, что ты на Памире или в Тибете. Но если вы подумаете, что в порядке компенсации за неудобство расположения земельки подкинули побольше, то ошибетесь. Земли-кормилицы тоже отщипнули, «от щедрот душевных», по три стандартные сотки.

Но может быть, на «Горе дураков» обитали враги народа или, как минимум, спецпереселенцы? Нет! Трагикомизм ситуации заключался в том, что эти участки принадлежали ковавшим щит Родины работникам КАПО (Казанское авиационное производственное объединение) имени Горбунова, или, как его называли в народе, двадцать второго завода. На нем тогда выпускали первый советский межконтинентальный пассажирский самолет-красавец Ил-62 и грозный «бэкфайр» (по классификации НАТО) — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-22М, внешне тоже, кстати, красавец. Впрочем, немного успокаивает мысль, что, видимо, кому-то пришлось в голову дать участки с таким захватывающим дух, летящим обзором именно авиастроителям? Может быть, может быть...

В любом случае горько лицедреть, сколько там сейчас брошенных дач, сколько титанического труда пошло прахом... Дожди постепенно смывают «культурный слой», земля сползает по склону, домики частично разобраны, частично попросту брошены. Ковыряются там кое-где по старинке лишь одни пожилые люди. То ли романтики-авиастроители перевелись, то ли народ стал более прагматичен. Пожалуй, и то и другое одновременно. Нынешнее авиастроение, к сожалению, по масштабам производства не сравнить с советским. Зато нормальной земли, слава богу, приобрести стало проще и цивилизованней, правда, цены опять-таки кусаются.

Никто не спорит, земля — общенародное достояние. Земля-матушка, земля-кормилица... Словом «земля» иногда называют родину. Понятия Родной Земли, Родины, Отчего дома человек впитывает с молоком матери. Насколько взаимосвязаны, тонки и сокровенны они для каждого человека! У любого народа почитается за честь полить родную землю потом, а если потребуется, то и кровью. Счастливы те, чей отчий дом стоит на земле. Не сомневаюсь, те, кто живет и работает на земле, внутренне богаче тех, кто эту землю попросту созерцает. Предметное восприятие вкупе с абстрактным всегда более основательно и глубже, чем просто абстрактное.

С личными домовладениями усадебного типа тоже было придумано хитро: дом — твой, а земля, на которой он стоит, — государственная. В доме живи на здоровье, при желании даже разбирай его, продавай или переноси куда хочешь, но землю «положи на место»!

«В буднях великих строек», в процессе индустриализации страны этот компонент — ощущение земли — как-то выпал. Безусловно, без создания могучего производства, промышленного потенциала говорить о самостоятельности и состоятельности

государства невозможно. Но, с другой стороны, убежден: с отчуждения от земли начинается бездуховность. Да и зерна из-за рубежа, в основном из Штатов, ввозилось тогда миллионами тонн, несмотря на воспетые официальной пропагандой «величественное преобразование социалистической деревни» и героику «битв за урожай».

И потом, где кончается народ и начинаются конкретные люди, этот народ образующие? Со своими желаниями и потребностями. А главная потребность человека — это своя семья и дом. Дом — на земле. И чтобы и первое, и второе было свое собственное. Тут и проходил рубикон, который, к великому сожалению, коммунисты преодолеть не смогли, ибо дальше начинался... «собственник».

\* \* \*

Дальнейшее изучение на практике специфики «созидательного труда на земле» в условиях развитого социализма продолжилось у меня уже в статусе студента биофака Казанского университета. Студенческая пора, помимо учебы, сессий, практик, каникул, веселий, включала в себя и трудовую деятельность в студенческих стройотрядах (ССО) и сельскохозяйственных работах на благо «горячо любимой социалистической Родины».

И если о ССО писано-переписано, сказано-пересказано, то о таком распространенном явлении студенческой (и не только) жизни, как осенние сельхозработы, или, как тогда говорили, обобщая понятие, «колхозы», лично мне ничего познавательного не довелось прочесть ни тогда, ни в последующем.

Да, стройотряды — это круто! Романтично! «По-социалистически!» Я всегда завидовал молодым, веселым, загорелым ребятам и девушкам с рюкзаками, в стройотрядовской униформе с эмблемой ССО, с мастерком на рукаве. А если к ним добавлялись эмблемыстроек с обширной географией, стройотрядовские значки, гитары и прочая атрибутика, я чувствовал, как «торопится сердце, сердце волнуется». И звали студентов гордо — бойцы стройотрядов! К сожалению, на биофаке учебный процесс был организован так, что ежегодно на июль приходилась практика. Основной же период работы стройотрядов выпадал именно на июль—август. Поэтому ССО из студентов биофака никогда не формировались. В августе — каникулы, ну, а в сентябре пожалте в деревню.

Помню, как мы, свежеспеченные первокурсники, повизжав от восторга у доски объявлений приемной комиссии при виде своих фамилий в списках зачисленных в университет, тут же наткнулись на скромное объявлениице, гласившее «быть там-то во столько-то» для отправки на работы в сельскую местность. Вот оно — принципиальнейшее отличие «колхозов» от стройотрядов! Участие в ССО было строго добровольным, еще и не каждый желающий мог попасть в тот отряд, в который хотел, в некоторые даже были конкурсы. А вот в колхозы посылали в «добровольно-принудительном» порядке или, как еще выражались многие, «гоняли».

Не скажу, что никто не пытался роптать. Но принародные громкие возмущения могли привести, как минимум, к исключению из комсомола, как максимум — к отчислению из университета. Ничего не бояться мог, наверное, только беспартийный работяга, но Его Величество Рабочий Класс и так в колхозы не гоняли.

Безусловно, вопрос «откашивания» от колхозов вполне можно было решить без огласки, в частном, так сказать, порядке. Не стану говорить про блат, это понятно и так: блатные в колхозы не ездили. Освобождение от колхозов иногда предоставлялось в качестве награды за что-то или за участие в чем-то, например, в выступле-

ниях университетской хоровой капеллы или в каких-то соревнованиях. Не ездили на сельхозработы также дипломники и, разумеется, иностранные студенты, хотя в стройотрядах, бывало, работали.

Противопоказания по состоянию здоровья принимались во внимание: в конце августа перед деканатом всегда наблюдалось скопление студентов со страдальческими лицами: кто держался за бок, кто за живот, а кто просто подволакивал ножку. Но для освобождения от колхозов требовался аргументированный медотвод.

Поэтому понятно, что никакой патетики в этом вопросе не могло быть по определению, и если какая-то официальная информация изредка просачивалась, то как-то всуе, мимоходом и исключительно, как «шефская помощь селу». В результате сложилась преинтересная ситуация: работаешь в стройотряде — тебе почет и уважение, поехал «в колхоз» на сельхозработы — гы-гы-гы! К тому же стройотрядовцев всегда освобождали от сельхозработ. Теоретически боец стройотряда мог изъявить желание поехать по осени в колхоз, но я о таких идиотах, честно говоря, не слышал ни разу.

Как следствие, кроме язвительной песенки Владимира Высоцкого «Товарищи ученые...», советская культура на тему «шефской помощи селу», в отличие от тематики стройотрядов, ничего не создала:

Товарищи ученые, доценты с кандидатами!  
Замучились вы с иксами, запутались в нулях,  
Сидите, разлагаете молекулы на атомы,  
Забыв, что разлагается картофель на полях!

Однако эта песенка не то чтобы была запрещена, но, скажем так, не очень приветствовалась...

Поначалу я считал поездки «в колхозы» своим комсомольским долгом, поскольку работал агитсектором в факультетском комитете комсомола и искренне верил в идеалы коммунизма, зная, что колхозно-совхозный уклад — вершина организации сельского хозяйства. Истинность ленинской цитаты «Мы придем к победе коммунистического труда!» у меня не вызывала абсолютно никаких сомнений. А фразу известной песенки из сталинской киноагитки «И все кругом колхозное, и все кругом мое!» я, признаюсь честно, воспринимал в буквальном смысле. Верил: нужно лишь немножко помочь труженикам села ввиду очередного неурожайного года или по случаю новых повышенных трудовых обязательств, принятых ими в преддверии (или по итогам) исторических пленумов ЦК КПСС. Я уже не говорю о «судьбоносных» для всего человечества съездах КПСС, ставивших все новые и новые грандиозные планы по строительству коммунизма в нашем обществе, а также пафосно сообщавших миру устами дорогого Леонида Ильича Брежнева, что «общий кризис капитализма, кха-кха, еще более углубился».

Посылали по принципу: одна академическая группа на одну деревню. Размещали обычно по домам колхозников, и ничего — месяц уживались под одной крышей. Возможно, в это сейчас трудно поверить, но тогда такой был народ — в большинстве своем простой и радушный.

Спокойный сельский пейзаж родного Татарстана представлял собой поля и пашни средневохломленной равнины с редкими перелесками и узкими речками. Я любил его неброскую красоту, напоенную осенним запахом влажной земли, стерни, зерна и опадающих желтым хороводом листьев. Стоит отметить, что за время поездок по деревням мне в те годы ни разу не встретились ни мечети, ни церкви. Что ж, безбожникам из идеологических отделов обкомов-райкомов — «пять бал-



лов» за их черную атеистическую работу или анафема, по сегодняшним меркам. Благо хоть сейчас в Татарстане, пожалуй, нет ни одной деревни без храмов Божьих — либо мечети, либо церкви, а то и того и другого в одном поселении.

Чем же занимались мы там, на «ниве трудовых свершений»? На первом курсе послали на строительство животноводческого комплекса. Заняты были в основном на подсобных работах: на железнодорожной станции разгружали из вагонов кирпичи, закидывали их в грузовики и на стройке сбрасывали из кузовов на землю. Целых, неразбитых кирпичей оставались единицы — сложенные из их обломков строения даже внешне выглядели стремно, хоть и были совсем новыми.

Однако за месяц мы не заработали ни цента! Обратились к старшей по группе преподавательнице с символическим вопросом: где деньги? В ответ прозвучало: «Все, что заработали, пошло на оплату питания в столовой...» Понимаю, что нас заняли не самой высокооплачиваемой работой, но какие-то копейки мы должны были получить! Видимо, их поимел кто-то другой. Бог с ними, сентябрьскую стипендию по приезду домой все равно получили. Да и не расстраивались особо: все были счастливы, что только что успешно выдержали трудные вступительные экзамены, знакомились друг с другом, общались, пели, смеялись. Все списывалось на возраст: «Гаудеамус игитур, ювенес дум сумус!» (итак, будем веселиться, пока мы молоды!). Впрочем, кормили в колхозной столовке тоже неплохо. А что на строительстве коровников бардак и по денежному вознаграждению за участие в их возведении «баранка» — так это, как говорил дорогой Леонид Ильич, «кое-где еще имеющие место отдельные недостатки».

На следующий олимпийский 1980 год в организации сельхозработ произошли серьезные изменения: на очередном историческом пленуме ЦК КПСС, «в обстановке воодушевления и единодушного одобрения», была принята Продовольственная программа, впоследствии бесславно почившая вместе с партией. В ней оговаривалось, что шефская помощь селу должна заключаться только в уборке урожая и ни в каких работах больше. С вузами заключались договоры, за нашим факультетом закрепили два района. Из числа преподавателей мужского пола назначались старшие по районам, в их обязанности входило следить за соблюдением условий договоров.

В том году работали на току: зерно с полей привозили грузовиками и высыпали на асфальтированную площадку для предварительной подсушки на воздухе — только что обмолоченное, оно еще «дышало». В нашу задачу входило периодически просушивать зерно с помощью веялки-погрузчика. Зерно, под присмотром местной бригадирши, надо было с земли подавать лопатами под цепные лопасти подборщика. Иногда, если зерно было не особо чистым, его, с помощью другой, немного видоизмененной веялки, требовалось еще и просеять. Подсохшее на воздухе зерно снова загружали в грузовик, который отвозил его на зерносушилку для окончательной просушки и складирования в амбаре. Словом, работенка не хитрая, особых навыков не требовала. «Все — на выполнение Продовольственной программы!», «Каков ток — таков итог!» — гласили плакатики при въезде на ток.

И вдруг в один прекрасный день местные на току не появились, только грузовики, присланные вместе с шоферами из города, все везли и везли с полей золотистое душистое зерно. Я знал, что началась копка картошки, понимал важность наличия приусадебного участка для сельского жителя. Но никак не во вред колхозному делу, ведь «общественное — выше личного!» «Коллективное хозяйство в условиях социализма способствует формированию у сельского труженика сознания общественного собственника» — так нас учили еще в школе на уроках обществоведения. Как же вы, члены колхоза имени Ленина, обуреваемые «частнособственническими пережитками», не понимаете этого и предпочитаете колхозному зерну свою картошку?!

Кучи зерна на площадке перед зерносушилкой, которая, к счастью, не переставала работать, стали угрожающе расти, а мы, студенты, не успевали их все перелопачивать. Кроме того, посыпали противные осенние дожди. Сунешь руку в кучу, а зерно внутри горячее. Зерно на току горит, а колхозники свою картошку копают! Как такое возможно?! Встречаю у правления бригадиршу, возмущаюсь. «А-а, — отмахнулась она, — картошку выкопаю сперва: картошка — второй хлеб». Ладно, думаю, с тобой все ясно. Выловил кого-то еще из местных, начал что-то «затирать» за Продовольственную программу, но тот, посмотрев на меня, как на умалишенного, презрительно ухмыльнулся: «Да пошел ты...»

«Добил» командированный шофер Мишка-гонщик. Он на своем зилке по деревне носился как угорелый или, бывало, разгонится по площадке и затормозит резко перед самой веялкой — его аж разворачивало юзом. Как-то он высыпал полный кузов зерна прямо в лужу.

Я ему возмущенно:

— Ты что, не видишь, куда высыпашь? Это же хлеб! Знаю, что тебе колхоз до фени, но...

Разбитной «Шумахер» грубо перебил:

— Да пошел ты со своим колхозом!

Со «своим»! То есть с «моим»? Крылатая фраза «и все кругом колхозное, и все кругом мое» наполнялась конкретным смыслом: похоже, действительно все кругом только мое. Факт такого возмутительно несознательного отношения колхозников к общему делу основательно разбередил мою «девственную» душу. Ехал домой невеселый, пытаюсь осмыслить пережитое. Тот незабываемый колхоз имени Ленина стал отправной точкой дрейфа моего марксистско-ленинского мировоззрения в идеологически противоположную сторону. Одна радость: хоть что-то заработали, всем поровну.

На третьем курсе нас послали в совхоз «Красный партизан». По приезду директор совхоза принял всех в правлении, в своем кабинете. Подобной чести я больше не припомню. Широко улыбаясь, он пообещал хорошо заплатить, если мы будем стараться, и пожелал ударной работы. Чем же помогли мы совхозу «Красный партизан» в священной «битве за урожай», повторявшейся в нашей стране с завидным упорством из года в год? Нас бросили на уборку кормовой свеклы вручную. Трудились бригадами. Прикинув сотки две-три площади, дергали крупные корнеплоды, выкладывая их кругом. После этого шла обрезка ботвы — свекла летела в центр круга, образуя небольшую кучу. И так по всему полю — кучки, кучки в окружении обрезанных листьев ботвы. Потом по полю ехал трактор «Беларусь» с прицепом, куда мы забрасывали собранные корнеплоды. Вот и вся премудрость.

Возили нас на свекловичное поле в кузовах грузовиков. Однажды в распутицу после дождя один из грузовиков забуксовал на косогоре. Водила тормознул и, переключив скорость, резко дернул вперед — кто стоял сзади, кубарем посыпались в грязь. Хорошо, что машина не сдала назад... Вот такая «охрана труда»! Потому и мы позволяли себе нарушать трудовую дисциплину, но совестью, как годом раньше, я уже особо не мучился.

Окончательно пошатнул веру в справедливость расчет зарплаты. За два дня до отъезда мы с сокурсником взяли в оборот бригадира, раздавив с ним бутылочку водки — «бугор» добросовестно закрыл наряды. А потому уверились, что заработок, как и обещал в самом начале директор совхоза, будет хорошим. И вдруг! В день отъезда, получая расчет в кассе, глазам своим не поверили: ведомость пестрила совершенно нелогичным, не поддающимся пониманию разбросом сумм, предписанных к выдаче каждому, хотя работали одинаково! Почему, на каком основании? Но вы-

яснить не у кого: директора нет, бригадира нет. И совхозный автобус сигналит: пора двигать домой.

Я же сделал для себя вывод, что поскольку в колхозах, в отличие от совхоза, заработок у всех был одинаковым или не было его вообще, то по внутренней сути он ближе к коммунистической форме труда. Впрочем, в эту абракадабру верилось с трудом. Правильнее было бы заключить: что колхоз, что совхоз — те же яйца, только в профиль. А последний студенческий колхоз и вовсе ничем особенным не запомнился.

Отбывание сельскохозяйственной «повинности» позволило узнать о колхозах много любопытного. Но красноречивей всего об этом рассказывал фольклор. Я узнал, что такое «колхоз-миллионер»: это значит, что государством списано долгов на миллионы. Слышал, как народная молва переименовала колхоз «40 лет Октября» в «40 лет без урожая». А один колхозник символично переименовал крылатую фразу: «И все кругом колхозное, и все кругом — ничье!» Отрицать не буду: были и настоящие колхозы-миллионеры, где все по уму, народ богат и счастлив, а председатель непременно — Герой соцтруда. Но, пардон, это — «не благодаря, а вопреки» — там, где каким-то чудом удавалось сохранить рудимент вековой крестьянской думки о своей земле, хозяйстве, своем роде, наконец. Или, например, если это родная деревня космонавта номер три Андриана Николаева — показательное село Шоршелы в Чувашии, где он родился и вырос, я видел собственными глазами.

Кто-то до сих пор считает колхозное строительство прогрессивным и героическим, а кто-то называет коллективизацию насильственным разрушением крестьянского уклада и психологии. Я, не буду лукавить, ближе ко вторым. Однако истина, видимо, посередине. И не надо кивать на то, что при развитом социализме забота о сельхозпроизводителях была настолько трогательной, что «особо отличившимся» колхозам регулярно списывались долги. Вредность подобной практики очевидна: халява развращает. Мне возразят, мол, сельское хозяйство почти во всем мире дотируется. Согласен, но... Льготное кредитование или даже целевое субсидирование тех, кто самоотверженно работает на земле, — это одно, а вбухивание средств в бездонную бочку ежегодного списания долгов — совсем другое. Парадокс заключался в том, что долги списывали-списывали, а колхозик все равно нередко «загибался».

\* \* \*

Согласен, земля нужна не всем. Некоторые люди — горожане до мозга костей. Но я толкую о принципиальной возможности. Хотя предполагалось, что у советских людей автомобилей в массовом пользовании тоже не будет. Иначе чем объяснить, что внутриквартальные проезды вдоль наших «хрущевок» были только для одной машины — со встречной уже не разъехаться. В какое колоссальное неудобство это вылилось сегодня! Я уже не говорю про отсутствие мест для автопарковок.

Но если многие недостатки носили системный характер, то имелись и местные казанские «болячки». В 70-е годы родной город смотрелся довольно запущенным и неухоженным, резко контрастируя с сегодняшней красавицей Казанью. Конечно, многое объяснялось наличием обширного обветшавшего старого жилого фонда. Как вспомню запах из дворов по улице Баумана, надписи аршинными буквами «туалета нет!» на стенах арочных проходов в них! Эти трущобы в центре города — Федосеевскую слободку, Суконку, Калугу... А с самого конца 70-х завонял сероводородом мой родной Нижний Кабан. Кто был в этом виноват — районный жил-

комхоз или Вахитовский химкомбинат, не ведаю, но жаркими летними деньками от озера тащило — не приведи господь!

Не помню, кто тогда был на посту мэра, пардон, председателя горисполкома Казани, но народ вокруг постоянно поминал имя только одного официального лица — первого секретаря Татарского обкома КПСС Табеева. Спорить не стану, Фикрят Ахмеджанович сделал очень много полезного для республики, но я никогда не поверю, что построить «Нижекамскнефтехим», КамАЗ и «Оргсинтез» легче, чем навести порядок в городе. Видимо, «там, наверху» во главу угла ставили выполнение плановых производственных показателей.

По пути в речной порт одно время висел уличный лозунг: «Все во имя человека, все для блага человека!» Народ тогда смотрел как бы сквозь подобные лозунги, транспаранты и плакаты, не замечая их: они служили частью общегородского «декора». Кое-где исполняли вполне утилитарную функцию, закрывая собой, например, какую-нибудь дыру, непарадную часть фасада дома или страшненький заборчик. Но на площадях и центральных улицах играли основную роль — наглядно-агитационную. Тот лозунг, «про благо», был довольно распространен во всех городах Советского Союза. Народ в шутку дополнял его оригинальным и принципиально существенным окончанием «...с Запада!». И действительно, перед иностранцами в те годы юлили и лебезили намного больше, чем сейчас. Впрочем, их в стране тогда было порядка на два меньше.

Несмотря на «железный занавес», народ за рубежом крайне редко, но все же выбирался. Конечно, в основном в страны «соцлагеря» или прогрессивного «некапиталистического пути развития». И если из Вьетнамов-Лаосов-Монголий и даже из Ирака советские люди возвращались с «чувством глубокого удовлетворения» и гордости за успехи Страны Советов, то визиты в Европу к «ребятам-демократам» были уже не столь радужны и позитивны. Да что там «ребята-демократы»! Свои же прибалты и те задирали нос перед нами. И основания для подобного высокомерия имелись — мы подспудно осознавали и мирились с этим: ничего не попишешь — Евро-о-опа...

Ну а те, кому посчастливилось глянуть хотя бы одним глазком на «загнивающий» Запад... Всё! Никакие идеологические «накачки» не помогали — годами формируемой системой «иммунитетец» давал сбои. Причем люди смотрели на вернувшихся «оттуда» с завистью и вожделением, жадно ловя каждое слово счастливого, повидавшего Запад, и веря всем их рассказам безоговорочно. Как точно поется: «Нас так долго учили любить твои запретные плоды», казавшиеся такими нереально сладкими... Такой сумасшедший культ всего западного мы сами себе тогда создали!

В стране «победившего пролетариата» официальная идеология превозносила рабочий класс до небес и даже иногда называла «Его Величеством». Слагала ликующие восхваляющие песни: «Идут хозяева земли! Идет рабочий класс!», «Вам владеть всем богатством на свете...», «Трудовые будни — праздники для нас!». Но в обиходе повседневной жизни эта возвышенная патетика удивительнейшим образом сочеталась с обидным и незаслуженным унижением «работяг». Одно презрительное толкование аббревиатуры городских профессионально-технических училищ, кузниц рабочих кадров — «ГПТУ» — чего стоило: «Господи, Помогите Тупому Устроиться...» А с восьмого класса некоторые учителя нам старательно «дули в уши»: «Учѣтесь! Вы что, хотите попасть к станку на заводе?!»

Хотя нельзя не отметить, что заработки рабочих были зачастую существенно выше, чем у инженеров, служащих и вообще у интеллигенции, которую работяги в отместку кликали «гнилой», с легкой руки дедушки Ленина. Одноклассники, устроившиеся на работу сразу после школы, при встрече со мной неизменно под-

черкивали, мол, работаю, к примеру, мотористом на автобазе — 200 рэ в месяц имею, «как с куста». При этом не забывали демонстративно поинтересоваться: «А у тебя стипендия сколько?»

Коммунистическая партия, некогда провозгласившая себя «боевым авангардом рабочего класса», всегда выступала «от имени и по поручению» Его Величества, действовала «по многочисленным просьбам трудящихся» и исключительно «в интересах советского народа». В те времена одним из самых популярных лозунгов был «Народ и партия едины!».

Благодаря постоянно лившейся с теле- и радиоэфира и страниц газет информации все были в курсе о передовиках производства, «ударниках коммунистического труда», победителях соцсоревнований и переходящих красных знаменах, о рекордных намолотах зерна, подборах валков и вспашках зяби, о выполнении и перевыполнении плановых заданий, торжественных рапортах трудовых коллективов, борющихся за почетные звания. Непременно в «едином трудовом порыве», особенно в преддверии исторических пленумов, а тем более съездов КПСС. Я недоволен морщился, в сотый раз слыша по радио песню «Любовь, комсомол и весна» или детскую кантату Чичкова на слова Ибряева «Берем с коммунистов пример».

Многие вокруг, будучи убеждены, что невосприимчивы к официальной трескотне, не замечали, как в дальних закоулках подсознания все это потихонечку оседало. Абсолютно согласен еще с одним популярным лозунгом времен «развитого социализма»: «Советскому народу присущ исторический оптимизм!» («лишь бы не было войны», но Советский Союз ее не допустит!). И зубоскаля над бравурными лозунгами и безудержными славословиями в адрес КПСС и ее руководителей, травя анекдоты про Чапаева и Брежнева, даваясь в очередях и вкальвая на дачках, советские люди в то же время были уверены: ЗАВТРА НЕ БУДЕТ ХУЖЕ, чем сегодня. Конечно, если не бухаешь (алкашей и тогда хватало), не воруюшь или бездельничаешь.

Никто не «косил» от армии, не тунеядствовал и не «ширился» (я не знал ни одного наркомана!), а «гомики» сидели, где положено. Почти все стремились создать семьи и иметь детей. Холостякуешь? — Плати налог по бездетности. Вышла замуж, но хочешь с мужем пожить для себя? — Тогда твоя очередь оной подати. И никаких тебе гражданских браков, изволь-ка продемонстрировать штамп в паспорте — иначе в гостиницах спи с «женой» в разных номерах. А в двадцать три ноль-ноль: «отбой!» — никаких ресторанов, ночных клубов, баров и саун, посещений общаг, просмотра телепрограмм. Всем спать! «Не время, товарищи! Время классовых битв еще не прошло!»

Дебоширишь дома, выпиваешь, решил развестись? Погоди, дорогой, тебя заставят считаться с общественным мнением, и разберутся с тобой, вынеся соответствующий вердикт на заседании месткома или профкома. А если ты еще и член партии, то партком от души «высplet» — мало не покажется. Что-что? Авторитарно, недемократично? Зато действительно и даже в какой-то мере, черт возьми, естественно!

\* \* \*

И конечно же, по-над «всяя Русью Великой» колокольным звоном разливался метушийся и рвущий душу хриплый голос Володи Высоцкого... Это было поистине уникальное явление: Высоцким интересовались на всех этажах властной вертикали Страны Советов. Многие функционеры днем на работе «клеямили» самого народного артиста, а вечером дома с интересом его слушали. Слушали и восхищались.

Уникальность феномена Высоцкого заключалось еще и в следующем: на одной стороне — многотысячная армия «ратников» идеологического фронта из обкомов-райкомов, но им не верили. А на другой — Высоцкий, один-одинешенек (пардон, вдвоем с гитарой), ему же верили безоговорочно. Народ с упорством и упоением изыскивал в песнях Владимира Семеновича скрытый тайный подтекст. Искали и находили, каждый — свой. Никогда не прошу себе, что не пошел в свое время на его концерт. Мог пойти, но не соизволил: помешала какая-то житейская ерунда, казавшаяся на тот момент очень важной. Думал, ладно, жизнь впереди длинная — еще удастся послушать. Эх, всю жизнь бы потом хвастался: ребята, я слушал Высоцкого вживую!

В молодежной среде считалось престижным разбираться в популярных западных группах и исполнителях. Это было своего рода признаком хорошего тона, показателем твоего преуспеяния по жизни. Обсуждение новых модных альбомов и шлягеров происходило обычно с немного уставшим видом всезнающих специалистов. Напевать или просто цитировать тексты песен или на худой конец отдельные фразы из них на языке оригинала также приветствовалось. Но поскольку английский тогда преподавали на уровне «читаю и перевожу со словарем», чаще всего произносилось так же, как и слышалось, то есть почти полная абракадабра. Достать оригинальные слова было неоткуда, а безошибочно воспринять их на слух могли лишь единицы.

И не дай бог, если в приличной компании ты заикнешься, что тебе нравится творчество советской эстрады — всевозможные вокально-инструментальные ансамбли (ВИА), к примеру, «Голубые (или «Поющие») гитары», «Поющие сердца», «Лейся (или «Здравствуй»), песня», «Синяя птица», «Красные маки», «Веселые ребята», «Добры молодцы», «Орфей» и прочие. Минимум — насмешки, максимум — обструкция гарантированы тебе были железно. Конечно, песни наших ВИА звучали повсюду и в силу несомненного музыкального достоинства многих из них критично настроенной молодежью совсем уж не игнорировались. Имелось в виду другое: быть фанатом любой из этих групп считалось неприличным.

Хотя некоторые исключения допускались для «Песняров», «Цветов» (круче звучало «Группа Стаса Намина»), «Землян», «Аракса», «Самоцветов», Юрия Антонова, Александра Градского, Аллы Пугачевой, Софии Ротару, прибалтийских ансамблей и исполнителей. А уж если группа относилась к так называемому «андеграунду» («Машина времени», «Воскресенье», «Аквариум» и другие) — увлечение одобрялось: «фанатей», сколько влезет. Самое главное, чтоб официально не очень приветствовалось, а еще лучше — вовсе не одобрялось.

У советского «андеграунда» главным раздражителем для официальной ответственности служили тексты. А у западных музыкальных групп? Если «Пинк фloyd» хотя бы пели «Брежнев тук (по-английски «взял») Афганистан, Рейган тук Бейрут», то в текстах «Битлз», «АББА» или «Бони М» ни слова антисоветчины. Если не считать таковыми бонизмовские фразы «Хей-хей, Распутин, оу, ю, рашин — секс-машин» или «Оух, зоус рашинз...» И если средства на покупку лицензий для выпуска дисков Дина Рида, Джо Дассена, Мирей Матье, Тото Кутуньо, Джанни Моранди или оркестра Поля Мариа у государства все-таки находились, то вожделенные «Битлы», «Пинк фloyd», «Куины» или «Дип папл» (некоторые с понтом растягивали «пе-е-епл») — только на поганого качества, писанных-переписанных магнитофонных записях. Наличие фирменного винилового диска этих групп по значимости приравнивалось к владению книгой Булгакова или братьев Стругацких.

В результате сложилась преинтереснейшая ситуация: многие исполнители, которые критиковались или вообще игнорировались в молодом возрасте, нынче нами

же, полысевшими, поседевшими, потолстевшими, оказались востребованными! А их песни, некоторые из них вообще слушать считалось «западло», теперь воспринимаются нашим поколением с удовольствием! Звучание той, прежде «непрестижной, совковой», музыки зачастую усиливается еще и чисто ассоциативным восприятием, будучи накрепко связанным с нашей молодостью.

Нельзя также не упомянуть про расцвет интереса молодежи, особенно студенческой, к авторской песне, к бардам. Отношение к ним власть предержащих тоже было немного настороженным, поскольку никак не охватывались руководящим началом Ленинского комсомола. Авторская песня, звучащая в любительских Клубах самодеятельной песни (КСП), в студенческих общежитиях или у лесных костров, вызывала подозрения. Не потому что каэспэшники были сплошь диссидентами (к таковым, и то лишь частично, могу отнести только Александра Галича), а поскольку их репертуар не утверждался всевозможными уполномоченными властью худсоветами. Сами они, как правило, не являлись профессиональными авторами и исполнителями, точнее, не имели соответствующих «корочек», официально не состоя в Союзах композиторов или писателей. Мне понравилось очень точное определение авторской песни: «фольклор городской интеллигенции».

Окуджава, Визбор, Никитин, Городницкий, Ким, Суханов, Крупп, Дольский, Клячкин, Долина, Матвеева, Якушева, Берковский, Кукин, Турианский. Их песни светлы и чисты, грустны и ироничны, доступны и несложны. Они взывают к лучшим человеческим чувствам и учат любить родину. Но у всех один общий недостаток: я ни разу не слышал от самодеятельных авторов песен, славивших КПСС и Ленина.

И еще. Авторская песня была правдива, а правда во все времена — обоюдоострое оружие. Ежегодно летом тысячи любителей собирались на фестиваль самодеятельной песни имени Валерия Грушина под Самарой, пардон, под Куйбышевом. Но с 1980 года «Грушу», как в шутку кличут фестиваль каэспэшники, запретили. По слухам, каким-то функционерам не понравились некоторые песни предыдущей «Груши». В итоге, от греха подальше, был вынесен привычный незамысловатый вердикт: «Мероприятие закрыть». Проведение Грушинского фестиваля возобновилось только в перестроечные времена.

Изредка по первому каналу телевидения поздно вечером шла популярная у молодежи передача «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». В ней подробно знакомили с творчеством и новинками эстрадных исполнителей братских стран социализма: чеха Карела Готта, болгарки Лили Ивановой, польской группы «Червоны гитары», венгерских «Омеги» и «Локомотива ГТ», информировали о ходе эстрадных конкурсов в польском Сопоте или на болгарском «Златният Орфее». А в конце... в конце передачи, «на закуску», ставили какой-нибудь клип «АББА», «Бони М», «Би Джиз», а то и «Пинк фloyd», «Дип папл» или «Куин».

Знаете, когда программа этой передачи была наиболее насыщена и интересна? В пасхальную ночь! Нечего по церквям ходить! Уверен, полное игнорирование религии в качестве естественного союзника — однозначно крупное упущение идеологических бонз эпохи развитого социализма. Ведь многие заповеди и нравственные нормы что христианства, что ислама были срисованы почти под копирку в свод «Морального кодекса строителя коммунизма». Понимаю, что в период становления власти большевиков религия была враждебно к ним настроена. Понимаю, что Владимир Ильич еще раньше «приласкал» религию незабываемыми определениями, такими, как «вздых угнетенной твари» и «опиум народа» (почему-то все упорно произносили «опиум ДЛЯ народа»). Но ведь еще древние подметили: «Все течет, все изменяется». И в годину тяжких военных испытаний мудрый Иосиф Виссарионович осознал, каким огромным положительным духовным, созидательным потен-

циалом обладает религия, используя это во имя великой Победы. Так ведь нет же, упертый и недалекий Никита Сергеич во всеуслышание пообещал показать советскому народу «последнего попа». Слава богу, «надорвался», но по инерции религия еще десятилетия три всячески унижалась.

На уровне массового глубинного подсознания нередко намертво впечатывалось: критикуют, осуждают, а тем более запрещают — значит, круто; одобряют и тиражируют — значит, фуфло. Всеобщее недоверие, недосказанность порой выливались в навязчивое желание людей всюду искать некий подсмисл, скрытый там, где его зачастую не было вовсе. А эзопов язык тогда можно было смело признавать вторым государственным.

\* \* \*

Изучение теории «развитого социализма» продолжилось в студенчестве, причем с особой исторической спецификой. Казанский государственный, в прошлом императорский, университет — один из старейших вузов страны. Его имя связано со многими научно и исторически значимыми людьми. Это Зинин, Бутлеров, Флавицкий, Лесгафт, Бехтерев, Энгельгардт, отец и сын Арбузовы, Завойский, Лев Толстой, Аксаков, Джалиль и многие другие. Здесь Клаусом был открыт названный латинским именем России сорок первый химический элемент «Рутений». Основатель неевклидовой геометрии Николай Лобачевский более 20 лет служил ректором университета, и его, и только его имя обязан был носить наш университет.

Но университет носил имя вождя мирового пролетариата, «самого человеческого человека» — В. И. Ульянова-Ленина. Семнадцатилетний Володя Ульянов в год казни старшего брата — народовольца Александра, покушавшегося на царя, был без экзаменов зачислен на первый курс юрфака Казанского императорского университета. Добавить к этому, что пенсия его усопшего батюшки Ильи Николаевича, губернского инспектора учреждений народного образования, позволяла снимать немаленький двухэтажный дом в Казани и содержать большую осиротевшую семью.

Проучился молодой Володя Ульянов неполный семестр, потом подбил студентов на бузу, впоследствии названную исторической «сходкой», за что был исключен из университета. За это будущий «гений человечества» получил «страшное» наказание: был выслан под надзор полиции в родовое имение своей матушки — деревню Кокушкино, неподалеку от Казани. Изредка к нему приходил местный урядник, олицетворявший собой всю репрессивную машину царского самодержавия, и они-с соизволяли попивать чаек-с, беседуя за жизнь. К тому же Володе в уютной деревушке, в беседке, в тени деревьев, около речки никто не мешал изучать «Капитал» Маркса.

Факт кратковременной «засветки» Владимира Ильича в Казанском университете наложил мощнейший отпечаток на всю дальнейшую историю учебного заведения. О том, что нам выпала великая честь учиться в Ленинском университете, твердили кругом денно и нощно, особенно на первом курсе. Несложно догадаться, что и преподавание общественных дисциплин, призванных выработать марксистско-ленинское мировоззрение у студентов, было особым. А по предмету «Научный коммунизм» на биофаке вообще сдавался единственный государственный экзамен на пятом курсе. Именно на лекциях и семинарах по «научному» мы детально разбирались, «откуда есть пошел» развитой социализм.

Предваряли изучение вершины познания человечества — «Научного коммунизма» — другие общественные дисциплины: «История КПСС», «Марксистско-ленинская философия», «Политэкономия» и «Научный атеизм». Я давно подметил одну зако-



номерность: если научность предмета вызывает некоторые сомнения, это особо акцентируется в самом названии дисциплины, его изучающей.

Историк партии, без уточнения какой, поскольку их количество не могло быть больше одной, запомнился двумя перлами. Как при обсуждении перспектив мировой революции он, закатив глаза, мечтательно-сладостно выдохнул: «Эх, какими бы шагами зашагал мировой революционный процесс, если бы пролетариат США взял власть в своей стране!..» И ведь это говорилось не в шутку и не для прикола! Или как в конце 1979 года, на следующий день после обнародования решения партии и правительства об интернациональной помощи братскому афганскому народу в строительстве новой жизни и введения туда «ограниченного военного контингента», торжественный историк, в нарушение темы лекции, посвятил этому событию минут пятнадцать. Он пафосно поведал о том, что международный революционный процесс продолжается, и еще одно государство, вставшее на прогрессивный некапиталистический путь развития, — тому подтверждение, и что Советский Союз просто обязан помочь в этом своему южному соседу.

Как на это отреагировали мы, студенты, и вообще народ вокруг? Честно скажу — никак. Люди неопределенно пожимали плечами, мол, ввели войска — значит, так и надо. Мы привыкли к тому, что наша страна постоянно кому-то помогала и в борьбе за свободу, и в строительстве «новой жизни». Что ж, видимо, очередь дошла и до Афганистана (такое хлесткое и одновременно емкое по смыслу и символичности сокращение «Афган» появится немного позже). И никто пока не догадывался, к каким последствиям это приведет, что совсем скоро на долгие десять лет слово «Афган» станет настоящей страшилкой для всех матерей, имевших сыновей призывного возраста.

На смену истории КПСС пришла марксистско-ленинская философия. Разница между ней и просто философией как таковой есть, и весьма значительная — на то она и «марксистско-ленинская». В начале, когда шла классическая философия, было интересно: универсальные законы — отрицания отрицания, перехода количественных изменений в качественные и так далее. Но потом начался плавный загиб в сторону обоснования неизбежности победы коммунизма и уже знакомое по истории партии притягивание «за уши» всего внушительного здания мировой философской науки, начиная с Аристотеля и Сократа, к делу священной борьбы пролетариата за свое освобождение.

Курс политэкономии капитализма, как выяснилось позднее, оказался наиболее полезным, ибо начиная с 90-х годов я стал заниматься предпринимательской деятельностью. Теоретические познания про циклы производства — простого и расширенного, оборота капитала, товар — деньги — товар, учение о прибавочной стоимости всего лишь через десять с небольшим лет наполнились практическим смыслом. А «Капитал» Маркса я считаю самым дельным трудом из всего, что нам пришлось изучать. Там хотя бы все логично и понятно. Лекции по политэкономии читал забавный старичок, никогда не снимавший в помещении берета. Видно было, насколько он любил политэкономия капитализма и как равнодушно относился к политэкономии социализма. Даже оговорился как-то, что политэкономия социализма — это наука, которой вообще-то не существует. Правда, тут же исправился: она, мол, пока еще в стадии становления и развития (это на седьмом-то десятке лет «торжества» идей социализма!). Интересный кульбит! Зато на экзамене по «соцполитэку» ставил всем только хорошие и отличные оценки.

Неожиданно интересным оказался научный атеизм. Удалось многое узнать про мировые религии, ведь познавательной литературы, сжато излагающей суть и структуру основных вероисповеданий, тогда практически не было. И если бы не прохо-

дящая красной нитью через весь курс аксиома с общим смыслом «бога нет», то этот предмет можно было бы смело именовать «Основами религий».

И вот наконец подошло время «святая святых»: во втором семестре четвертого курса началось изучение научного коммунизма. И если доселе изучавшиеся общественные дисциплины все-таки имели предмет исследования, то каково было высокое предназначение «коммунизма», пусть даже «научного», я так и не понял. Какая-то умопомрачительная несусветная заумь, тавтология и набор заклинаний и намерений. «Попурри» из всего, что мы уже изучали, с добавлением новых умозаключений про совершенствование и развитие общенародного государства от стадии «диктатуры пролетариата» до высот «развитого социализма». Или про структуру лишенного антагонизмов бесклассового общества, состоящего из двух родственных классов трудящихся — пролетариата и колхозного крестьянства с прослойкой-интеллигенцией. Вновь пафосно зазвучали привычные декларации про ленинский университет как передовой край овладения марксистско-ленинским научным мировоззрением и про нас, «студентов-ленинцев», которые должны являть собой маяки для всей советской молодежи.

Я, кстати, так и не добился у преподавателей вразумительного ответа на вопрос: почему социализм называют «развитой», а не «развитый» или «развитый»? А на вопрос, почему социализм «развитым» считался только в Советском Союзе, а не, скажем, в «витрине социализма» ГДР, получил странный ответ. Как говорит Задорнов, готовы? Тогда слушайте: «Дело в том, что в СССР достигнут более высокий уровень развития отношений между производительными силами и производственными отношениями». Круто?

Но позвольте, уважаемый преподаватель! Ведь в ГДР, с лидером которой Эрихом Хонеккером дорогой Леонид Ильич, помнится, целовался в губы взапас, и порядка было побольше, и сытнее-богаче жизнь, чем в СССР! Об этом не только в один голос говорили все без исключения, побывавшие в Восточной Германии, но даже не отрицалось на одном из семинаров по «научному». Тогда логично предположить, что если мера оценки «развитости» идет от обратного, то «самый развитой» или, скажем так, «развитейший» социализм должен иметь место в Северной Корее? Ведь там и кушать особо нечего, и воистину «народ и партия едины»?

Правда, признаюсь, что в постановке вопроса в такой формулировке я стал храбрым только сейчас. Конечно, и тогда его вполне можно было бы задать — жив-здоров остался бы точно. Но я же был членом комитета комсомола, да еще заведовал агитсектором, а значит, сам должен был уметь отвечать на подобные вопросы. Могли также возникнуть сложности при сдаче госэкзамена, если бы я чересчур часто их задавал. Отсюда напрашивался закономерный вывод: извольте, товарищ студент ленинского университета, овладевать марксистско-ленинским мировоззрением, не задавая лишних вопросов! Все ясно?

Главная роль в построении коммунизма отводилась рабочему классу — «гегемону революции». Звучали какие-то совершенно абстрактные, фантастические положения и утверждения от имени некоего выхолощенного, безликого или, как сейчас говорят, виртуального существа по имени «Пролетариат». Мне все время хотелось с ним познакомиться и потолковать за жизнь, однако с отдельными встречавшимися его якобы представителями все время не везло.

Показательна одна история, произошедшая уже после моего отбытия по распределению. Расселили нас, молодых специалистов, в общежитии на койко-местах, как поначалу полагается. Общага была смешанной по социальному составу проживавших в ней работников. Слышу как-то краем уха: «Ну, ты че такой-то, а? Ты точно,

в натуре — гегель!» Это электрик Вован что-то недовольно высказывал корешу шоферу Коляну. Эта фраза настолько меня сразила, что я решил «обкашлять» ее при случае с Вованом. И такой случай представился.

— Слышь, Вован, а за что ты назвал Коляна «гегелем»?

— Да он, прикинь, в натуре, оборзел! Говорю ему как-то... — эмоционально начал Володя.

Однако мне было неинтересно, за что тот получил такое емкое определение, поэтому я прервал недовольного электрика.

— Володь, бог с ним, с Коляном! Откуда ты взял это слово «гегель»?

— Ну, откуда-откуда? Ну, «гегель», «гегемон»... — он прищурил один глаз. — Вы ж сами нас, работяг, так обзываете!

— Вова, когда это я обзывал тебя «гегемоном»?

— Ну не ты — другие!

— Володя, а вообще ты знаешь, что так говорил Ленин: «Рабочий класс — гегемон революции»? — я решил пододвинуть разговор ближе к интересовавшей меня теме.

Однако обсуждаемая тема Вовану не нравилась решительно.

— Слышь, Петро, ты че, в натуре, до меня докопался? Гегель, гегемон... Я, блин, просто знаю, что это — стремно, и все тут! Мы ваших ленинов не читаем, понял?!

Вот так вот. Одной фразой он мне все объяснил сполна. Не отнять и не прибавить. В самую точку: «Мы ваших ленинов не читаем...»

И вот госэкзамен по научному коммунизму настал! Вопрос в билете был такой: «Тенденции и направления осуществления ленинской национальной политики при развитом социализме». Хорош вопрос? Нет? Вы не правы: билет просто замечательный. На самом деле ответ на него умещался в одной-единственной фразе: «Тенденция заключается в следующем: дальнейшее всемерное развитие национальных культур при их одновременном взаимопроникновении и взаимообогащении под мудрым руководством КПСС». Все. Садитесь: «пять». Но это слишком упрощенно. Требовалось «налить воды», минимум — минут на пять-семь, максимум — на десять-пятнадцать, уж кто как умеет. А уж «лить воду» я умел: агитсектор как-никак.

Несмотря на усердное штудирование студентами всей этой мути, я тем не менее отмечу один удивительнейший факт: почти никто из моих сокурсников и вообще ровесников не может назвать две основные фундаментальные работы Ленина. Не пересказать содержание или привести какие-то цитаты из них, а всего-то — назвать. Ведь любой образованный человек выдаст, не задумываясь, главные произведения, скажем, Толстого, Достоевского, Шолохова или Булгакова. Даже старику Марксу в этом плане повезло почему-то больше, чем «дедушке» Ленину, ибо вопрошаемые мною бодро выдают: «Капитал»! А как же самый массово изданный за всю историю человечества, переведенный на все языки мира «литератор», как сам себя именовал Владимир Ильич? А вот так! Получается, все затраты учебного времени были потрачены на изучение общественных дисциплин практически впустую.

\* \* \*

Система высшего образования в ту пору была насквозь идеологизирована. Если хочешь преподавать или просто работать в вузе, требовалось доказать верность системе, поучаствовать в комсомольской работе, выступить на собраниях, принимать личные комплексные планы, проходить Ленинские проверки, сдавать Ленинские

зачеты. Не случайно еще на первом курсе наш незабвенный историк партии регулярно повторял на семинарах: «Не хотите овладеть научным марксистско-ленинским мировоззрением — не место вам в рядах советских ученых!»

Ну а хочешь расти, возглавить кафедру, а тем более факультет — изволь состоять в рядах КПСС. Стать доктором наук без партбилета тоже было весьма затруднительно. Но вступить в партию представителю не имеющей четкой классовой ориентации «прослойки» было ох как непросто, хоть на завод к станку топай! И как смычка двух составляющих системы на местах — партийно-хозяйственный актив, сокращенно, «партхозактив» или ПХА.

Но чтобы наверняка попасть в настоящую обойму, гарантирующую превращение из функционера общественного в элиту общества — функционера номенклатурного, необходимо было стать членом университетского, или, как мы его называли, «большого» комитета комсомола. «Большие комитетчики» всегда ходили в костюмно-галстучной униформе и слыли подчеркнуто принципиальными и бескомпромиссными комсомольцами — к этому обязывало их положение, необходимость подачи личного примера всей остальной «комсе». Время от времени ими устраивались «публичные порки». Например, за одну-единственную, совершенно невинную, на мой взгляд, фразу («студенты едут в стройотряды, чтобы в первую очередь заработать») был немедленно исключен из комсомола один из командиров стройотряда. Это, помнится, вызвало недоумение многих студентов: командиром тот был сильным, просто, увлекшись спором на одном из заседаний «большого» комитета, не «профильтровал свой базар» в нужном месте.

Попутно вспомнил градацию взысканий по нарастанию строгости наказания: поставить на вид, объявить выговор, строгий выговор, выговор «с занесением», строгий выговор «с занесением». «С занесением» — в личное дело комсомольца: система учитывала все. И как «высшая мера» — исключение из рядов ВЛКСМ. После этого вполне можно было и из университета вылететь. Нетрудно заметить, что пострадавший некогда на заседании «большого» комитета командир стройотряда одним махом проскочил по всей лесенке наказаний всего за одну крамольную, по мнению комсомольских вожаков, фразу про истинный стимул студентов работать в стройотрядах.

Окончив университет, некоторые секретари университетского комитета комсомола становились уже секретарями райкомов, а то и горкома комсомола, осуществляя желанный переход в стройные ряды партийной номенклатуры. А дальше уж как кривая тернистой партийной карьеры вывезет. Взлетишь — не взлетишь зависело от очень многих факторов. Главным было понять и принять немаловажный факт: комитет комсомола ленинского университета — потенциальный трамплин в серьезную карьеру.

Структура и «большого», и «малых» (факультетских) комитетов комсомола была одинаковой. Возглавляемый мною сектор агитации и пропаганды вместе с культурно-массовым и военно-патриотическим организационно входил в состав главного сектора — идеологического. Многочисленная армия политинформаторов учебных групп курировалась нами, факультетскими агитсекторами. Я ежегодно проводил конкурсы политинформаторов, их победители соревновались далее уже на университетском уровне.

Интересными общественными структурами комсомола были БКД — «боевая комсомольская дружина» — и ОКОД имени Дзержинского — «оперативный комсомольский отряд дружинников», или, по-иному, «юные дзержинцы». Чем они отличались друг от друга, уже и не припомню. Эдакие немного военизированные формирования из комсомольцев на добровольной основе, призванные помогать милиции в патрулировании улиц, в проведении массовых мероприятий, в работе с не-

дисциплинированной молодежью. Многие активисты БКД и ОКОД впоследствии сделали карьеру в рядах МВД и даже КГБ. Но не путать с ДНД — «добровольной народной дружиной», куда нас «гоняли» на дежурства, как и в колхозы, в добровольно-принудительном порядке. Несознательные студенты-уклонисты от ДНД могли даже лишиться стипендии — за этим зорко бдил главный дээндэшник факультета, тоже из студентов. Кстати, некоторые шли в БКД и ОКОД специально, чтоб иметь возможность заниматься каратэ, официально запрещенным в те годы видом спорта, но разрешенным для силовых комсомольских структур.

Однако не все было настолько жестко структурировано и заорганизовано. Существовали и абсолютно добровольные, самоорганизующиеся неформальные объединения советской студенческой молодежи, никак не связанные со всеохватывающей деятельностью Ленинского комсомола. Это и туристические клубы, и упоминавшиеся выше клубы самодеятельной песни, и другие объединения по интересам. К чести комсомольских организаций, они, как правило не ставили задачу подчинения, контроля и, как следствие, ограничения этих движений некими рамками. Но при одном неременном условии: никакого идеологического вольнодумства! Иначе — немедленный запрет, как в случае с Грушинским фестивалем самодеятельной песни.

Особенно ярко энтузиазм и подвижничество студентов биофака выражались в деятельности университетской дружины «Служба охраны природы», сокращенно «СОП». В дружине работали студенты и других факультетов университета. Одной из основных задач этой службы, помимо научно-просветительской деятельности, была оперативная работа против браконьерства: всевозможные рейды, акции, проведение различных операций. Например, «Нерест» или «Ель» (борьба с незаконными вырубками елок в преддверии новогодних праздников).

Получить почетное звание члена дружины СОП мог не каждый — проводился конкурс. Кандидаты, как правило первокурсники, проходили отбор. На самом первом испытательном рейде обычно устраивался спектакль: роль «подсадных уток» — браконьеров — исполняли сами соповцы, однако испытуемые об этом не догадывались. Но и с настоящими браконьерами соповцы умели работать. Они, как и чекисты Железного Феликса, должны были иметь горячее сердце и холодную голову. Фирменный стиль поведения соповца — серьезность и целеустремленность. О результатах их рейдов информировала стенгазета «Вестник СОП», вывешиваемая на факультете. Материал сопровождался фотографиями и часто излагался в шутливой форме. Например, рассказ об очередной встрече с браконьерами-рыбаками. Надпись «Разговоры, пересуды...» сопровождается фото: встреча с браконьерами и первый словесный контакт с ними. Далее «Сердце к сердцу тянется...» — фото: динамичная схватка с не желающими подчиняться правилам рыбной ловли. «Разговоры стихнут вскоре...» — фото: утихомиранные нарушители сидят на земле. «Протокол останется!» — фото: вручение протокола усмиренным браконьерам на фоне изъятых у них незаконных орудий промысла.

Со временем движение студенческих дружин охраны природы получило широкое распространение по всей стране, охватив многие вузы, его важность и актуальность были очевидны. Мы, члены комитета комсомола, уважали соповцев, тогда как они нас — нет, считая карьеристами, дескать, формалисты, трепачи, всё делаете «для галочки». Я, помнится, кипятился, пытался им что-то аргументированно возразить, но в глубине души осознавал: крыть-то особо нечем. Слишком хорошо знал равнодушие подавляющего числа обычных комсомольцев, которое было просто смешно сравнивать с настроем и боевым духом соповцев, готовых жертвовать собой ради благородной идеи. Ведь браконьеры — народ суровый, не робкого десятка, поэтому конфликты иногда случались очень серьезные. Но, слава богу, наших

дружинников, по крайней мере, пока я учился, пронесило мимо самых негативных сценариев развития событий.

При всей строгости, упорядоченности и политизированности системы, обилии всевозможных предписаний и ограничений подавления личности все же не происходило. Система довлекла, но не ломала, пространства для относительно свободного развития и саморазвития хватало вполне. Нужно было лишь правильно подобрать «нужную позу».

Показательна в этом плане еще одна история про моего приятеля — студента из ГДР Нильса Дебуса. Познакомился я с ним, когда по заданию комитета комсомола интервьюировал первокурсников-иностранцев для факультетской стенгазеты «Бигль». Тогда на биофаке были две маленькие иностранные «общины» — немецкая и северокорейская. Посланцы Страны утренней свежести, с детства затюканные учением чучхе — детищем великого вождя и учителя Ким Ир Сена, вели замкнутый, почти сектантский образ жизни. Немцы были намного более открыты. Мне все хотелось вызвать Нильса на откровенность, но он отвечал подчеркнуто корректно. И только в самом конце общения взял паузу, вздохнул, немного сморщил лоб и, кашлянув, дипломатично сказал: «Думаю, я еще привыкну, освоюсь».

В общем-то, было ясно, что он имел в виду. Но, знаете, за пять лет учебы Нильс не только полностью освоился, но и почти натурализовался, чего достичь без внутренней предрасположенности к этому невозможно. Он стал в доску своим, увлекся самодельной авторской песней, спортивным туризмом, побывав благодаря этому во многих местах нашей страны. Нильс сумел прочувствовать и оценить глубину души и искренность наших людей, не заикливаясь на внешней окружающей картинке и не делая из нее далеко идущих выводов. Научился, как говорится, «отделять зерна от плевел», философски отсекая негатив, нередко выплывающий в различных ситуациях.

Он научился ставить духовное выше материального, читать между строк и видеть «за кадром», отрешаться от официальной трескотни и ценить то сокровенно-трепетное и глубоко затаенное в душах подавляющего большинства людей, что создавало истинную общность и духовность советского народа. Именно то, что помогало нам все правильно понимать, не унывать и радоваться жизни. Нильсу удалось, верно подобрав нужный камертон, получить настоящее наслаждение от общего позитивного звучания того времени, столь зачастую незаслуженно сегодня критикуемого.

Добавить к этому дух студенческого братства, особенно зримо проявляемого в общужитиях, радость юношеских взаимоотношений, отличающихся искренностью и романтизмом... Всегда было приятно, когда Дебус встречал меня и, широко улыбаясь, приветствовал неизменной «ловлей краба»: «Питег, здогово!», демонстрируя свой неистребимый берлинский акцент.

Позже мне рассказывали, что, окончив университет и вернувшись домой, Нильс все отпуска проводил только в СССР, как правило, в походах, заранее списавшись с друзьями и совместив сроки отпусков. Вздыхая, он не раз говорил: «В Германии невозможно представить себе такие отношения между людьми, немцы держат друг друга на расстоянии и в душу к себе не пускают никого».

Безусловно, единое интеллектуально-духовное пространство создает общую ментальность. Самое парадоксальное — и Нильс не скрывал этого — вернувшись в Германию, он отчетливо почувствовал, что его родина стала ему несколько чуждой именно ментально. И чем больше проходило времени с момента возвращения, тем острее становилось новое чувство. Как ни банально прозвучит, Нильс, наверное, постиг смысл тютчевской цитаты «Умом Россию не понять...». Скажу больше, подобное понимание, пусть даже частичное, приводит любого иностранца, а Дебус,

к счастью, в этом не исключение, к тому, что человек навсегда утрачивает двухцветное восприятие окружающего мира. Ведь не всегда «грязно» там, где грязь, как и далеко не всегда «чисто», когда кругом чистота. И я не удивлюсь, если узнаю, что Нильс сейчас живет в России, учитывая, что восточным немцам с советскими дипломами ой как несладко в нынешней объединенной, такой правильной, такой демократичной Германии...

В целом же для нас, студентов, она, система-матушка, была не самой плохой: выплачивала относительно приличные стипендии, обеспечивала иногородних бесплатными общежитиями и гарантировала трудоустройство по специальности. Никто не платил за учебный процесс, абсолютно все были, как сейчас говорят, бюджетниками. Никто не башлял экзаменаторов, не учился «заочно» на очной форме обучения. И никто из студентов не приезжал на занятия на личном авто, тем паче в сопровождении охраны.

Единственное, что мне не нравилось в ней, — обилие добровольно-принудительных повинностей и жесткая смычка между образованием и классовой идеологией. Поэтому не сомневаюсь, сегодня все согласится с непреложной истиной: наука и высшее образование должны быть беспартийными.

\* \* \*

Коммунистов постоянно держала в мучительном напряжении какая-то необъяснимая опаска, что вдруг советские люди станут богатыми сверх некоего уровня, достигнув который они перестанут «строить коммунизм» и стремиться к его «светлым идеалам». Слово «зажиточный» воспринималось властью однозначно негативно. Зажиточный — значит потенциальный противник. А уж «частный собственник» — однозначно враг! Враг системы. И лучше свою зажиточность, если она имела место, не демонстрировать. Партийные вожди и главные идеологи системы были одержимы каким-то маниакальным стремлением к достижению обществом некоего непонятого неопределенного состояния: «От каждого по способности, каждому — по потребности». Вот скажите на милость: как определить уровень потребности и кто его сможет определить? Его, пардон, можно только навязать.

Но знаете, друзья, несмотря на вышеописанные «чудеса», на обилие добровольно-принудительных повинностей, равнодушие и насмешки людей над «перлами» официальной пропаганды, невзирая на многие выдуманные властями условности и неистребимую тягу к «запретительству», все же вынужден признать подлинную народность правившей в те годы партии. Люди в массе своей не относились к ней как к какому-то чужеродному явлению, а коммунистов, несмотря ни на что, воспринимали своими, родными.

Конечно, огромную роль сыграло то, что все власть предержащие мужи (женщин во власти были единицы) в свое время, как пелось, «вышли из народа, дети семьи трудовой». Некоторые из них даже проливали кровь на фронтах Великой Отечественной. Но немаловажным мне представляется и тот факт, что миллионы рядовых коммунистов сплошь и рядом жили среди простого народа и по большому счету никакими привилегиями и льготами не пользовались. Так же «отбывали повинность» в очередях и «сражались» за «диффсыт», так же принимали позу буквы «зю» в общественном транспорте и стояли раком в своих садах-огородах. Были, как говорится, плотью от плоти своего народа. Мой папа тоже состоял в рядах КПСС.

Не могу избавиться от какого-то неясного, глубинного внутреннего сущностного ощущения о более справедливом устройстве тогдашнего общества. Жили мы в це-

лом неплохо: работали, никто не голодал и не мерз, все были одеты-обуты (главное, чтоб «не промокало» и «не жало»). Проживали пусть в скромненьких, но квартирах в серых кондовых домах, лишенных архитектурных изысков и излишеств. Бомжей (не путать с бичами и цыганами!) на улицах городов практически не наблюдалось. Многие решалось власть предрержащими чиновниками вполне по совести, а деньги весили не столь внушительно, как сейчас. Связи? Связи — да, ценились, но они, пардон, ценились во все времена. Ну а преодоление трудностей жития и бытия, воспевание стойкости и непреклонности в борьбе с ними являлись частью государственной идеологии.

Не отрицая в целом единства народа и партии, в то же время не могу забыть, как гаишники останавливали движение по Оренбургскому тракту, сгоняя все машины к обочинам. Как томительно длилось ожидание, пока по опустевшей дороге на огромной скорости в направлении «обкомовских» дач не пронесутся черные правительственные лимузины (кстати, отечественного производства). Народ тогда много недоволен бухтел и про бюрократизм, и про эти пресловутые дачи, и про «обкомовские» больницы, и про закрытые «спецраспределители» (по магазинам власть предрержащий люд не ходил). Позднее, в пору перестройки, кое-кому даже удалось ненадолго «взбежать» на политический олимп страны под знаком борьбы с привилегиями «партноменклатуры».

Но глядя на сегодняшние рублевские замки и яхты на Лазурном берегу, честное слово, осознаешь скромные, по нынешним меркам, запросы той самой охаянной партноменклатуры. Ведь набор их тогдашних спецпайков сегодня на выбор в любом гипермаркете, а средняя «обкомовская» дача отличается от поместий отечественных олигархов, как наша двухкомнатная «хрущевка» на Танкодроме от «квартирки» бывшей главы «Оборонсервиса» Васильевой.

Осознавался ли власть предрержащей партией тот несомненный вред, который наносился святому делу «строительства коммунизма» всеми теми негативными фактами и явлениями, о которых я веду речь? Безусловно! Ведь, помню, даже сам дорогой Леонид Ильич называл их «болячками», причем не где-нибудь, а на святой святых — съезде КПСС. Листая старые номера сатирических журналов, республиканского «Чаяна» или общесоюзного «Крокодила», вижу, что большинство фельетонов и карикатур постоянно высмеивали проблемы «диффсыта», блата, несовершенства сферы услуг и коммунального хозяйства.

Да, высмеивалось и критиковалось. Да, заострялось и анализировалось. Делались выводы, после чего выходили постановления, подобные принятию приснопамятной Продовольственной программы. То есть понимание вроде как было. Но и только. Честное слово, у меня до сих пор не укладывается в голове, с одной стороны, хроническая неспособность разрешения этих проблем, а с другой — освоение космоса, покорение атома, строительство каналов в пустыне и городов в тайге, создание самой мощной армии в мире, успешное функционирование государственных систем бесплатной медицины, среднего специального и высшего образования. Упорное неумение (или нежелание?) за великим не видеть частного.

Вся промышленность, по выпускаемой ею продукции, делилась на две категории: «А» и «Б». В первую, «А», входили тяжелая промышленность, машиностроение, производство средств производства. И мы до сих пор по праву гордимся советскими синхроциклотронными ускорителями и орбитальными космическими станциями, шагающими экскаваторами, уникальными экранопланами и атомными ледоколами. Небесные просторы страны бороздили самолеты тоже исключительно отечественного производства (чехословацкие Л-410 — не в счет). Да и по дорогам колесили только наши, в крайнем случае сэвовские авто. Но вот продукция отраслей промыш-



ленности группы «Б» снисходительно именовалась «ширпотребом» и считалась второсортной. В результате, как патетически декламировал напарнику Шурика Феде прораб «Пуговкин» из гайдаевской кинокомедии «Операции „Ы“», выходило так, что «в то время, когда наши космические корабли бороздят просторы вселенной», туалетная бумага была в большом дефиците. Каким непостижимым образом подобное могло сосуществовать?

Широко известна цитата Черчилля, правда посвященная Сталину (а в его лице и всей державе): «Он принял страну с деревянной сохой, а оставил с атомной бомбой». Логически смысл фразы воспринимается таким образом, что одно должно априори исключать другое. Однако парадокс заключался в том, что при всех величественных достижениях социалистического строя пресловутая «деревянная соха» ведь никуда не делась! Она лишь малость видоизменилась, приняв вид, к примеру, лопаты для копки картофеля силами студентов и «товарищей ученых, доцентов с кандидатами» или секатора для заготовки ими же веточного корма в «едином патриотическом порыве» оказать «шефскую помощь» селу.

Но можно попытаться взглянуть философски. И вот ведь что приходит на ум: а не являлось ли то причудливо сочетавшееся несочетаемое тем мощнейшим внутренним источником развития, о котором гласит закон единства и борьбы противоположностей? Ибо не мною открыто, что именно «противоречие есть корень всякого движения». И под гладью и тиной «застоя», над которым вволю поиздевались и потешились перестроечные и постперестроечные критиканы, возможно, накапливались и вызревали колоссальные внутренние силы для самосовершенствования системы. Той самой системы, что, увы, не смогла (или не успела) полностью раскрыть свой потенциал. Той самой системы, что в конечном итоге безвозвратно канула в Лету. «Штрафные баллы» системы-матушки, которые она зачастую набирала себе буквально «на ровном месте», копились-копились, в итоге экзамен по «вождению» оказался проваленным, потому и «наш рулевой» сменился.

И потом, что бы мне ни говорили, но чтобы себя хорошо зарекомендовать и продвинуться во власть, в те времена нужно было много чего сделать. Успешно отучиться, ударно поработать, проявить активность — словом, стараться, совершать что-то полезное для общества, для людей. Пусть даже в рамках существовавшей идеологической парадигмы. Но она, идеология, не обслуживала интересы какого-либо этноса или конфессии, а, несмотря на свое изначально классовое происхождение, со временем все больше и больше стремилась просто воспитывать в людях советский патриотизм. «Для себя — тлеть, для семьи — гореть, для Родины — светиться» — таков тогда был еще один популярный лозунг.

Система, развиваясь диалектически, жила по своим законам. Кстати, не хочу придавать понятию «партийный номенклатурный функционер» какой-то негативный одиозный смысл. Это просто профессиональный чиновник, управленец, хозяйственник. Благодаря системе многие нашли в себе призвание и талант руководителей. Справедливости ради, партия давала возможность «поругать» на разных уровнях всем желающим, причем с детства. «Социальные лифты» наверх работали тогда бесперебойно, а кумовства и семейных кланов во власти было на порядок меньше, чем сейчас. Старайся только и не иди против генеральной линии партии. И многие, очень многие страстно жаждали стать частью системы, мгновенно схватывая принятые в то время правила игры. Хотя и далеко не все: людей безучастных, равнодушно относящихся и даже критически настроенных хватало. Однако большинство населения по умолчанию как бы со всем соглашалось, кое в чем принимало участие, выглядя вполне лояльными системе. Другой тогда не было и не просма-

тривалось даже в отдаленной перспективе. Любая система должна уметь не только себя сохранить, но и воспроизвести. Но вот, увы, не получилось...

Левые идеи нынче снова в моде. Сейчас популярно порассуждать о социальной ответственности бизнеса, о социальной направленности государственной политики. Но — и тут проходит водораздел — стану настаивать: левые и коммунистические идеи — совсем не одно и то же!

А насчет «все для блага человека»... Конечно, тогда, проезжая мимо этого лозунга в переполненном троллейбусе в позе буквы «зю», с ведерком ягод в зубах, менее всего думалось о том, что это и есть то самое «благо», для которого сделано «все». Но пресловутое «благо» — понятие относительное, ибо общеизвестно: «Не все то золото, что блестит». А что если попытаться еще разок глянуть на этот вопрос сквозь призму закона единства и борьбы противоположностей? И знаете ли, друзья, занятная картинка получается! Преодоление трудностей жизни приносило несомненную пользу. Потому как советский народ был воспитан выносливым и работающим, подтянутым и неприхотливым, рукастым и изобретательным, сметливым и неунывающим. С таким народом, извините, не только поднимать целину, «делать ракеты и перекрывать Енисей», но и в войне мировой победить удавалось. И если, в философском смысле, это не есть благо (без кавычек), то тогда что? Как говорится, «что имеем, не храним...»

Да-а... Признаться, интересная была та в целом позитивная и целеустремленная в будущее страна — Советский Союз. Страна хоть и одной партии, но социальной справедливости. Страна удивительных парадоксов и уникальных противоречий. Страна, которая с течением времени все больше и больше превращается в легенду. Страна, которая по-прежнему живет внутри меня. И почему-то приходит на ум строка из песни: «Отпустить меня не хочет Родина моя...»

# «ПРОЩАЛЬНЫЕ ПЕСНИ» НИКОЛАЯ РУБЦОВА И «ПОВЕСТИ ПРОЩАНИЯ» ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА

## 1.

В январе прошлого года исполнилось **80 лет** со дня рождения поэта Николая Михайловича Рубцова (1936–1971), а в марте этого года — прозаика Валентина Григорьевича Распутина (1937–2015), моих любимых и соразмерных по таланту, истинно русских художников слова в литературе нашего времени, сохранивших в своем творчестве живое чувство великих традиций русской классики (прежде всего Пушкина, Тютчева и Есенина — в поэзии, Толстого и Достоевского — в прозе), ее христианских ценностей и идеалов. Радостно и легко и в то же время очень трудно и ответственно писать о любимом, постоянно присутствующем во внутренней жизни, трудно потому, что необходимо сказать свое, личностное и **живое** слово, за которое потом не было бы стыдно перед требовательным и мыслящим современным читателем, не прощающим суесловия и хлестаковского легкомыслия (вспомним Тютчева: «*Не дай мне духу празднословья...*»); трудно и потому, что, как замечает Распутин, «в наше время атрофированных слов и чувств тем более важно отыскать такие слова и чувства, которые были бы услышаны душой и сердцем»<sup>1</sup>. А это значит самому услышать, прочувствовать, осмыслить то живое и очищающее **Слово**, «золотое слово», выражающее и великую любовь к России, и, как у Достоевского, «гениальную боль за Россию» (Н. Бердяев), услышать то, может быть, спасительное **Слово** для многих заблудившихся душ, не знающих, куда идти, и впадающих в «обычное русское механическое существование «под горку», кончающееся ожесточением или духовным омертвлением»<sup>2</sup>, услышать художественное **Слово**, которое и в стихах Рубцова, и в прозе Распутина звучит как колокольный звон, как исповедь совестливой души и воплощает глубокие духовные интуиции.

---

Вячеслав Иванович Влащенко — литературовед, методист. Автор трех книг («Проблема литературной преемственности на уроках внеклассного чтения в старших классах» (Л., 1988); «Уроки литературы в выпускном классе» (в соавторстве с Г. Н. Иониным; СПб., 2009); «Современное прочтение романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» (СПб., 2014) и более 120 публикаций о русской литературе XIX–XX веков в сборниках трудов ИМЛИ («Московский пушкинист». Вып. V, 1998; Вып. X, 2002; Вып. XII, 2009), ИРЛИ (Пушкинский Дом), СПбГУ, РГПУ им. А. И. Герцена; в журналах: «Social Sciences» (2015, № 2), «Вопросы литературы» (1998, № 6; 2004, № 4; 2014, № 6); «Нева» (2005, №12; 2014, № 10; 2016, № 3, 4); «Литература в школе», «Русская словесность», «Литература», «Начальная школа».

<sup>1</sup> Распутин В. Г. В поисках берега: Повесть, очерки, статьи, выступления, эссе. Иркутск, 2007. С. 479.

<sup>2</sup> Курбатов В. Я. Долги наши. Валентин Распутин: чтение сквозь годы. Иркутск, 2007. С. 52.

Духовное родство этих русских художников слова — вологодского поэта, певца северной природы, «русского Орфея» (В. Михальский), и иркутского прозаика, изобразителя сибирской природы, — подкреплено и общим северным происхождением их далеких предков. Распутин в очерке «Откуда есть-пошли мои книги» (1997) рассказывает: «Наши места были заселены в самом начале 18-го столетия выходцами с Русского Севера. Самые распространенные фамилии — Вологжины и Пинегины, бабушка тоже из Вологжиных. Моя фамилия из мурманских краев (другой ветвью из архангельских) и разрослась по Ангаре густо...»<sup>3</sup>

На протяжении многих внутренне светлых и осмысленных для меня, но очень напряженных лет работы в школе, а затем и в педагогическом университете пытливые школьники и студенты неоднократно спрашивали на уроках литературы и на лекциях: есть ли простые, но объективные критерии для оценки художественного произведения, как отличить подлинное в литературе от бездуховного, красивой подделки, настоящее (очень редкое, глубокое) от ложного, истинное от искусной имитации, живое от «мертвечины», от неизбежно обреченного на быстрое забвение?

И я неизменно отвечал примерно так. Подлинной поэзией являются те стихотворения, которые погружают читателя в глубокое душевное состояние и которыми можно жить хотя бы несколько дней, повторяя их по многу раз, без усталости читая с разной интонацией и меняя систему смысловых акцентов и ритм звучания, медленно или быстрее, тихо или громче, вслушиваясь в рождающуюся музыку стиха и проникая в глубинный и таинственный смысл слов и поэтических образов. Подлинные стихи можно повторять бесконечно, ибо они открывают красоту звучащего слова, божественную красоту природы и человека, вызывают в глубине души «чувства добрые» (любовь к другим и милосердие, жалость и сострадание) и пробуждают «духовную жажду» (жажду правды, истины, веры, жажду поиска для себя высшего смысла и цели жизни), рожают веру в чудо и становятся не просто литературой, но тем чистым, благотворным и спасительным воздухом, без которого уже «жить нельзя» (Л. Толстой). Настоящая поэзия прорастает через душу, полнит дух и излучает свет любви, надежды и веры.

Самым простым критерием подлинности прозаического произведения является желание читателя многократно перечитывать его, открывая в нем все новые и новые грани и тайные смыслы на иерархически разных уровнях прочтения: социальном, психологическом, нравственном, философском, духовном, — прозревая новое в понимании самого себя и других людей, что помогает необходимому росту собственной души и неустанному поиску спасительных ответов на самые главные и тревожные вопросы человеческого бытия.

Именно такой безусловной подлинностью и отличаются лучшие произведения прозаика Валентина Распутина и чарующего поэта Николая Рубцова, любимые стихи которого, спасающие от уныния и помогающие обрести душевное успокоение, как поэтические молитвы, я снова и снова повторял долгими осенними и зимними вечерами и ночами, когда в 70-е годы, будучи студентом заочного отделения филфака ЛГУ, работал лесником, сторожем, кочегаром, техником-смотрителем на маяке, на берегу Финского залива, рамщиком на пилораме в поселке Листвянка на Байкале. В то советское, атеистическое время для многих людей литература в определенной степени заменяла религию, а стихи — молитвы. Повторял магические стихи, пронизанные любовью и нежностью и звучащие как «печальная музыка», музыка тихая и простая, «легким дыханием» входящая в душу читателя. Читая такие стихи, мгновенно вызывающие эмоциональную и духовную реакцию, невольно оказываешься в каком-то глубоком, почти молитвенном состоянии. О таких стихах великий

<sup>3</sup> Распутин В. Г. Указ. соч. С. 503.

русский композитор Г. Свиридов (1915—1998) в одной из своих «тетрадей» написал так: «Бывают слова изумительной красоты (например, Рубцов) — они сами музыка»<sup>4</sup>.

В наше время, в эпоху «духовной мутации» (В. Распутин), время «распада всего мира эстетики, где все перепутано — безумное с сатаническим, с ложным, с фальшивым, с нарочито безобразным, с растленным» (В. Гладиллин), когда истинной культуре грозит перерождение в антикультуру и «натуралистическая парадигма неоязычества — парадигма тела — вытесняет христианскую парадигму духа» (А. Панарин), в наше поистине трагическое время особое место в сознании русского читателя, совестливо, ответственно и тревожно думающего о прошлом, настоящем и будущем России, занимают поэзия Николая Рубцова и проза Валентина Распутина, писателей, достойно и осознанно продолжающих традиции русской классики в главном — в нравственно-духовных поисках **истины** о мире и человеке, в стремлении утверждать высшие, **христианские ценности** и заповедные начала.

Как справедливо отмечает архиепископ Вологодский и Великоустюжский Максимилиан, «классическая русская литература вся построена на православных ценностях, ей свойственно христианское мировосприятие и мироощущение. И потому любой писатель, чье творчество продолжает традиции великой русской литературы, является православным по сути, даже если он не был церковным человеком»<sup>5</sup>.

Какая удивительная и редкая для нашего времени чистота, целомудрие, искренность и глубина чувства выражены в таких простых, безыскусных поэтических образах Николая Рубцова:

Ветер всхлипывал, словно дитя,  
За углом потемневшего дома.  
На широком дворе, шелестя,  
По земле разлеталась солома...

Мы с тобой не играли в любовь,  
Мы не знали такого искусства,  
Просто мы у поленницы дров  
Целовались от странного чувства.

Разве можно расстаться шутя,  
Если так одиноко у дома,  
Где лишь плачущий ветер-дитя  
Да поленница дров и солома,

Если так потемнели холмы,  
И скрипят, не смолкая, ворота,  
И дыхание близкой зимы  
Все слышней с ледяного болота.

Подобно тому как Сергей Есенин, поэт, наделенный «певучим даром славянской души» (А. Толстой), своими поздними стихами в 20-е годы прошлого века оплакивает погибающую, навсегда уходящую в прошлое крестьянскую Русь, патриархальную деревню, так в 60-е годы Николай Рубцов, «поэт бездомной России, бездомной судьбы» (А. Шорохов), душа которого хранила *«всю красоту былых времен»*, свои-

<sup>4</sup> Свиридов Г. В. Музыка как судьба. М., 2002. С. 122.

<sup>5</sup> Н. М. Рубцов и православие. М., 2009. С. 15.

ми стихами смог пропеть об уже ушедшей Руси и «небесными звуками» выразить «рыданье» и «улетающий плач журавлей», когда «сиротеют душа и природа». Так в 70-е годы Валентин Распутин, один из самых ярких представителей «деревенской прозы», ставшей предсмертной песнью русского крестьянства, «последней великой русской литературной школы» (В. Курбатов), повестями «**Последний срок**» (1970) и «**Прощание с Матёрой**» (1976) прощается со старой деревней и крестьянским укладом и в значительной степени закрывает главную тему этой прозы — тему гибели традиционной жизни русского крестьянства, патриархальной цивилизации, причем эта гибель переживается писателем и как историческая, и как личная драма, как одна из главных катастроф XX века. По словам В. Курбатова, «он простился не с веком даже, а с тысячелетием»<sup>6</sup>, «потом было только развитие «темы», договаривание...»<sup>7</sup>

«**Прощальные песни**» Рубцова, несущие читателю «свет русской классики, свет дара Божьего» (Д. Шеваров), и «**повести прощания**» Распутина, приобретающие апокалипсический смысл, занимают достойное место в русской литературе второй половины XX века и продолжают жить в XXI веке, открывающем третье тысячелетие христианской эры. Именно поэзия Рубцова и проза Распутина, вырастающие из почвы и несущие главное, глубинное, духовное, позволяют сохранить в современной литературе представление народа о себе, сохранить глубину его самосознания и память о патриархальном мире.

Сегодня можно говорить о **трагической** судьбе Рубцова-человека, жизнь которого так нелепо оборвалась в возрасте 35 лет<sup>8</sup> (его личная трагедия связана с «вечной» проблемой русского человека — проблемой «пития»), и о **счастливой** судьбе Рубцова-поэта, стихи которого продолжают жить, оказавшись в «поле вечности» и став частью русской классики; можно говорить и о **драматической** судьбе Распутина, прожившего 78 лет, но написавшего свои вершинные произведения в возрасте от 30 до 40 лет: повести «Последний срок», «Живи и помни» (1974), «Прощание с Матёрой». Драматичен путь и Распутина-человека, включившегося в политическую борьбу и ставшего частью конкретной «партии», и Распутина-писателя, редкий художественный дар которого постепенно и неуклонно угасал.

Современный прозаик В. Михальский, в одно время учившийся вместе с Николаем Рубцовым в Литературном институте, в 1976 году написал о нем «изящную лиро-философскую миниатюру» (Ю. Павлов), которую назвал «Орфей» и в которой создал вызывающий доверие у читателей трогательный портрет поэта:

«В углу, на тумбочке, стоит гармонь, он играет на ней и поет хриплым голосом своим прекрасные песни, за это я и прозвал его Орфеем <...> Орфей — застенчивый, тихий человек, поплававший в море, поживший среди простого народа, с песенной болью в худой груди. Эта боль его мучит, гложет, не отпускает ни днем, ни ночью: все чудятся строчки, звуки... Поэтому, когда выпьет, он становится дерзким, грубит, лезет на рожон.

— Надо почитать этот миф, — задумчиво говорит Орфей, — странно, что его убили женщины»<sup>9</sup>.

Этот поэтический портрет Рубцова является резким контрастом к «прозаическому» портрету опустившегося, пьющего человека во многих воспоминаниях его

<sup>6</sup> Наш современник. 2015. № 4. С. 28.

<sup>7</sup> Курбатов В. Я. Указ. соч. С. 20.

<sup>8</sup> По словам В. Астафьева, «кончина его по чудовищности редкостна и уникальна» (Астафьев В. П. Нет мне ответа... Эпистолярный дневник 1952—2001. Иркутск, 2009. С. 689).

<sup>9</sup> Михальский В. В. Собр. соч.: В 10 т. Т. 1. М., 2014. С. 365, 366.

современников. Русский Орфей оказался «юродивым»: и в Литературном институте редко ходил на занятия, потому что, видимо, чувствовал и понимал, что книжные знания, которые предлагали там, ему не нужны для того, чтобы сказать свое слово в русской поэзии (только северная природа и русская деревня дают ему спасительный воздух для вдохновенного творчества); и в бытовой жизни ничего не делал для элементарного обустройства, столь необходимого для выживания обыкновенному, нормальному человеку.

Николай Рубцов погибает как земной грешный человек, но побеждает смерть как подлинный поэт, в своих стихах достигший той высшей цели, которую так ясно в 1836 году сформулировал Пушкин: «Цель искусства есть идеал...» Идеал чистоты поэтического слова, души русского человека с его православной верой, идеальное воплощение красоты русской природы, идеальный образ русской земли, святости своего Отечества, своей Родины — все это отражено в поэзии Рубцова, как и реализован высший долг художника, выраженный в пушкинском «Пророке»: «Глаголом жги сердца людей».

Совершенно иное впечатление вызывает портрет Валентина Распутина у Романа Сенчина в «Зоне затопления», романе, посвященном Распутину и являющемся «постскриптумом ко всей деревенской прозе» (А. Журов). Это портрет «старика с угасающей силой и верой», портрет «старого писателя», голос которого «журчит тихо» и который «бессильно лепечет»: «Сейчас, мне кажется, обречен весь мир. Подошло время негодности этого мира». И в своей статье «Драма Валентина Распутина» Сенчин заключает: «Распутин — бесконечно печальный писатель <...> уходил без надежды на русский язык да и вообще на цивилизацию. Очень хочется, чтобы Распутин ошибся в своем приговоре»<sup>10</sup>.

Почему же так быстро иссякает творческий дар Распутина? Почему после высшего творческого взлета в 70-е годы в течение дальнейшей долгой жизни он написал только около двух десятков рассказов и всего две повести — «Пожар» (1985) и «Дочь Ивана, мать Ивана» (2003), в художественном отношении значительно уступающие предшествующим? Причем последняя, «прощальная» повесть является «самой страшной повестью у Распутина» (В. Курбатов), как будто написанной «окровавленным сердцем», страшной не только беспредельным злом, заполонившим мир, и безнаказанным насилием, но и тем, что несет в себе очень опасный антихристианский смысл<sup>11</sup>: ради установления земной справедливости нарушается одна из важнейших библейских заповедей и оправдывается убийство человека, пусть и насильника. Женщина-мать становится убийцей. Как и в романе Достоевского «Преступление и наказание», в повести Распутина из невыносимого чувства боли рождается протест, бунт, непреодолимое желание отомстить и немедленно восстановить поруганную справедливость. По словам автора, повесть «надо было писать, чтобы возникало сопротивление»<sup>12</sup>.

И здесь в явном — бессознательном или осознанном — споре с Достоевским Валентин Распутин как художник и как христианин бесконечно проигрывает. В романе «Преступление и наказание» Раскольников первый раз пришел к Соне с мучившим его вопросом: «Что же поддерживало ее?» Почему до сих пор она не бросилась в канаву или не попала в сумасшедший дом? И услышал поразитель-

<sup>10</sup> Сенчин Р. Драма Валентина Распутина // Урал. 2016. № 3. С. 213, 215.

<sup>11</sup> Любовь к писателю не исключает возможности критического отношения к нему, несогласия и спора по отдельным конкретным вопросам. Как художнику, не примкнувшему ни к одному из «лагерей» или «партий» и сохранившему внутреннюю свободу, грозит одиночество и непонимание, так и любой исследователь, работающий в поле современной литературы и стоящий вне «партий», тем более нередко обречен на положение «изгоя».

<sup>12</sup> Распутин В. «Это в каждом из нас...» // Литературная газета. 2016. 2 ноября. № 43. С. 7.

ный ответ от Сони (у которой были «кроткие голубые глаза, могущие сверкать тахим огнем»): «Что ж бы я без Бога-то была?» (Ч. 4, гл. 4). А во время своего второго визита к Соне он уже подвергает серьезному испытанию ее веру в Бога:

«Ну-с; так вот: если бы вдруг все это теперь на ваше решение отдали: тому или тем жить на свете, то есть Лужину ли жить и делать мерзости или умирать Катерине Ивановне? то есть как бы вы решили: кому из них умереть? Я вас спрашиваю. <...>

— Да ведь я Божьего промысла знать не могу... И к чему вы спрашиваете, чего нельзя спрашивать? К чему такие пустые вопросы? Как может случиться, чтоб это от моего решения зависело? И кто меня тут судьей поставил: кому жить, кому не жить?» (Ч. 5, гл. 4).

Вспомним и дьявольское искушение в «Братьях Карамазовых» кроткого Алеши умным Иваном, который смог в послушнике спровоцировать бунт против Бога рассказом о том, как генерал «в своем поместье в две тысячи душ» приказал на глазах у матери затравить собаками дворового мальчика восьми лет («...и псы растерзали ребенка в клочки!..») только за то, что тот, «играя, камнем зашиб ногу любимой генеральской гончей»:

«Ну... что же его? Расстрелять? Для удовлетворения нравственного чувства расстрелять? Говори, Алешка!

— Расстрелять! — тихо проговорил Алеша, с бледною перекосившеюся какою-то улыбкой подняв взор на брата» (Кн. 5. Про и contra. Гл. 4. Бунт).

По мнению В. Курбатова, «Тамара Ивановна навеки права, взяв в руки обреза и решая вопросы государства своим материнским судом, потому что это ее дети, ее Родина, ее защита будущего. И художник с гордостью и любовью глядит на нее, возвращающуюся из тюрьмы спокойной и сильной <...> Диагноз, поставленный этой последней повестью, страшен, но и лекарство, таинственно содержащееся в этой же повести, могущественно. Это не утешение. Это призыв к защите. Что после этого могло быть написано еще?»<sup>13</sup>

Достоевский же одну из главных своих идей уже в последние годы сформулировал в рабочей тетради предельно кратко и ясно: «Совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного»<sup>14</sup>.

У Распутина Настёна («Живи и помни»), у которой «истерзанная, беспутная душа надорвалась» и которой «истошно стыдно и перед Андреем, и перед людьми, и перед собой», стала не только самоубийцею (причем автор признает нравственную высоту этого поступка), но и убийцею своего нерожденного ребенка. И Тамара Ивановна стала «справедливым» мстителем, убийцею «по совести».

Возникает страшная для осмысления состояния души человека и современно-го мира параллель: Николая Рубцова убивает женщина, мать (и поэт), которая уже десятилетия ищет себе оправдание и в стихах, и в своих воспоминаниях; женщина и мать в прощальной повести Распутина убивает человека (в ее глазах зверя), не испытывая мук раскаяния, и вызывает оправдание и безусловное уважение у окружающих людей, у многих читателей и критиков, глубоко травмированных при чтении жестоких сцен описания насилия «выродившейся твари», как другого насильника назвал В. Астафьев в своем рассказе «Людочка»<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> Курбатов В. Я. Указ. соч. С. 274, 275.

<sup>14</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972—1990. Т. 27. С. 56.

<sup>15</sup> Но все-таки в рассказе В. Астафьева возмездие насильнику приходит со стороны отчима главной героини — «двуногого существа с вываренными до белизны глазами», в которых клокочет «от пещерных людей доставшееся, сквозь дремучие века прошедшее <...> бешенство». И автор тоже этически оправдывает такое возмездие, ибо первобытная агрессивность отчима все-таки кладет конец насилию.



Как отмечает Олег Павлов, Валентин Распутин постепенно «потерял себя». Но почему это произошло? В чем причины и где истоки этой драмы?<sup>16</sup> В 2006 году В. Распутин признается: «Ничего не хочу писать. Не могу, не верю. Надо запретить где-то. Где? Долго молчать, ничего не видеть. Может, тогда что-то вернется»<sup>17</sup>. Распутин как будто, подобно Александру Блоку после создания поэмы «Двенадцать», перестал слышать «музыку» жизни.

Драму и творческий кризис Распутина В. Курбатов объясняет прежде всего губительным воздействием на писателя «изломанным механизмом общества, изувеченной машиной государства»:

«А он бы и рад, как в лучшие дни, книги писать, да в себе не волен: «горит село, горит родное» — какие тут книги? Душа-то как раз к книгам и рвалась, силы были в совершенном расцвете, а мир не пускал. «Я ведь даже слово давал, — признавался он в начале перестройки интервьюеру „Смены“, — как только отмечу 50-летие, плюну на все, уеду хоть в тундру, где уж меня никто не найдет, и буду только писать... А вместо этого борьба, статьи, заседания, выступления». И чуть позднее опять о том же и мимо вопроса, почти невпопад, — видно, болела эта мысль, и от нее было не освободиться: „Больше всего меня заботит моя собственная творческая работа. Больше всего мне хочется заниматься литературой. Сесть за письменный стол и быть от всего свободным. Но... нельзя освободиться от обязанностей гражданских, когда страдает культура, страдает человек“.

<...> Оказалось, что сбежать „даже в тундру“ уже нельзя, что время искусства в старом разумении кончилось, что старые родники окончательно истощены и „стол“ уже не для литераторов...»<sup>18</sup>

<sup>16</sup> О. Павлов говорит о трагической судьбе Распутина: «...любила и читала, и понимала его, конечно, интеллигенция. Этого своего читателя он потерял, потому что... Может быть, потому что потерял себя <...> как и зачем в то время он позволил себе массу антисемитских высказываний <...> На него влияли. Он подчинился этому влиянию. Говорил то, что ждали те, в круг которых вошел. Быть одиночкой, как Астафьев, он не мог <...> он говорил как патриот и для патриотов с коммунистическим привкусом <...> Его использовали <...> Он мог выступать как христианин, но что-то глубоко лично ему этого не позволяло <...> со своими идеалами не находит общественного движения ближе обновленной коммунистической партии — той, что проповедует любовь к загубленной ее же идеями родине <...> Он разочаровался во многом <...> Он не был свободен. Никогда. До последних своих дней» (Павлов О. Русская литература — это слеза. Ответы на вопросы о творчестве и личности Валентина Распутина // Творческая личность Валентина Распутина: живопись — чувство — мысль — воображение — откровение. Иркутск, 2015. С. 173–175).

О широко распространенной ложной молве («клеймо») пишет Д. Майкльсон, американский славист, профессор Казанского университета, переводчик произведений Распутина на английский язык, свыше 30 лет хорошо знавший русского писателя: «Распутин давал сочинителям коллективных писем разрешение включать свое имя, даже не прочитав их <...> возникла и распространилась внезапно на западе и востоке молва о том, что Распутин, мол, антисемит <...> прилипло к его имени, как клеймо. Избавиться от него было нельзя. <...> эта репутация сложилась на ложной почве. <...> до сих пор я не видел, да и не слышал никакого подтверждения этой молвы — ни в опубликованных трудах, ни в записях выступлений и лекций...» (Майкльсон Д. Валентин Распутин: пророк и его драма // Творческая личность Валентина Распутина... С. 31).

В художественных произведениях Распутина (в отличие от В. Солоухина, В. Белова, В. Астафьева) фактически нет проблемы антисемитизма и этнически Чужого (за исключением образа насильника-кавказца в его последней повести). Рассуждать здесь о проблеме антисемитизма — это значит идти по минному полю. Распутин, включившись в непримиримую политическую борьбу и став частью конкретной «партии», невольно оказался на этом поле.

<sup>17</sup> Курбатов В. Я. Указ. соч. С. 10.

<sup>18</sup> Курбатов В. Я. Предисловие // Распутин В. Г. У нас остается Россия: Очерки, эссе, статьи, выступления, беседы. М., 2015. С. 13–14, 15.

Но могли быть и внутренние причины. В 2007 году на вопрос корреспондента о своих любимых произведениях Распутин называет рассказ «Уроки французского» (1973) и повесть «Прощание с Матёрой»: «...повесть „Живи и помни“ очень трудно писалась, потому не могу назвать любимой. А вот „Матёра“ писалась легко и быстро»<sup>19</sup>. Эту повесть А. Солженицын при вручении премии Распутину 4 мая 2000 года назвал «сильнейшим произведением» и «грандиозным символом уничтожения народной жизни»<sup>20</sup>. Но в высказывании Распутина все-такистораживают слова о легкости и быстроте написания этой повести, в то время как, по другому признанию писателя, он всегда писал очень медленно. В этой повести, буквально пронизанной символикой, нет нового характера: старуха Дарья — это все та же Анна, только перенесенная в ситуацию «последнего срока» уже для Матёры<sup>21</sup>. А М. Дунаев вполне обоснованно говорит об опасности для православного мировоззрения появления в повести языческих образов Лиственя и Хозяина острова (для автора являющихся всего лишь поэтическим отражением народной жизни), о «языческом соблазне, противном Православию»<sup>22</sup>.

В 70-е годы я купил пластинку с записью рассказа «Уроки французского» в прекрасном исполнении М. Ульянова и неоднократно слушал его чтение, вызывавшее искреннее сочувствие, сострадание и любовь к главному герою и восхищение художественным талантом писателя. А в 80-е годы, уже работая учителем литературы в школе и обсуждая с учениками шестого класса это ставшее программным произведение, вдруг с удивлением и неожиданно для себя увидел то, чего не замечал до этого, чего до сих пор не замечают многочисленные исследователи творчества Распутина. Это становится понятным и отчетливо видимым при сравнении с рассказом В. Астафьева «Конь с розовой гривой» (тоже программным школьным произведением), «гениальным рассказом <...> потрясающим образцом православного повествования <...> о прощении и покаянии»<sup>23</sup>. Совесть герой Астафьева мучается и страдает, чувствует себя преступником, глубоко раскаивается за свой обман внешне строгой, но бесконечно любящей и доброй бабушки:

«Я думал, сейчас бабушка обнаружит мое мошенничество, даст мне, что полагается, и уже приготовился к каре за содеянное злодейство <...> „Бабушку надул. Калачи украл. Что только будет?“ — терзался я ночью, ворочаясь на полатах. Сон не брал меня, как окончательно запутавшегося преступника».

У Распутина же автобиографический герой, ощущающий собственную праведность и безгрешность, слишком идеализирован: уже в 11 лет безмерно одинокий и неправдоподобно гордый, предельно честный и бескомпромиссный даже в мелочах, во всем оказывается прав. Он очень высоко стоит над всеми окружающими его людьми<sup>24</sup> (в которых автор зорко видит и беспощадно изображает недостатки и по-

<sup>19</sup> Распутин В. «Это в каждом из нас...». С. 7.

<sup>20</sup> Новый мир. 2000. № 5. С. 187.

<sup>21</sup> Современные исследователи говорят о прощении не только с «крестьянской Атлантидой», но и с «красной Атлантидой», о прощении с советской эпохой (Литовская М. А. Валентин Распутин и конец советской эпохи // Творческая личность Валентина Распутина... С. 15). Наконец, возникают ассоциации и с всемирным потоком, грозящим гибелью всему человечеству. И в то же время это не только «эсхатологическая повесть о времени, которое надорвалось, кончилось, исчерпало себя» (А. Варламов), но и пророческая повесть о самом авторе, который тоже «надорвался» и «исчерпал себя».

<sup>22</sup> Дунаев М. М. Православие и русская литература. В 6 ч. Ч. VI (Кн. 1). Изд. 2. М., 2004. С. 462.

<sup>23</sup> Тарковский М. Речные писатели: Виктор Астафьев и Валентин Распутин // Наш современник. 2015. № 3. С. 269.

<sup>24</sup> Совершенно иной смысл в рассказе увидела И. Плеханова: «Поражает непреклонная воля к самоограничению, которую проявляет подросток, оставшийся один на один с чужим и жестоким

роки) и стыдится только того, что был «от природы робкий и стеснительный»<sup>25</sup>. Даже «необыкновенная» Лидия Михайловна, учительница «загадочного французского языка», вызывает у очень правильного героя, гордого пятиклассника, невольное осуждение за небольшие хитрости и вынужденный обман, пусть и ради высокой цели, чтобы хоть чем-то помочь голодающему ученику, живущему у чужих людей, вдали от родного дома.

Как отмечает Ж. Нива, «умение видеть мир глазами ребенка связывает Распутину с Толстым. Но у Толстого происходит взросление, путь через мытарства и преодоления. Такого пути нет у Распутина»<sup>26</sup>. «Идеальный» автобиографический герой Распутина значительно уступает в психологической достоверности и глубине главному герою Толстого в «Отрочестве», повести, в которой автор исследует внутренний мир Николеньки, когда у него в «пустыне отрочества» рождается «бездна мыслей» и в разных ситуациях проявляются очень опасные для души человеческие пороки (гордыня, самолюбие, тщеславие, эгоизм, зависть, обида), когда впервые возникает состояние «затмения», во время которого человек способен совершить «самое ужасное преступление».

Очень важно найти точные слова для выражения своей мысли, чтобы быть правильно понятым читателем этой статьи. Может быть, не только из-за невыносимой боли писателя (что очевидно!) за уничтоженную патриархальную деревню и покалеченную природу, надорвавшийся русский народ и бесконечно страдающую Россию, но и хотя бы отчасти из бессознательной гордыни (я — хороший, а почти все остальные плохие) слишком идеализированного героя автобиографического рассказа «Уроки французского» вырастает потом, как из зерна, стремление стать учителем и проповедником<sup>27</sup>, стремление учить и судить людей, обличать социальные язвы и нравы. Это стремление проявилось в переходе от художественного творчества к публицистике (сначала социально-нравственной, потом религиозно-философской), главный смысл которой заключается в прямом нравственном и экологическом воспитании массового человека, в прямом воздействии словом на душу и сознание современников; а затем одно время было даже и вхождение в политику (депутат Верховного Совета СССР, член Президентского совета при М. Горбачеве)<sup>28</sup>. Писатель в значительной степени оказался пленником

---

миром. Это тема Достоевского — и решается будущим писателем в собственной жизни. Но мальчик, обуреваемый страстями, отдающийся игре, устанавливая в то же время свои правила поведения, — это не только феномен уникально развитой личности. Это здешний и живой Алеша Карамазов» (Плеханова И. И. Предисловие // Творческая личность Валентина Распутина... С. 7). Но все же герой Распутина играет не потому, что «обуреваем страстями», а для того, чтобы выиграть рубль, необходимый для покупки молока («Молоко мне наказано пить от малокровия»).

<sup>25</sup> Уже позже, в 90-е годы, Распутин напишет: «Я не мог вместить в рассказ многое: и как я квартировал у одноклассников, где меня подкармливали (и уж, конечно, речи не могло быть об оплате), и как к праздникам выдавалось вспомоществование, и как приласкивали, чтобы мне терпелось...» (Распутин В. Г. В поисках берега. С. 509, 510).

<sup>26</sup> Нива Ж. Путь Валентина Распутина по опустелому русскому дому // Время и творчество Валентина Распутина. Иркутск, 2012. С. 24.

<sup>27</sup> «Поздний Распутин напрямую спорит творчеством с действительностью, рассказы становятся программой действий и обращены уже к сознанию читателей не только через чувства, а в виде вполне артикулированной проповеди» (Плеханова И. И. Александр Вампилов и Валентин Распутин: диалог художественных систем. Иркутск, 2016. С. 222).

<sup>28</sup> Критик В. Бондаренко приводит горькое признание Распутина: «Мое хождение во власть ничем не кончилось. Оно было совершенно напрасным» (Бондаренко В. Г. Пламенные реакционеры. Три лика русского патриотизма. М., 2003. С. 503). И Д. Майкльсон отмечает: «В 2000 году Распутин признался мне в письме, что он „потерял десять лет в омуте общественной деятельности“» (Майкльсон Д. Указ. соч. С. 32).

своего времени<sup>29</sup>. Может быть, эта потеря необходимой для творчества внутренней свободы, эта в определенной степени «измена» художественному дару и привела к его оскудению и духовному опустошению, бесконечной усталости и многолетнему молчанию художника (ставшего публицистом и нравственным проповедником)<sup>30</sup>, к «тотальному отчаянию в вырождающемся человечестве, которое периодически будет его охватывать в 1990-е годы»<sup>31</sup>, глубокому пессимизму и неверию в возможность что-то изменить в России к лучшему: «...ничего не хочу и ни во что нынешнее не верю». Как замечает В. Курбатов, «один из лучших художников молчит и уже готов с тяжелым сердцем повторить за Виктором Петровичем Астафьевым каменные слова: „Мне нечего сказать вам на прощанье“»<sup>32</sup>.

Самым совершенным среди рассказов Распутина М. Дунаев справедливо считает автобиографический рассказ «**Что передать вороне?**» (1981), в котором главный герой, несмотря на просьбу маленькой дочери остаться дома, внезапно уезжает на дачу, чтобы не упустить удачу и продолжить очень важную для себя работу<sup>33</sup>. Но в конечном итоге этот торопливый отъезд оказывается бегством в одиночество, разрывом связей между душами людей, предательством ребенка человеком, как будто еще не знающим истинной меры жизненных ценностей. А расплатой становится неожиданная болезнь ребенка, недающаяся работа и тоска одиночества. Подобной глубины раскрытия внутреннего мира человека, выявления не только душевных, но и духовных его движений, требующего от художника невероятного напряжения и сосредоточенности на главном, мы почти не видим в поздних произведениях Распутина.

Связь Распутина с русской классикой до сих пор остается, по словам современного исследователя, «абсолютно чистым полем исследований»<sup>34</sup>. Для меня лучшими произведениями Валентина Распутина являются повести «**Последний срок**» и «**Живи и помни**», повести, в которых автор, продолжая традиции прежде всего Толстого и Достоевского (романы «Война и мир» и «Преступление и наказание»)<sup>35</sup>,

<sup>29</sup> Н. Перяеслов отмечает, что «герои в рассказах Распутина в 1990-е годы начали очень длинно говорить», что «его произведения постоянно „перетекают“ в публицистику», что он «очень тяжело выбирается из пут публицистики, которой было отдано минувшее десятилетие» (Перяеслов Н. В. Распутин и Россия // Творчество В. Г. Распутина: ответы и вопросы. Иркутск, 2014. С. 177, 178, 179).

<sup>30</sup> Здесь выражено ни в коем случае не осуждение, а только стремление понять драму писателя, как будто перешедшего в своем творчестве с духовно-философского на социально-нравственный уровень бытия, драму, вызванную не только внешними событиями, но и внутренними причинами. Сам Распутин признает, что и после Достоевского глубины человеческой души «до сих пор остаются темными и загадочными» и необходимо «вслед за причинами внешнего мира <...> искать причины в нем самом» (Распутин В. Г. В поисках берега. С. 480).

<sup>31</sup> Разувалова А. И. Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов. М., 2015. С. 532.

<sup>32</sup> Курбатов В. Я. В поисках берега. С. 23.

<sup>33</sup> Дунаев М. М. Указ. соч. С. 475.

<sup>34</sup> Время и творчество Валентина Распутина. Иркутск, 2012. С. 8.

<sup>35</sup> Анализ этих повестей см.: Влащенко В. И. Проза Валентина Распутина и классическое наследие: Вслед за Львом Толстым // Я иду на урок литературы: Современная русская литература. 1970—1990-е годы. М., 2001. С. 136—156; Влащенко В. И. Герои В. Распутина и Ф. Достоевского (повесть «Живи и помни» и роман «Преступление и наказание») // Писатели русской традиционной школы второй половины XX века в контексте современности. Сургут, 2009. С. 152—159. К сожалению, вынужден отметить, что Н. Гореславская и В. Чернов, авторы компилятивной книги «Валентин Распутин. Русский гений» (М., 2013), в главе о повести «Живи и помни» без каких-либо ссылок фактически переписали несколько страниц (С. 91—94) из моей статьи, «отрезав ножницами» все связи и параллели с романом Достоевского.

говорит о «вечном» (о душе, совести, памяти, жизни и смерти) и создает новые для русской литературы характеры, воплощенные в образе Анны (мудрой старой крестьянки, «сопрягавшей» малое и большое, злободневное и вечное)<sup>36</sup> и в образе Андрея Гуськова, в котором тема предательства обретает трагический характер. Может быть, впервые в русской литературе XX века предатель (дезертир) становится трагическим героем<sup>37</sup>.

Можно выделить ключевые звенья творческого пути Распутина: элегическая, бесконечно печальная повесть **«Последний срок»** — скорбный плач автора и «предсмертный вой неведомого мистического существа» (М. Литовская) в **«Прощании с Матёрой»** — горький и скорбный обличительный пафос в художественно-публицистической повести **«Пожар»** — одиночный бунт и как будто «справедливая» месть в повести **«Дочь Ивана, мать Ивана»**. Печальный элегик Распутин, оплакав «последний срок» крестьянского мира, патриархальной цивилизации, сначала становится страстным обличителем-проповедником, а затем в последней повести предстает отчаянным бунтарем и беспощадным мстителем. Дальше тупик и наступает многолетнее и окончательное молчание.

## 2.

В критике последних десятилетий даны прямо противоположные оценки Рубцова: от «великого поэта» (В. Кожин, В. Курбатов, А. Шорохов), «великого русского лирика XX века» (А. Бобров), «истинного, самобытного таланта» (В. Зайцев) — до «рядового стихотворца» (М. Гаспаров) и «несостоявшегося поэта» (Э. Шнейдерман), «эпигона Есенина» и «квасного графомана» (Д. Давыдов). По словам одного из критиков, «одни восприняли явление Рубцова в ореоле чуда, а другие остались глухи к его поэзии»<sup>38</sup>. Такой невероятный разброс оценок в значительной степени объясняется не только тем, какой литературный и общественно-политический лагерь, какую «партию» представляют конкретные критики, отражающие постоянно существующее в России духовное распутье, но и наличием или отсутствием «интуиции целого» (М. Бахтин), душевного родства, глубинного чувства единения русской души и с православной Русью, «старинным белым светом», и с современной, духовно больной, израненной, но рвущейся к свету Россией. По мнению Л. Аннинского, «есть что-то загадочное в той ярости, которою он вызвал в критике при своем появлении и которая все усиливалась — в параллель растущей народной славе <...> не оставляла его в покое ревностная злость литературных критиков! И при жизни, в 60-е годы, и после смерти»<sup>39</sup>. Размежевание идет по самой главной, основной линии человеческого бытия — духовно-нравственной, по линии осмысления русского самосознания и вопроса об историческом предназначении России.

Среди «разоблачителей» Рубцова, интеллектуалов и «образованцев» (А. Солженицын), атеистов, безбожников по преимуществу, особенно отметился либеральный критик и литературовед В. Новиков, который, прочитав вдохновенные строки поэта:

<sup>36</sup> «Распутинские старухи», по словам современного исследователя, «такое же культурно-историческое понятие, как „шукшинские чудики“ или „тургневские девушки“ и „лесковские праведники“» (Сухих И. Однажды была земля // Звезда. 2002. № 2. С. 231).

<sup>37</sup> В середине 80-х годов автор данной статьи, так формулируя одну из проблем повести, нередко сталкивался с возмущенной реакцией со стороны коллег-преподавателей.

<sup>38</sup> Пикач А. «Я люблю судьбу свою...» (О поэзии Николая Рубцова) // Вопросы литературы. 1977. № 9. С. 92.

<sup>39</sup> Аннинский Л. А. Николай Рубцов: Россия! Как грустно! // Север. 2013. № 7—8. С. 32.

И храм старины, удивительный, белоколонный,  
 Пропал, как виденье, меж этих померкших полей,  
 Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны,  
 Но жаль мне разрушенных белых церквей!.. —

и со злорадством обнаружив даже не образ, а только одинаковые слова «царская корона» в стихах поэта и в лакейской песне Смердякова, в 1994 году издевательски назвал Рубцова «Смердяковым русской поэзии»<sup>40</sup>, и это несмотря на то, что герой последнего романа Достоевского, незаконнорожденный сын Федора Карамазова, убийца своего отца, отрицал все свое, русское, во имя чужого, западного, и откровенно признавался: «Я всю Россию ненавижу...» «Ниспровергатели» Рубцова являются представителями либеральной и «беспочвенной» интеллигенции, отрицающей духовно-нравственные ценности своего отечества и опирающейся на традиции западной культуры. Они являются частью той интеллигенции, которая оказывается совершенно чуждой, равнодушной и невосприимчивой и к пленительной музыке стихов Рубцова, и к мучительной боли поэта за Россию<sup>41</sup>.

В пронзительных исповедальных стихах Рубцова, являющихся неотделимой частью той русской поэзии, «чистой, как родниковая вода», того звучащего поэтического слова, от которого «плакала и ликовала от восторга читательская душа» (В. Распутин), ученейший филолог М. Гаспаров (1935–2005), к сожалению, видит только стандартный набор общих мест, почти лубочных атрибутов, видит всего лишь «гармоническую законченность второстепенной поэзии», широко представленной еще «на страницах „Нивы“ или „Родины“ 1900-х годов»<sup>42</sup>, а критик В. Новиков говорит о «тривиальности» рубцовских стихов, поясняя: «И тогда, придя в Ленинскую библиотеку, выписал Рубцова, даже не зная еще, кто он, откуда, задушили его уже или нет». Злорадство чуждо, противно сочувствию и милосердию.

В отличие от подобных интеллектуалов, выдающийся петербургский композитор Валерий Гаврилин (1939–1999) так выразил свое отношение к поэту:

«С годами мой жизненный опыт привел меня к Рубцову — и теперь в современной русской поэзии нет поэта более для меня дорогого, чем Рубцов. <...> Теперь я очень страдаю оттого, что не могу найти музыкального ключа к раскрытию тайн его поэзии в музыке <...> Рубцов оказался для меня очень трудным поэтом. Он умер очень молодым, но оказался таким глубоким, что мне даже не все было понятно <...>. Он мне очень дорог, человек этот, со всей своей неустроенностью, со всей своей бедностью <...>. И с полной беззащитностью <...>. И вместе с тем такая вот огромная духовная сила, с которой ничего поделаться нельзя».<sup>43</sup>

В творческом наследии поэта насчитывается свыше четырехсот стихотворений<sup>44</sup>, среди которых несколько десятков являются художественно совершенными произведениями (звучащими как откровение и созданными в минуты настоящего вдохновения: «*О чем писать? На то не наша воля!*»), в которых автор, наделенный, как и Есенин, таинственным песенным даром, предстает большим русским поэтом, достигающим в стихах пушкинского гармонического «*союза волшебных звуков, чувств и дум*». В этих стихотворениях, которые «будут вечно сиять в сумрачных

<sup>40</sup> Новиков В. И. Заскок: эссе, пародии, размышления критика. 1986–1997. М., 1997. С. 123.

<sup>41</sup> Этот круг отвергает и «деревенскую прозу», выражает эстетическое и идеологическое ее неприятие. См.: Разуvalова А. И. Писатели-«деревенщики»: литература и консервативная идеология 1970-х годов. М., 2015.

<sup>42</sup> Гаспаров М. Прошлое для будущего // Наше наследие. 1989. № 5 (11). С. 2.

<sup>43</sup> Гаврилин В. Указ. соч. С. 271, 391.

<sup>44</sup> См.: Рубцов Н. М. Собр. соч.: В 3 т. М., 2000.

далях России» (А. Романов) и «жить в своем народе», Николай Рубцов для многих читателей действительно встает в один ряд с общепризнанными классиками русской поэзии.

Очень значимо давнее признание Андрея Битова, когда он в один ряд с произведениями Пушкина, Лермонтова, Блока поставил и стихотворение Рубцова: «Особой гениальностью веет от стихов непостижимо простых по слову, не отягощенных метафоричностью и эпитетом: „Пора, мой друг, пора...“, „По небу полуночи ангел летел...“, „Девушка пела в церковном хоре...“, „Тихая моя родина!“ Здесь слова молятся в храме речи, а не выживают в водовороте языка и опыта»<sup>45</sup>. И Федор Абрамов (1920—1983) записывает в своем дневнике в 1975 году: «Бог явил нам радость и чистоту в виде стихов Рубцова <...> Такой чистоты, такой одухотворенности, такого молитвенного отношения к миру — у кого искать?»<sup>46</sup>

Я хорошо помню, как на первой в нашей стране научной конференции, посвященной Николаю Рубцову и проходившей в 1976 году в ЛГУ (где о поэте взволнованно делились своими воспоминаниями Ст. Куняев и В. Астафьев, который впервые рассказал, из «какого сора» родились «Вечерние огни» Рубцова, а актер Алексей Локтев вдохновенно и с дрожью восторга от силы слов и чистоты речи, не обремененной мнимыми красотами, прочитал изумительные стихотворения «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и «Видения на холме»), известный критик и литературовед В. Кожин (1930—2001), ставший автором первой книги о поэте, так обозначил творческий путь Рубцова: от явного влияния Есенина в ранних стихах 50-х годов — к содержательной внутренней связи с философской лирикой Тютчева в произведениях 60-х годов. Но в своей монографии В. Кожин все же слишком категоричен и не точен в утверждении, что связь Рубцова с Есениным «в гораздо большей степени присуща ранним, даже юношеским стихам Николая Рубцова <...> В зрелой поэзии Рубцова мало общего с есенинским стилем»<sup>47</sup>. В исследовательской литературе высказана и другая точка зрения: «В выборе тем и мотивов Рубцов в основном не выходит из руслу есенинской традиции»<sup>48</sup>.

Имена **Есенина** и **Тютчева**, две линии, две традиции, по мнению многих критиков, являются определяющими для глубокого понимания поэзии Рубцова, тем более что именно Есенин и Тютчев, по собственному признанию Рубцова, были его любимыми поэтами. В. Распутин в одном из интервью в 2005 году отметил:

«Рубцов был человеком не от мира сего, точно так же, как Есенин. Это особые люди, которые как бы были даны России. Есть поэты, которые прорастают сквозь почву России и говорят тем языком, который существует в России, выражают душу, действительно, душу России. Для меня Николай Рубцов именно такой поэт <...> Поэзия Рубцова — это как глоток чистого воздуха, глоток надежды...»<sup>49</sup>

Их творчество объединяет прежде всего **тема Родины**, которая раскрывается через образы природы и деревни, патриархальной, идеальной, святой Руси — у Есенина и неустроенной современной России — у Рубцова, а также общая **проблема судьбы**: трагической судьбы крестьянской Руси и ее певца, «последнего поэта деревни», — у Есенина; таинственной грядущей судьбы России — у Рубцова; кроме

<sup>45</sup> Битов А. Соображение прозаика о музее // День поэзии. 1981. М., 1981. С. 235.

<sup>46</sup> Цит. по кн.: Полетова М. Душа хранит... Николай Рубцов. М., 2009. С. 260.

<sup>47</sup> Кожин В. В. Николай Рубцов. Заметки о жизни и творчестве поэта. М., 1976. С. 44.

<sup>48</sup> Эпштейн М. Н. «Природа, мир, тайник вселенной...»: Система пейзажных образов в русской поэзии. М., 1990. С. 274.

<sup>49</sup> Цит. по кн.: Николай Рубцов. Дорога... Документально-художественное повествование. Сост. М. Е. Барышева. Вологда, 2011. С. 9.

того, поэтов объединяет «природно-органическое восприятие мира» (М. Лобанов) и песенно-музыкальный строй их лирики. Десятки русских композиторов положили на музыку более ста пятидесяти стихотворений каждого из этих поэтов. Другое дело, что многие профессиональные композиторы терпят неудачу от непонимания глубинной, православной по своей сути поэзии Рубцова, от нечувствия духа его слова. Пение на стихи Николая Рубцова, как очень точно отмечает Андрей Грунтовский, «должно быть исконно русским пением», пением «в манере старинных русских тюремных песен» (не путать с блатной песней, заполонившей современную эстраду!), жанр которых «восходит к протяжной лирической песне, к духовному стиху»<sup>50</sup>.

И в то же время у Рубцова нет нервного надрыва, как у Есенина, нет есенинской цветовой метафоры и живописности языка. В голосе Рубцова читатели слышат неповторимый и трагический голос уже другой эпохи. Если у Есенина на смену патриархальной Руси приходит в поздних стихах образ советской России, то у Рубцова Русь и Россия сливаются в один целостный образ Родины: «Россия, Русь — куда я ни взгляну...»; если за Есениным «еще стояла стомиллионная крестьянская Русь», то Рубцов «стал ее прощальной песней, ее судьбой»<sup>51</sup>. По словам В. Распутина, «чуждый изныв по Родине вслед за Есениным пропел Рубцов. Но не повторил, а извлек в небывалых доселе звуке и чувстве, в которых радость и боль, близкое и далекое, небесное и земное существуют настолько слитно, будто это одно и то же»<sup>52</sup>.

Вопрос о религиозном (духовном) смысле поэзии Есенина и Рубцова сегодня остается самым сложным для исследователей их творчества.

Ранняя лирика Есенина окрашена просветленным молитвенным настроением, а природа уподобляется светлomu храму, в котором человек возрастает душой и очищается, приобщаясь к великому и таинственному храму, где совершается богослужение<sup>53</sup>. Но пройдя через богоборческий бунт, Есенин отрекается от церкви, от Святой Руси и в очерке «Железный Миргород» (1923) признается: «Мне страшно показался смешным и нелепым тот мир, в котором я жил раньше <...> я разлюбил нищую Россию».

Есенин, как «блудный сын», отрекся от Бога, от Святой Руси, от небесной Руси и оплакал земную осиротевшую страну, ставшую советской, безбожной Россией. После Есенина, как «золотая роща», отговорившего свое, Рубцов, как «долгожданный поэт» (Г. Горбовский) русского народа, как будто первый после Есенина среди «оцепеневшей» природы («Вокруг меня снега оцепенели! Оцепенели маленькие ели») ясно, зримо и отчетливо увидел «**тихий свет**» над русской землей, увидел «русский огонек», продолжающий гореть в деревенской избе, несмотря на многолетнюю «вражду» и «разбой» на русской земле.

В поэзии Рубцова критики 60–70-х годов совсем не видели религиозного смысла. Поэт Ю. Кузнецов (1941–2003) вообще отрицал существование религиозного подтекста в лирике Рубцова, в которой ни разу не называется имени Христа и вообще «сакральных упоминаний не так уж много» (О. Складарев). Но это, видимо, в значительной степени объясняется атеистической атмосферой того времени, цензурой, постоянным вмешательством редакторов в тексты поэта: «Время не позволяло Рубцову вносить в тексты религиозные атрибуты...»<sup>54</sup>; «...слова, несущие в себе христи-

<sup>50</sup> Грунтовский А. Слово о Рубцове // Москва. 2011. № 1. С. 191.

<sup>51</sup> Шорохов А. Оправдание поэзии // Москва. 2012. № 9. С. 200.

<sup>52</sup> Савченко Т. К. «Здесь для души моей родина»: Есенин в творчестве Николая Рубцова // Современное есениноведение. 2015. № 1 (32). С. 83.

<sup>53</sup> Исследователи спорят о соотношении языческого и христианского начал в ранней поэзии Есенина.

<sup>54</sup> Протоиерей Александр Никулин. О духовном подвиге Рубцова // Н. М. Рубцов и православие. М., 2009. С. 281.



анский смысл, зачастую вычеркивались и заменялись общими фразами нейтрального значения»<sup>55</sup>.

Именно проблема духовного смысла его поэзии оказывается ключевой для многих авторов статей в книге «Н. М. Рубцов и православие» (безусловно, лучшей в исследовательской литературе о поэте) и таковой, видимо, останется в ближайшие годы, решение которой совершенно необходимо для осмысления истинного места поэзии Рубцова в русской жизни и ее значения для русской культуры.

Мне намного ближе позиция тех исследователей, которые считают, что «поэзия Николая Рубцова глубоко православна» и на глубинном уровне во многих его стихотворениях явственно обнаруживается внутренняя «связь со Священным Писанием», что «само присутствие Божие в его поэзии совершенно очевидно» и «ни одно стихотворение его не лишено религиозного смысла, напротив, это чувство поразительно усиливается со временем»<sup>56</sup>. В названной книге о Рубцове наиболее значительными в этом плане являются статьи поэта Андрея Грунцовского, композитора Антона Вискова и протоиерея Александра Никулина, статьи, в которых авторы стремятся преодолеть привычное разделение писателей на светских и духовных, бытующее в мирском и нередко в церковном сознании, и раскрыть поистине религиозный дар светского поэта Николая Рубцова. К ним можно добавить и глубокую статью А. Шорохова «Веянье тонкого хлада», опубликованную сначала в «Литературной газете» (2005, № 5), а через семь лет с небольшими изменениями под названием «Оправдание поэзии» — в журнале «Москва».

Отдельные стихотворения Рубцова звучат то как **грустные** и одновременно **радостные песни** о самом любимом («Русь моя, люблю твои березы! / С первых лет я с ними жил и рос, / Потому и набегают слезы / На глаза, отвыкшие от слез»), то как **печальные** и даже **скорбные песни-плачи** о прошедшем и неизбежном («Я слышу печальные звуки, / Которых не слышит никто»), в которых плачут маленькие дети («Малютка отвернулась / И говорит: «Я не пою, я плачу...»), плачут звери и птицы («Что ж так жалобно плачет / На болоте кукушка?»), плачет ветер («Ветер всхлипывал, словно дитя, / За углом потемневшего дома») и лирический герой («Я люблю, когда шумят березы, / Когда листья падают с берез, / Слушаю — и набегают слезы / На глаза, отвыкшие от слез»), в которых звучит погребальный и вселенский плач («Есть какая-то вечная тайна / В этом жалобном плаче ночном»), то как **поэтические молитвы**, где выражена или **радость-благодарность** («О дивное счастье родиться / В лугах, словно ангел, под куполом синих небес»), или **покаяние-боль** блуждающей и уставшей души, которая с кротким смирением принимает неизбежную «расплату» («И однажды, прижатый к стене / Безобразьем, идущим по следу, / Одиноко я вскрикну во сне, / И проснусь, и уйду, и уеду...»), или **просьба-мольба** о спасении собственной души («Сделай меж белых / Своих лебедей / Черного лебедя — белым!»), о спасении России и русского народа («Отчизна и воля, — останься, мое божество!»).

Читая стихи Николая Рубцова и помня о его неустроенной бытовой, бездомной и страдальческой жизни и трагической судьбе, мы вспоминаем и Пушкина («И меж детей ничтожных мира, / Быть может, всех ничтожней он. / Но лишь божественный глагол / До слуха чуткого коснется...»), и Ахматову, метафорически точно выразившую очень сложную внутреннюю связь бытовой жизни поэта с его творчеством, когда житейские трудности, конфликты и даже отчаяние можно преодолеть словом и переплавить в красоту («Когда б вы знали, из какого сора / Растут стихи, не ведая стыда...»), и Лермонтова, глубоко раскрывшего молитвенную сущность

<sup>55</sup> Рубцовский сборник. Вып. 2: В 2 ч. Ч. 1. Череповец, 2015. С. 16.

<sup>56</sup> Н. М. Рубцов и православие. М., 2009. С. 166, 283.

истинной поэзии («Есть сила благодатная в созвучьи слов живых...»). Лирика Рубцова отличается удивительной **чистотой речи** и **«чистотой души»** поэта, его лирического героя.

До конца,  
До тихого креста  
Пусть душа  
Останется чиста!

Перед этой  
Желтой, захолустной  
Стороной березовой  
Моей,  
Перед жнивой,  
Пасмурной и грустной  
В дни осенних  
Горестных дождей,  
Перед этим  
Строгим сельсоветом,  
Перед этим  
Стадом у моста,  
Перед всем  
Старинным белым светом  
Я клянусь:  
Душа моя чиста.

Пусть она  
Останется чиста  
До конца,  
До смертного креста!

Но чем вызвана эта исповедь, эта клятва? В бытовой жизни Рубцова как человека, подверженного алкогольной зависимости<sup>57</sup>, сама плоть его становится жертвой, следствием морального падения, но в стихах поэт очищается и преображается, остается верным своему Божественному дару и высшему долгу нести свет и добро, противостоять злу во всех своих проявлениях. Греховные падения и срывы в бытовой жизни Рубцова<sup>58</sup> чередуются с парением и взлетами в стихах, настоящими откровениями, видимо, требующими огромного внутреннего напряжения, полной душевной

<sup>57</sup> В драме «пития» Рубцова можно видеть следствие и детской травмы в военные годы (смерть матери, детдом, утрата отца), и «комплекса неполноценности» (Ф. Абрамов), чувства ущемленности, осознания своей «отсталости» в культурной городской среде (сначала жизнь и работа в Ленинграде, затем учеба в Литературном институте в Москве), вызванных недостаточным образованием и начитанностью. Признания в наличии этого комплекса, связанного с травматическим нахождением в чужом пространстве городской культуры, среди людей с более высоким образовательным статусом, можно найти у таких писателей крестьянского происхождения, как Ф. Абрамов, В. Астафьев, В. Белов, В. Шукшин.

<sup>58</sup> Г. Свиридов в письме к Ст. Куняеву в 1984 году признается: «Книга воспоминаний о Рубцове произвела сильно и очень, надо сказать, гнетущее впечатление <...> Рубцов шел на дно уже безропотно <...> Одинокая, бесприютная душа, потонувшая в северном необъятном мраке <...> Ужасом веет от этой книжки!» (Свиридов Г. В. Указ. соч. С. 254).

самоотдачи, после чего необходима хоть какая-то «разрядка», о чем он и пишет в письме к Ст. Куняеву: «Откуда им знать, что после нескольких (любых, удачных или неудачных) написанных мной стихов мне необходима разрядка — выпить и побалагурить»<sup>59</sup>. Такие «разрядки» являлись вынужденной данью той нечистой силе, которая в конечном итоге в лице женщины-оборотня и погубила Рубцова-человека. Но Поэт, избранник Бога, в своих стихах совершает духовный подвиг и побеждает демона, живущего в его измученной и усталой душе, которая жаждала любви, кротости, веры в чистоту и добро.

Невольно вспоминается и клятва Достоевского, который сразу же после трагедии на Семеновском плацу писал своему брату Михаилу: «Брат! Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохранию дух мой и сердце в чистоте. Я перерожусь к лучшему. Вот вся надежда моя, все утешение мое»<sup>60</sup>. Эта поэтическая клятва Рубцова сродни и признанию композитора В. Гаврилина:

«Да, я идеалист, я знаю это, но я заставляю себя так думать, иначе мне незачем работать, мне нужно, чтобы как можно больше людей любили мою музыку. Стара ли она по языку, революционна ли, мне абсолютно безразлично — для меня важно, чтобы она задевала человеческое сердце, чтобы в ней не было никакой грязи, никакой пошлости, чтобы она вызывала высокие чувства. Я такую клятву дал себе еще в юности»<sup>61</sup>.

Стихотворение «**До конца**» звучит как смиренная молитва о спасении души. Здесь нет злобы, ненависти, бунта, проклятий, зависти, обиды на людей и на судьбу, нет ожесточения сердца, а есть понимание спасения души в преодолении внутреннего зла и своего эгоизма, понимание спасения в чистоте, в высокой поэзии, в честном и совестливом служении России, русскому народу и Богу («старинный белый свет») в качестве поэта, Божьего избранника. Это стихотворение как будто отражает постоянную внутреннюю работу самоочищения и покаяния и воплощает подлинное религиозное преображение человеческого сердца. В стихотворении «**Последняя ночь**» Рубцов не только о Дмитрии Кедрине, но и о себе сказал предельно просто и ясно:

Поэт, бывало, скажет слово  
В любой компании чужой —  
Его уж любят, как святого,  
Кристалльно чистого душой.

---

В. Астафьев, с благодарностью откликаясь на воспоминания о Рубцове Н. Старичковой, в письме к ней делится своими мыслями о близком ему поэте: «Уж очень много нагромождено вокруг личности и необычной смерти Рубцова. Поскольку и то и другое мало кому доступно (личность — загадочней и крупнее времени и окружения), то и уподобляют поэта, его дела и содержание души чаще всего себе подобным, и из страдающей, грустной души поэта выстраивают душонку мятушующую, ничтожную. Пишут чаще всего те, с кем он собутыльничал, при ком вольничал, кривлялся и безобразия свои напоказ выставлял <...> сверху непотребство, детдомовская разухабистость, от дозы выпитого переходящая в хамство и наглость <...> А под ним, в середине, под сердцем, таится чистый-чистый ребенок с милым лицом, грустным и виноватым взглядом очень пристальных глаз. Этот мальчик и «держал волну», охранял звук в раздрызганном, себя не ценящем, дар свой, да не свой, а Богом данный, унижающем, чистый тон, душу, терзаемую самим Творцом» (Астафьев В. П. Нет мне ответа... Эпистолярный дневник 1952—2001. Иркутск, 2009. С. 671—672).

<sup>59</sup> Куняев Ст. Пилигримы // День поэзии — XXI век. 2011. Альманах: Стихи, статьи. М., 2011. С. 28.

<sup>60</sup> Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 28. Кн. 1. С. 164.

<sup>61</sup> Гаврилин В. А. Указ. соч. С. 326.

В лирическом герое Рубцова проявляется скрытая **духовная сила**, «огромная сила духа» (В. Гаврилин) и «загадочная устойчивость русской души» (Л. Аннинский), необходимая и для преодоления внутреннего зла, и для спасительного покаяния, так что все творчество Рубцова можно назвать «покаянной песней за наше нераскаянное поколение» (А. Грунтовский). Если в поздней лирике Есенина, в его «ночных» и «зимних» стихах, главной является тема **смерти** с основным мотивом **прощания** с уходящей молодостью и жизнью и идеей **гибели** Святой Руси и «последнего поэта деревни», «поэта золотой бревенчатой избы» («И луны часы деревянные / Прохрипят мой двенадцатый час»), то у Рубцова до конца доминирует идея **пути к свету**, христианская идея **воскресения**: поэт — в Слове, России — в православной вере.

Звезда полей во мгле заледенелой,  
Остановившись, смотрит в польнюю.  
Уж на часах двенадцать прозвенело,  
И сон окутал родину мою...

Как сказочная спящая царевна, Россия-Русь погружена в таинственный колдовской сон, но поэт верит в ее пробуждение, верит в чудо воскресения, в ее особое Божественное предназначение, ибо если погибнет Россия, то неизбежно погибнет и весь мир. Ночь и зима в стихотворении Рубцова «**Зимняя песня**» несут не смерть, но как будто проникнуты, просвечены ожиданием Рождества, а северная деревня оказывается душой России-Руси:

В этой деревне огни не погашены.  
Ты мне тоску не пророчь!  
Светлыми звездами нежно украшена  
Тихая зимняя ночь.

Вслед за В. Кожинным многие критики отмечают близость Рубцова и к Тютчеву. Вологодский поэт В. Коротаев вспоминает, как на одном из литературных вечеров Николай Рубцов на вопрос о любимом поэте ответил так: «Ближе всего по духу, по убеждениям, каким-то формальным установкам мне Тютчев». Близость «по духу», видимо, предполагает молитвенный настрой духа, глубокую связь с православной духовной традицией, видение России прежде всего как страны русского народа, «*край родной долготерпенья*», как страны христианской в самых глубинах и тайниках бытия своего, с молчаливым и добрым Филей («**Добрый Филя**»), с гостеприимной старой хозяйкой («**Русский огонек**»), с деревней Ферапонтово, «*чем-то самым святым на земле*», предполагает веру в особую, спасительную роль, предназначенную России в таинственной судьбе мира<sup>62</sup>.

Общепризнано, что Тютчев является великим **философским** поэтом («*Есть целый мир в душе моей / Таинственно волшебных дум...*»), в стихах которого главное — «мысль чувствующая и живая» (И. Аксаков). Рубцов же скорее «чисто лирический

<sup>62</sup> В своей работе «Россия и Революция» Тютчев писал: «Прежде всего Россия — христианская держава, а русский народ является христианским не только вследствие православия своих верований, но и благодаря чему-то еще более задушевному. Он является таковым благодаря той способности к самоотречению и самопожертвованию, которая составляет как бы основу его нравственной природы» (Тютчев Ф. И. Полн. собр. соч. и письма: В 6 т. М., 2002—2005. Т. 3. С. 144).

поэт» (по классификации С. Франка двух типов поэтических натур<sup>63</sup>), в стихотворении «**Ночное ощущение**» предельно искренне сказал о себе: «Я чуток как поэт, / Бессилен как философ». Он, в отличие от Тютчева, не является «поэтом-мыслителем», но за его «ощущениями» и чувствами, в глубинах конкретных художественных образов мерцает, скрывается, угадывается читателем глубокий **религиозный** смысл. Можно и нужно говорить не столько о философском, сколько о **духовном** содержании стихов Рубцова (почва и истоки которого находятся в народном богословии) при почти полном отсутствии церковной лексики и имени Бога. «Детская» вера Рубцова отличалась от религиозности Тютчева, далекой от непосредственного чувства и слишком отягощенной философскими раздумьями и философским скепсисом.

По своему мироощущению и мировосприятию Тютчев является **трагическим** поэтом, чувствующим и осознающим катастрофическое состояние человека, природы, мира Вселенной, что вызывает «*души отчаянный протест*» и отражено не только в его «думах», но и в любовной лирике, где любовь раскрывается как «*поединок роковой*» и неизбежная гибель более нежного сердца предопределена. На фоне пушкинской гармонии «*звук, чувств и дум*» поэзия Тютчева оказывается **дисгармонической**, «*звуки*» которой можно определить словами «веще косноязычие» (И. Аксаков).

В поэзии Рубцова трагизм жизненного содержания по-пушкински преодолевается **гармонической формой**, песенным даром, чарующей музыкой стиха, наконец, пониманием участия Промысла в течении событий. Гармоническая **форма** стихов Рубцова «**отрицает**» (Л. Выготский), зачастую побеждает их трагическое **содержание**, и его стихи в большом Доме русской поэзии как будто занимают место горницы, в которой светло от ночной звезды, от Рождественской звезды: «*В горнице моей светло...*»

Кажется, что Рубцов, как «*сирота бездомный*» (Тютчев), в суровой жизни («*Мать умерла. Отец ушел на фронт*»; «*На войне отца убила пуля*») проходит путь «падения», «опьянения» и бездомности, подобно тому как русский народ в XX веке прошел через страшное падение в Гражданской войне и «опьянение» идеей социальной и духовной революции. Подобно тому как Рубцов, оказавшийся «*лицом к лицу пред пропастью темной*» (Тютчев), погиб от руки «женщины-волчицы», так Россия, заблуждавшаяся и надрывававшаяся в течение почти целого века, может погибнуть от демонических сил, если не будет веры в Бога, в спасительный Промысл («*Боюсь, что над нами не будет возвышенной силы...*»), если не воскреснет православный **народ** и не возродится православная держава; в противном случае «массе населения», «темной **толпе** непробужденного народа» (Тютчев) грозит вырождение, превращение в одичавшее **стадо** свиней, которое, одержимое бесами, бросится с обрыва в море. И стихи Рубцова помогают читателю поверить в то, что «для России возможно такое покаяние и очищение, которое смыло бы все ее грехи, пороки и беззакония» (Г. Флоровский).

Тютчевское ощущение катастрофического состояния мира, «ночной» страх и леденящий ужас «*окончательного уничтожения*», обнажившейся «*бездны*» в «*мире роковом*», муки «*души ночной*» («Чувство тоски и ужаса уже много лет стало привычным состоянием моей души»<sup>64</sup>) — все это наиболее пронзительно выражено в стихотворениях Рубцова «**Поезд**» и «**Наступление ночи**».

<sup>63</sup> Франк С. Космическое чувство в поэзии Тютчева // Таинник Ночи. Зарубежная Россия и Тютчев. М., 2008. С. 36.

<sup>64</sup> Тютчев Ф. И. Соч.: В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 241.

И все же у Рубцова во многих стихотворениях страх и ужас преодолеваются глубокой верой в истинное бессмертие и центральное место занимает образ **покоя**, органично связанный с образом храма, а доминирующим чувством становится **благодать**, та благодать, к которой всю жизнь взыскующе стремился Тютчев (в поэзии которого часто на первый план выходят образы хаоса и бездны), но обретал ее только в редкие минуты счастливого состояния души, когда отступала глубокая неуверенность в том, что гармония победит хаос, когда на смену «страшной ночи» приходила «святая ночь», на смену «страшным песням <...> Про древний Хаос» приходило иное: «Учило нас Евангельское Слово / В своей священной простоте...» В произведениях Рубцова преодолевается и страх утраты поэтического дара, чуда рождения стихов, страх не исполнить свое призвание, отчего возникают заклинания себя («**До конца**») и уверения других: «Поверьте мне: я чист душою...» («**В осеннем лесу**»). По мнению А. Грунтовского, «быть может, все чудо Рубцова только в том и состоит, что он сумел передать ощущение благодати Божией, разлитой в природе и человеке <...> благодати, готовой вот-вот отойти от грешной Руси»<sup>65</sup>.

Светлый покой  
Опустился с небес  
И посетил мою душу!  
Светлый покой,  
Протираясь окрест,  
Воды объемлет и сушу...

Тютчев, Есенин и Рубцов в своих стихах выразили простую истину: Родина-Россия-Русь познается не гордым умом, не холодным рассудком, а сердечной верой, надеждой и любовью. Кажется, что в вершинных своих произведениях этим русским поэтам с «болезненно-греховными душами» благодаря глубокому покаянному чувству удается «воскреснуть и возстать», преодолеть «обморок духовный» и обрести желанную «благодать».

Восприятие и понимание поэзии Рубцова может быть на совершенно разных уровнях в зависимости от мироощущения, мировосприятия и мировоззрения читателя:

на **рассудочном** уровне «жалкого разума» (Тютчев) и «гордого ума» (Достоевский) с его нигилистическим торжеством «человеческого» над «божественным», на уровне «текста» со своей «структурой», и тогда читатель-критик видит только «общие места», «лубочные атрибуты» и «тривиальность», а поэт воспринимает всего лишь «эпигоном Есенина»;

на **душевном** уровне «умного сердца», и читателю открывается «чистая душа», «добрая душа» поэта, его нежная и грустная любовь к березам и журавлям, к «сельским видам» и «синим небесам», к избушкам и цветам, к северной природе и «храму старины», к современной России с ее «померкшими полями»; читателю открывается и любовь поэта к «мистической святой Руси, древней и вечной, сохраняемой трудами ее праведников и мучеников» (А. Висков), сохраняемой и поэтическим словом Николая Рубцова, а его чудесная лирика уподобляется «скромному русскому огоньку»:

Спасибо, скромный русский огонек,  
За то, что ты в предчувствии тревожном  
Горишь для тех, кто в поле бездорожном  
От всех друзей отчаянно далек,

<sup>65</sup> Грунтовский А. Указ. соч. С. 224–225.

За то, что, с доброй верою дружа,  
Среди тревог великих и разбоя  
Горишь, горишь, как добрая душа,  
Горишь во мгле, и нет тебе покоя...;

наконец, на **духовном** уровне прозрений и откровений, когда поэт (а вслед за ним и читатель) ясно слышит «незримых певчих пенье хоровое» и «строки многих его стихотворений звучат как музыка торжественных гимнов и акафистов, прославляющих величие Божьего мира, как благословение вечной красоты жизни, как страстные заповеди любви, покаяния и всепрощения, как незыблемая вера в грядущую славу родной страны» (А. Висков), а **Слово** поэта с его «молитвенной чистотой звучания» становится для читателя на поэтическом небосклоне русской литературы подобным таинственной «звезде полей» (вспомним тютчевское: «*Душа хотела б быть звездой...*»), которая «горит, не угасая, / Для всех тревожных жителей земли»:

Звезда полей! В минуты потрясений  
Я вспоминал, как тихо за холмом  
Она горит над золотом осенним,  
Она горит над зимним серебром...

Светло, тихо и спокойно Николай Рубцов в стихах прощается с жизнью и благословляет любимую Россию. Мотив затаенного прощания со всем сущим явственно слышен во многих стихотворениях Рубцова, а в «**Элегии**» становится ключевым:

Отложу свою скудную пищу  
И отправлюсь на вечный покой, —  
Пусть меня еще любят и ищут  
Над моей одинокой рекой.  
Пусть еще всевозможное благо  
Обещают на той стороне, —  
Не купить мне избу над оврагом  
И цветы не выращивать мне...

Николай Рубцов погибает 19 января 1971 года. Свою смерть поэт пророчески предсказал в пронзительном стихотворении «**Я умру в крещенские морозы...**» (1970), а еще раньше, в стихотворении «**Идет процессия**» (1967), он описал прощальный путь человека к последнему земному приюту, когда «трещат крещенские морозы». По словам А. Дорина,

«этот зимний путь, являющийся для Рубцова символом не только гибели, но и обновления, очищения, начала какой-то иной жизни, наполнен и другим — мистическим смыслом — поэт считает сам факт ухода из жизни в период совершения главного православного таинства единственным и, быть может, последним путем к спасению, к очищению, к вечной жизни души человеческой»<sup>66</sup>.

Есть глубокий смысл в том, что главный герой последнего автобиографического рассказа Распутина «**В непогоду**» (2003) во время пурги, продолжавшейся трое суток и как будто «подготавливающей Судный день» («*Горе нам, прогневившим Бога!*»), вспоминает стихи именно Николая Рубцова:

<sup>66</sup> Н. М. Рубцов и православие. С. 327.

Улетели листья с тополей —  
Повторилась в мире неизбежность...  
Не жалея ты листья, не жалея,  
А жалея любовь мою и нежность!  
Пусть деревья голые стоят,  
Не кляни ты шумные метели!  
Разве в этом кто-то виноват,  
Что с деревьев листья улетели?

Валентин Распутин уходит из жизни 14 марта 2015 года. Может показаться, что уходит человеком с надорвавшейся и тревожной душой, с безмерно уставшей, обессиленной любовью и навсегда утраченной надеждой, человеком, который, не смотря на всю духовную жажду и воцерковленность, кажется, так и не обрел в своей душе желанный покой, истинную и глубокую веру, дающую неисчерпаемые силы для христианского смирения, бесконечного терпения, сострадательного милосердия и евангельского прощения современного человека, в гордой слепоте своей разрушающего мир, а также для радостного молитвенного благодарения Бога за дар жизни и творчества, за возможность чистым зрением созерцать необыкновенную красоту природы, несмотря на все зло, существующее в мире, наконец, силы для светлого благословения людей, близких и дальних, продолжающих достойно и жертвенно нести свой крест и верящих в чудо воскресения человека, в чудо возрождения православной России. И все-таки Распутин своим «золотым словом» и в классически ясной художественной прозе, и в страстной публицистической проповеди по своему выразил то же, что и Рубцов в своих удивительных стихах, подобных поэтической молитве или пророческому завещанию:

Россия, Русь —  
Куда я ни взгляну!  
За все твои страдания и битвы  
Люблю твою, Россия, старину,  
Твои леса, погосты и молитвы,  
Люблю твои избушки и цветы,  
И небеса, горящие от зноя,  
И шепот ив у омутной воды,  
Люблю навек, до вечного покоя...

Россия, Русь! Храни себя, храни!



---

---

Ирина ВАСИЛЬКОВА

## УМНЫЕ ДЕВОЧКИ

Спеша на работу, каждый день вижу на стене соседнего дома огромный рекламный баннер. Гламурно отфотошопленная девушка в минимально нижнем белье рекламирует то ли смартфон, то ли еще какую-то крайнюю необходимость. Мне девушку жалко, и не только потому, что на улице мороз, а она такая беззащитно голая. Пробегающие стайки мальчишек пялятся на нее и весело гогочут, но ничуть не удивляются — в нашей реальности это в порядке вещей. Не то чтоб я ностальгировала по ушедшей советской эстетике, но на плакатах той поры обычно присутствовали двое — юноша и девушка. Они могли убирать урожай, крепить оборонную мощь, строить в тайге города или прижимать к груди учебники, но это и не важно — важно то, что вместе. Не буду утверждать, что красная косынка или строительная каска на девушке выглядят прекраснее нижнего белья (в конце концов, это дело вкуса), но впечатление гендерного перекаса меня не отпускает. Голых юношей, вывешенных на мороз, я что-то не встречала.

Как ни старайся, живая жизнь всегда потихоньку корректирует наши стройные планы и замыслы — занимаясь чем-то привычным и ежедневным, вдруг обнаруживаешь, что занимаешься уже совсем другим.

Так и моя школьная литстудия. Школа вообще явление текучее: дети взрослеют, приходят, уходят, хотят то пятого, то десятого. В нашей в студии первое время мальчики преобладали (впрочем, не столько по численности, сколько по авторитету) и тон разговоров тоже определяли. То мы обэриутов изучали, то в моде были дуэли на карандашах — бесконечное взаимное пародирование, то личные отношения выяснялись посредством лирики. Нормальная литературная учеба. Всем нравилось.

Постепенно новизна исчезла, литературные дискуссии приелись, мальчики насладились узкоцеховой славой и отправились осваивать новые области. Возникшая в школе секция исторического фехтования оказалась более конкурентоспособной — там ценился не столько интеллект, сколько хорошая физическая форма, что в этом возрасте совершенно естественно. Студия наша несколько поредела и по составу стала напоминать известный Смольный институт. Тогда и начались процессы, для меня несколько неожиданные. От литературы мы постепенно начали дрейфовать в сторону социальных дискуссий и пылких психологических споров.

Случилось так, что в это же время я ввязалась во вполне профессиональную газетно-журнальную дискуссию относительно женской поэзии. Поначалу у меня было больше эмоций, чем теоретических соображений, но я решила выправить перекасо и засела в библиотеке Московского гендерного центра, дабы погрузиться

---

Ирина Васильевна Василькова — поэт, прозаик, учитель литературы. Окончила геологический факультет МГУ, Литературный институт имени Горького и Университет Российской академии образования. В 1971–1990 годах работала на кафедре геохимии МГУ, с 1990 года работает учителем литературы в школе и руководит детской литературной студией. Публикуется в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Дружба народов».

в труды специалистов. И в силу известной женской особенности поверять все абстрактные теоретические построения собственным опытом нет-нет и вспоминала там о своих студийцах (студийках!). И даже поняла, чего мне не хватает не только в феминизме с постфеминизмом, но и в гендерном подходе к социуму.

Я говорю о сложностях гендерной идентификации. Как известно, наше патриархатное (не путать с патриархальным!) общество довольно рано навязывает своим малолетним членам определенные полоролевые стереотипы. О мальчиках сейчас не говорю, пусть с ними разбирается наш исторический фехтовальщик. Я — о девочках.

Во все времена девочке предписывалось быть доброй, скромной, мягкой... — думаю, список можно не продолжать. А уж насчет ума — известное дело, «волос долог, а ум короток». По этому поводу можно и Аристотеля процитировать, и Канта с Гегелем, да еще и Фрейда добавить — ну, плохо у женщин с умом, что ж поделаешь! Однако коня на скаку и горящую избу — это можем. Советское прошлое нам таких возможностей сколько угодно давало, да мы и сами их искали. Меня вот в геологию понесло, а моя подруга перед институтом год отработала на стройке каменщиком. Текущая же действительность сделала полоролевой стереотип гораздо более жестким. Дети смотрят телевизор, в частности рекламу, создающую образ глянцевого инфантильного дуры. «Я этого достойна!» — воркует красотка, пожелав очередную новую помаду. Вездесущая мода тоже пестует этот образ дурехи, все более раскрепощенной, подчеркивающей к месту и не к месту свою сексуальность, рекламирующей свой товар. Словом, кукла Барби.

Студийки же мои четко осознают себя Другими. И не вписываются в то, что им предлагают. У меня даже термин возник — «умные девочки».

Как-то на занятии я предложила им перейти от поэзии к журналистике и предложить темы, которые их действительно волнуют. Первая из прозвучавших — «Где брать умных мальчиков?», вторая — «Почему мне нравятся девочки?». Да, они позиционируют себя где-то посередине — не мальчики, не девочки. Вроде как третий пол. Я не могла сначала сформулировать их отличие от тех и других, так они мне сами подсказали ключевое слово — «рефлексия». Видовыми признаками обычных девочек они считают не только пристрастие к гламурным ценностям и главную жизненную цель — выйти замуж за красивого и богатого, но и слоган «живи без проблем». Надо сказать, что за это они ярко выраженных девочек вовсе не осуждают (даже снисходительно любят), разумно полагая, что каждому свое. Есть, по их мнению, еще одна категория — «неопределившихся девочек». (Вообще, довольно забавно наблюдать, как девятиклассница, год назад приносившая в студию пафосные тексты о Добре и Зле, вдруг резко меняет ориентацию и, дико выкрасив волосы, гуляет по школе с пирсингом в пупке, а на перемене в школьном туалете высыпает в вырез декольте горсть призывно мерцающих «блесток для тела»... ничего, ничего... молчание.) Возможно, это тоже необходимый этап становления личности, и, пройдя через него, барышни и сами проникнутся таким отвращением к выставленной на продажу женственности, что не вернуться к этому никогда.

Умные же девочки подобных излишеств в одежде себе обычно не позволяют и больше ценят стильную функциональность, к тому же жалуются, что оценивающие (вот он, рынок!) взгляды наших школьных «мачо», так радующие девочек обычных, этих унижают и травмируют. А раз уж появилось в этом тексте слово «травма», попробую экстраполировать процесс гендерной идентификации умных девочек в будущее время и выйти за рамки подросткового возраста.

С этой проблемой я обошла многих своих знакомых («умных женщин», которые когда-то, естественно, были «умными девочками»). Для большинства из них расспросы на эту тему оказались крайне болезненными — им легче было говорить

о семейных неурядицах, неверных возлюбленных и отбившихся от рук детях, нежели о трудностях гендерной идентификации. Некоторые даже признались, что принадлежность к «третьему полу» — главная травма юности, так или иначе определившая их дальнейшую жизнь. Тут начался просто настоящий «Театр.doc»! Выплеснувшихся на меня эмоций хватило бы не на одну пьесу. Интересно, что почти все опрошенные никогда не пытались осмыслить то, что с ними происходит, как явление социальное, объясняя все лишь своей личной «ненормальностью». Я еще раз убедилась, что ощущать себя лицом «третьего пола», не принятого двумя другими, — это особое дискомфортное состояние. Замечу при этом, что формально все они были членами каких-либо компаний, и внешне их статус выглядел достаточно благополучно. Однако внутреннее отчуждение от сверстников было настолько травмирующим, что у некоторых возникало чувство вины, с годами так и не прошедшее. (Один неглупый студент на мой вопрос, как он относится к умным девочкам, вообще страшно изумился: а зачем нам такие нужны?)

Впрочем, все однозначно дали ответ на вопрос: как им приходилось с этим жить, как это удавалось преодолеть? Вариантов не было — притворяться глупой (в один голос!). Везде — дома, на работе, в компании. И еще советовали: не трогай эту тему — заплуют!

Не здесь ли причина того, что умные девочки, не понимающие пока, что с ними собственно, происходит, нередко находятся в состоянии фрустрации и зачастую слывят «трудными подростками», гораздо более трудными, чем обычные девочки и мальчики. Эпатажное поведение, уходы из дома, конфликт со всем светом, переход в экстернат, депрессии — вот классический набор. Но когда школьные психологи разбираются с проблемой девиантного поведения той или иной «маленькой разбойницы», они почему-то никогда не рассматривают в качестве причины подросткового стресса именно трудности с гендерной идентификацией. Имея какое-никакое психологическое образование и роясь в такого рода литературе, я никогда не встречала даже признаков подобного подхода.

Известный факт — если в языке нет какого-то понятия, оно не осознается. Пиво «Клинское» и прокладки с крылышками стали элементами описания этого мира, а проблемы умных девочек не стали. Гендерология пытается сформировать свой понятийный аппарат, но ему еще далеко до того, чтобы им можно было оперировать. Видимо, поэтому любая апелляция к гендерному дискурсу воспринимается в нашем обществе как неловкость говорящего (вроде пролитого на скатерть супа) и вызывает ироническую усмешку. Ну не принято об этом! Секс с экрана — принято, «Та-ту» — принято, а это — ни-ни! Еще и феминисткой обзовут.

Возможно, поэтому наш литературный клуб временами превращается в своего рода тренинг самоидентификации, поиск будущего рисунка жизни. А литература тут почти ни при чем.

## **1. Текст первый. Марина, 13 лет**

### **Познай самое себя**

Я. Я — пресволочнейшее существо. Я страдает вялотекущей шизофренией с осложнением на мозжечок. В связи с чем у Я нескоординированные движения, неадекватные реакции и слабый контроль над собой (кстати, многие гении этим страдали). Я — совершенно свихнутая толкинистка. Я грузит всех желающих никому не нужной информацией о зомби, демонах, черной магии и якутской мифологии. Я больше заботят никому не нужные пыльные, всеми забытые божества всеми забытых народов, чем собственные одноклассники (не в обиду им будет ска-

зано). Я часами дрессирует компьютер. Я пишет длинные бесконечные романы fantasy и ни одного еще не написала. У Я в комнате постоянный бардак. Sorry! Не бардак, а художественный легкий беспорядок, Я считает, что бардак — это когда вещи ровным слоем в 50 см возлежат на всех относительно плоских поверхностях. Я наплевала на собственную внешность, поведение и всемирные моральные устои. Я не имеет совести, точнее, их у нее две, но обе как-то сильно халявят. Я никогда не делает домашних заданий иначе как на перемене. Я не задумывается о своем будущем. Старушки в метро при виде Я нередко крестятся. Я безумно любит себя. Я любит пасмурные дни и северный ветер. Я не видит снов, а если и видит, то только кошмары. У Я извращенная система ценностей (примерно как у семейки Адамсов). Я уверена, что Пушкина не было. Я не любит тепла и солнца. Я слушает металл. Я опасна для общества. Я — хамка и язва. Часто.

Я. Я — по сути своей добрая (когда сытая). Я любит леса и воду. Я гуляет под дождем и лечит горло мороженым. У Я на дисплее компьютера живет склонная к суициду собака. Я пишет стихи, которые теряет, никому не показав (не слушайте, Ирина Васильевна, не пишу я стихов!). Я придумывает бесконечные миры. Я находит образы в пятнах на обоях и облаках. Я не любит задумываться на вечные темы. Я любит шумные компании и праздники. Я часто мечтает (ага! о принце на желтом бронтозавре в зеленую клеточку!). Я производит хорошее впечатление на пожилых малознакомых женщин. Я любит готовить. Я — беленькая и пушистенькая. Редко.

## 2. Текст второй. Ксения, 14 лет

### Перемена, или Три девочки из многих (отрывок)

Вот и кончилась эта нудятина звонок слишком громкий оглохнуть можно Собрать учебники не забыть бы у Лизунчика забрать набор моих цветных ручек впрочем ей они нужнее Подхалимка уйди от меня неужели не понимаешь мне до тебя дела нет Выйти из этого класса насижусь еще там в коридоре лучше Какая у меня красивая походка все оглядываются только на каблуках еще не очень удобно надо учиться Год в этой школе а все еще не привыкли какая я красивая Джинсы самые модные люблюсь Вот и девочки а то и в самом деле скучно было бы одной У Ксюши джинсы моднее!!!! Я этого не переживу надо будет отомстить впрочем они не достойны меня не надо беспокоиться Настя успокойся Смотри какая наглая прошла попой вертит будто есть чем вертеть дать бы ей пинок под зад Пойти бы посмотреть расписание где сумочку оставить Девочки увязались за мной я же их кумир как они меня достали Хотя без них было бы сложнее добиться успеха Хотя что это я я ведь все могу В этой части коридора темнее Наверное потому что здесь нет окон Расписание вот сколько здесь народу будто всем интересно У нас будет история скука смертная двойку еще не получила слава богу нужно будет продолжать учителю глазки строить он в меня влюблен ясно как дважды два а кто в этой школе в меня не влюблен хотела бы я знать Иду обратно сидеть на диванчике там все наши весело только со старшими Опять этот мобильник ну кто там еще что от меня хочет Это мама говорит что я оставила свой доклад по биологии дома боже что делать прогуляю биологию скажу что голова болит Вот и диванчик привет девчонки Ася где ты купила этот свитер чудесная шмотка Боже боже боже на Тате такие же туфли как на мне кошмар что скажут люди если заметят главное чтобы не заметили спрячу ноги под диванчик о там нет места ну будь что будет боже только бы не заметили О чем они разговаривают О мальчиках отлично мне есть что им сказать Был у меня один такой да ладно не при детях же самый кайф был послать его какой урод был да

им такой и не снился зубы выпирали уши под углом 90 градусов зачем я только с ним что-то завела ах да просто так это было летом на даче все равно нечего делать Они заметили мои туфли! О нет только не это ну не говорите про рынок ну слава богу кто бы мог подумать что я буду радоваться звонку!

### 3. Текст третий. Кира, 14 лет

#### Мысли вслух

Одинокие тела бродят около тепла...  
О. Арефьева

\* \* \*

Легче всего доверять человеку, ненависть которого к тебе больше его собственной жизни.

Это самый надежный человек на свете.

\* \* \*

Вопрос Добра и Зла — не общечеловеческая проблема, она не имеет общечеловеческого решения. Это личное дело каждого.

\* \* \*

Когда братство очень разных людей зиждется на общем происхождении, на общем одиночестве, на общей идее и больше их не связывает ничего, трудно разглядеть химеру.

\* \* \*

Откуда ты узнаешь, что он о тебе действительно думает, почему терпит тебя, зачем ты ему, не сделал ли ты ему больно? Как ты поймешь, что вы идете вместе не только из-за того, что вокруг все — чужие? Что ты нужен ему?

Что он нужен тебе?!

Ты никогда не будешь точно знать. Ты никогда не будешь уверен.

Когда выбора нет выбрать невозможно.

\* \* \*

Если реальность так далека от мечты, то неважно, чуть хуже реальность или чуть лучше. Даже если потихоньку разрыв между ними растет, с этим можно свыкнуться. Постепенно становится просто все равно. Абсолютно.

\* \* \*

Каждая женщина, если она не безумна, желает быть слабее мужчины, быть под его защитой, засыпать у него на руках.

Даже если она очень сильная, даже если она мало похожа на женщину своей жизнью и привычками, она все равно мечтает, чтобы, пусть не всегда и не везде, пусть не постоянно рядом, но был мужчина, который понимает и хочет согреть, который просто бросит мимолетный взгляд, и этот взгляд скажет, что ему не все равно.

Женщине нужен мужчина, который сильнее, с которым можно плакать, можно быть слабой. Просто не всегда быть сильной.

Сильной женщине нужен мужчина, который просто будет идти рядом и ничего не скажет.

\* \* \*

Бесстрашие, если это не бесстрашие полного дурака, не от хорошей жизни. Оно оттого, что терять в жизни уже нечего. А сама жизнь, если ее лишить смысла, недорого стоит. И потерять ее не жалко.

\* \* \*

Читать нужно столько, сколько можешь прочитать, а затем переварить. Обжорство — грех.

\* \* \*

Я честен с тобою ровно настолько, насколько это необходимо, чтобы мое поведение можно было назвать честностью.

#### **4. Текст четвертый. Наташа, 13 лет**

##### **Влюбленная дура**

Я похожа на корову, которая, заметив ухаживания со стороны быка, возомнила себя стройной ланью! Не удосужившись сбросить лишний вес.

— Осторожней!

— Спасибо.

...Спасибо. С точкой. А почему, собственно говоря, не с восклицательным знаком? Я веду себя так, будто делаю ему одолжение! И кто бы знал, как мне не хочется быть влюбленной дурой! Хотя, в принципе, либо я дура, либо не влюбленная. То, что я дура — факт. Так что эта часть меня не смущает. Но быть влюбленной обязывает...

— ...И вот мы туда вошли...

...Интересно, куда они пошли?.. Действительно, я дура, но не влюбленная! Нормальная влюбленная дура как следует слушает, усиленно хлопает ресницами и все время поддакивает!.. Ладно, буду вживаться в роль... У меня от такого хлопанья глаза болят!..

— Да, да, как интересно!

— *Что* интересно?!

#### **5. Текст пятый. Саша, 13 лет**

\* \* \*

Здесь рассеяны следы света и разума,  
Здесь царит зеленоватое подобие хаоса,  
Здесь плавают странные блеклые образы  
Из мифологии и из истории,  
Рядом с богами забытого племени  
Храпят мастодонты советского времени,  
Здесь Пушкин с Дантесом вечно стреляются,  
Славяне и викинги часто встречаются,  
Здесь рифмуются с болью строки бредовые,  
И тут же идеи сгущаются новые,  
Сны ничейные бродят отрывками мятыми,  
Не совсем замеченными, совсем непонятыми,

Здесь афоризмы слоняются кучами —  
Грозою набрякшие тени летучие,  
И все, что написано мною ранее,  
Клубится в месиве моего подсознания.

## 6. Текст шестой. Женя, 14 лет

\* \* \*

Вчера, на исходе тяжелого трудового дня, мы с моим другом гуляли по парку. Стоял теплый весенний вечер, и звезды только-только начали появляться на голубом небосклоне.

Мы ходили по парку, было безлюдно, никто не тревожил нас. Но неожиданно мы вышли на освещенную розовыми фонарями площадку. И вообразите себе наш ужас, когда мы увидели, что происходило на той площадке! Это было чудовищно! Вся площадка сплошь была уставлена маленькими скамеечками, на каждой из которых сидели по несколько пар влюбленных и целовались! Мне сделалось дурно. Тут я заметила, что от ближайшей скамеечки отделилась одна парная фигура и пошла по направлению к нам. В ужасе я прижалась к своему другу. «Не бойся, — прошептал он, — мы не дадим им взять нас живьем. Будем держаться до последнего». Парная фигура подошла к нам вплотную. И отвратительно сладко улыбнулась. «Милые вы наши, дорогие! Присоединяйтесь!» — сказала фигура, являвшая собой слившихся в одно юношу и девушку, блондинов с голубыми глазами. «О, нет!» — вырвалось у меня. «Бежим!» — закричал мой друг, и мы со всех ног бросились прочь от этого ужасного места. Но сколько бы мы ни бежали, мы не могли выбраться с площадки. Сжимали кольцо парные создания, разверзая свои алчные рты со стекавшей оттуда слюной — они хотели лишь одного — заставить нас поцеловаться. Нет! Что делать? Я была в отчаянии. Как выбраться из адского кольца? Но тут моего друга осенила гениальная мысль:

— Ах, смотрите! Это же Купидон летит!

Парные создания закопошились, забегали и начали делать все возможное, чтобы попасться на глаза Купидону. Тут-то мы рванули на полной скорости. На этот раз нам удалось вырваться, ибо создания были заняты только несуществующим Купидоном. Мы бежали все дальше и дальше, пока не выдохлись. Оглядевшись по сторонам, мы поняли, что провидение привело нас прямо к порогу моего дома. Мы распрощались и пошли спать. Больше мы с другом не ходим в этот парк.

Собираясь под вывеской литстудии, они хотят разговаривать о вещах, о которых больше говорить не с кем. Невозможность содержательных разговоров — основная причина их разочарования в прочих подростках. Они держатся стайкой — это помогает им сформировать свою референтную группу, — но еще не знают, что найти настоящую подругу, способную адекватно тебя понять, можно только внутри этой группы, и это настоящее счастье, о котором потом вспоминают женщины не самого юного возраста, потому что в конце концов оказывается — эти отношения были радостнее и гармоничнее мучительно не складывающихся отношений с противоположным полом, никогда не свободных от гендерных паттернов подсознания.

Куда умным девочкам деваться дальше? Современная культура как бы табуирует истинную умную женственность. У них есть два варианта — усвоение мужских стереотипов и ценностей или попытка сохранить свою самоидентичность, стать реальной женщиной, без навязанных чужих образцов.

Первый путь дает возможность реализации в качестве бизнесвумен, женщин-политиков или фаллоцентричных литературных критикесс. У таких есть шанс достигнуть успеха в мужском мире. Они заранее выбирают напор и агрессивность

как осознанную стратегию и становятся тем, что по-простому называется стервой. (Целую коллекцию психологических пособий на тему «Как быть стервой» я с удивлением обнаружила в большом книжном магазине.) Вторые, при всем своем уме, не могут отказаться от своей женской сути, такой неагрессивной, а посему выбор между «быть» и «иметь» делают в пользу «быть». И тут возможен весь спектр — от умных домохозяек, ушедших в заботы о семье (что тоже чревато неврозом!), до не очень-то социально успешных маргинальных профессорш и поэтесс.

Пока полоролевой стереотип общества будет все навязчивей предлагать женщине роль инфантильной куклы, умным девочкам будет все более некомфортно в таком мире. (Инфантильная-то инфантильная, а своего не упустит — нам ведь все уши прожужжали, что «лучшие друзья девушек — это бриллианты». Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке — вот и сиди голая на морозе.) При этом никто не отменял трескучую риторику о том, что гендерные роли сближаются, что в цивилизованных странах у женщины возрастает число возможностей, равных мужским. Хотя проблему все-таки осторожно формулируют — не случайно же появляются термины «гендерквир», «гендерная некомфортность», «гендерная дисфория» и тому подобные, хотя чаще всего в связи лишь с трансгендерным переходом. А я говорю вовсе не о переходе, а о том, что ролевые стандарты не только разводят мальчиков и девочек в разные стороны, но и уводят от собственной идентичности. Это всегда происходило, но во времена победы гламура — особенно жестко.

— Ну, может, вы не правы? — спросила я своих девочек. — Не одни же вы умные. Вон Миша среди вас присутствует.

Ответом был искренний хохот: «Миша — тоже умная девочка!»

Р. С. Закончить, что ли, характерной цитатой: «...если в женщине видеть человека, да еще себе равного, то никакой половой акт в принципе невозможен» (Сергей Боровиков, «Новый мир», 2004, № 12. С. 139)? Может, в этом все дело?



Владимир ЕЛИСТРАТОВ

## НЕОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ РУССКОГО ЯЗЫКА\*

*Список слов*

ЖАЛОСТЬ, ЖЕРТВА, ЖИЗНЬ,

ЗЕМЛЯ, ЗЛО,

ИСТИНА,

ЛЕНЬ, ЛОЖЬ, ЛЮБОВЬ и НЕНАВИСТЬ,

МЕЧТА, МИР и ВОЙНА

### ЖАЛОСТЬ

Если попытаться кратко проследить эволюцию значения русского слова *жалость* (а также однокоренных *жаль*, *жаловать*, *жалко*, *жалеть* и др.) за последние полтысячелетия, то можно сказать так: это слово заметно потускнело, поблекло, даже — увяло.

*Жалость* сейчас — это сожаление, печаль, соболезнование, сострадание. Можно с *жалостью на кого-нибудь смотреть, сделать что-нибудь из жалости*. В этом корне есть даже нечто этикетное, официальное. *Мне очень жаль, но...* — это сухой отказ. Подать жалобу — значит действовать в судебном порядке. В слове *жаловаться* есть что-то, с одной стороны, «занудное» (нравится ли нам человек, который все время на что-либо жалуется?), с другой — нехорошее, нечистоплотное, потому что *жаловаться* — значит еще и наушничать, ябедничать, наговаривать. В словах *жаловать, жалованный* присутствует что-то «надменное», «неравноправное»

---

Владимир Станиславович Елистратов родился в Москве в 1965 году. Окончил филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова в 1987 году. Защитил кандидатскую диссертацию по филологии в 1993 году, докторскую диссертацию по культурологии в 1997-м. Заслуженный профессор МГУ. Преподает риторику, семиотику, историю литературы, современный русский язык, культуру речи, лексикографию. Лауреат премии имени Шувалова I степени. Автор книг «Арго и культура» (1995), «Трактат рго таракана» (1996), «Словарь русского арго» (1994, 2000), «Язык старой Москвы» (1997, 2004), «Словарь крылатых фраз российского кино» (1999, 2010), «Словарь языка Василия Шукшина» (2001), «Толковый словарь русского сленга» (2010), «Нейминг: искусство называть» (2013, совм. с П. А. Пименовым), «Словарь жаргона русского капитализма начала XXI века» (2013) и др. Автор более 700 публикаций. Работы переведены на немецкий, венгерский, болгарский, английский языки. Переводчик, поэт, прозаик, эссеист, публицист. Автор сборника юмористических рассказов «Тю! или рассказы российского туриста» (2008), поэтических сборников «Московский Водолей» (2002), «По эту сторону Стикса» (2005), «Духи мест» (2007). Печатается в журналах «Знамя», «Октябрь», «Нева», «Поляна», «Дружба народов», «Наука и жизнь», «АиФ — путешествия», «Аэрофлот» и др., постоянный автор газеты «Моя семья». Живет в Москве.

\* Продолжение. Начало в № 1—2, 2017.

(жаловать шубу с барского плеча, жалованная вотчина). Тот же «атавизм неравноправия» явно слышится в жалованье. Выходит, что если я получаю жалованье, то я его не заработал, а мне это жалованье снисходительно пожаловали. В слове *пожаловать* в значении прийти, приехать угадывается отчетливая ирония (*пожаловал* — значит «явился, не запылится»). Если у кого-то *жалкий вид*, то он вызывает не только (и не столько) жалость, сколько неловкость, пренебрежение, презрение, брезгливость. *Жалеть* — это не только испытывать жалость, это еще и скупиться.

В общем, это понятие обросло массой побочных оттенков смысла, уже никак не связанных с жалостью как с сильным сострадательным чувством.

А между тем раньше этот корень был очень экспрессивным. Пожалуй, единственное современное русское слово, сохранившее его, — это *жало* (например, змея). Кстати, в ряде русских говоров жало — это еще и острие (иглы, ножа и т. п.).

Исконно этот древний корень был связан со значением колоть, боль, страдание, мука, смерть.

*Жалеть* до сих пор во многих языках — это не просто испытывать некое сочувствие, более или менее сильное, чаще — пассивное, не предполагающее никаких конкретных действий. Нет, жалеть значило оплакивать, скорбеть, носить траур, испытывать физическую боль. *Жаль* («кел») — по-армянски — нарыв.

В русском языке пятьсот лет назад *жаль*, *жалость* — это горе, страсть, ревность. Были такие слова *желя* и *жиля*, которые означали плач, оплакивание. В старославянском языке *жаль* — гробница. В русском *жаль*, *жальник* — могила, кладбище, *жальничный* — кладбищенский. *Жальбище* — опустошенное, разоренное место.

*Жалейка* — дудка, издающая особые жалостливые звуки.

Как мы видим, *жалость* должна была изначально *жалить*, как змея. *Жалость*, таким образом, должна находиться на грани жизни и смерти. Философы сказали бы, что это глубоко экзистенциальное понятие, в котором сконцентрированы «последние», главные вопросы человеческого существования.

*Жалость*, говоря шекспировским языком, задает нам вопрос «Быть или не быть?» Испытывать жалость — значит быть. Вернее — Быть. Не знать жалости — значит не быть настоящим человеком, прозябать, влачить бессмысленное существование.

*Жалость* несет в себе не только идею сострадания, но и идею исконной, настоящей любви. В русских диалектах *жалёный*, *жалкой*, *жалобочный*, *жалоба* значило возлюбленный, любимый, «зазноба». На Руси так и обращались к любимому или любимой: *жалоба ты мой (моя)!*

Все-таки *жалко*, что в современных людях нет больше такой сильной, могучей, напряженной, всепоглощающей *жалости*, которая была в наших предках.

Или, может быть, она есть, но мы просто не умеем ее выразить?..

## ЖЕРТВА

«Жертва» — очень интересное слово. Можно даже сказать: слово странное, мистическое. И очень русское, объясняющее многое в национальном характере.

Древнейший еще общеиндоевропейский смысл этого корня — «взывание», «превозношение», «восхваление» (разумеется, божества).

Превозносить и восхвалять божество, взывать к нему нужно было не только словами молитвы, заклинания, но через принесение ему конкретного дара — жертвы. В узком смысле имеется в виду жертва, которая приносится в дар божеству жрецом в процессе жертвоприношения. Именно это значение обычно и указывается первым в словарях.

Но есть у этого слова и более широкий, обобщающий смысл.

«Жертва» в русском языке — это, по сути, все, что отдается во имя чего-то. Чего-то важного, ради чего вообще-то «стоит отдавать», даже если речь идет о самом человеке, его жизни.

Мало того, «жертва» — это еще и тот, кто пострадал или погиб от чего-либо: от землетрясения, несчастного случая, злого умысла.

Интересно, что во многих других языках (английском, французском, испанском и др.) эти значения «обслуживаются» совершенно другими корнями. Одно дело — «sacrifice» и совсем другое — «victim».

«Sacrifice» — это, так сказать, «высокая жертва». «Приносить жертву», «ценой больших жертв» и т. п. — это «sacrifice». А «стать жертвой» преступника или выбрать себе «жертву для убиения» — это «victim».

А есть, например, в английском еще и «offering», «donation», «endow». (Кстати, «жертвователь» — это «donor», «жрец» — «priest», а «жертвенник» — «cendence»...) У нас тоже есть «дары», «доноры», «подарки», «презенты» и т. п., но это другое.

Русский язык упорно объединяет это большое и пестрое смысловое поле одним корнем. Что ж объединяет обряд древнего жреца, «принесение себя в жертву Родине», «пожертвование денег детскому дому» и «жертву ДТП»? Почему во фразах «я принес себя в жертву идее» и «я стал жертвой землетрясения» мы мыслим себя именно как *жертву*?

Да по той же самой причине, по которой, например, святыми на Руси становились и становятся «просто убиенные» (Борис и Глеб, царская семья). Человек пострадал, принял муки, значит, он уже принес себя в жертву чему-то высшему: Богу, Справедливости, Правде. «Просто так», впустую люди на земле не страдают. Отсюда вечная любовь русских ко всем «несчастненьким», о чем так много пишет русская классическая литература. Перечитайте, к примеру, Достоевского: все маленькие, убогие, пьяненькие, как Мармеладов, «униженные и оскорбленные» — все это никакие не «victim», а самые настоящие «sacrifice».

Русский человек всегда и во всем, даже в мелочах, апеллирует к высшим силам. Например, лингвистам хорошо известно, что самые сокровенные, интимные чувства русские выражают обобщенно-лично: «мне взгрустнулось», «мне не верится», «мне не дышится», «мне не естся» и «мне не пьется», «чудится мне» и т. д. Внутренний мир человека напрямую связан с Небом, Вечностью, Бытием, Абсолютом, Богом. И все, что происходит с человеком, происходит не просто так.

Мы все — словно древние жрецы. И каждый миг своей жизни стоим у невидимого жертвенника и совершаем бесконечный обряд жертвоприношения.

Слово «жертва» — очень важное слово. Оно помогает найти в жизни высший смысл. Конечно, тому, кто его ищет.

## ЖИЗНЬ

Корней Иванович Чуковский назвал свою знаменитую книгу о языке «Живой как жизнь». Если рассматривать это название поверхностно, то перед нами простая тавтология. Что-то вроде «красивый как красота» или «умный как ум». Если же вдуматься в него поглубже, то мы увидим: оно очень непростое и в высшей степени оригинальное.

Что же такое «жизнь»?

Во-первых, «жизнь» — это не что иное, как бытие, существование. Формально гамлетовский вопрос «To be or not to be?» вполне можно перевести на русский язык как «Жить или не жить?» или «Существовать или не существовать?»

Мы говорим: «жизнь Вселенной». Философ скажет: «бытие мира» или как-нибудь так: «экзистенция сущего». Можно выразиться и попроще: «существование всего». То есть слово «жизнь» в русском языке — это, проще говоря, «все, которое есть», «реальность». Что такое «провести решение президента в жизнь»? Сделать его реальным, сделать частью бытия.

В-вторых, «жизнь» — значит органическое, биологическое, физиологическое существование всего живого: человека, растения, животного и всех их вместе. Греческое слово «биология» можно перевести как «жизневедение». В этом значении слово «жизнь» является как бы одушевлением, олицетворением своего первого значения. Если я скажу «жизнь фонарика», то я мыслю «фонарик» как живой, например — как персонаж какой-нибудь сказки.

В-третьих, «жизнь» — это время или период жизни («жизнь человека», «жизнь на даче»). Мы видим, что третье значение — словно бы «отрезок» первого и второго значений: «часть бытия», «отрезок существования», «этап жизненного процесса».

В-четвертых, «жизнь» — одна из форм этого самого времени или периода («семейная жизнь», «интеллектуальная жизнь», «концертная жизнь»).

Наконец, в-пятых, жизнь, можно сказать, «энергия проявления самой себя» («большая жизнь», «напряженная творческая жизнь»).

Видите, данное слово — своего рода смысловая матрешка: «существующее все» — органическая часть этого «всего» — форма «всего» — яркая, интенсивная проявленность «всего». Или так: это клубок смыслов, где все нити тесно переплетены. Жизнь — смысловой синтез, «всё во всём».

Совершенно закономерно, что этот корень («жить», «живу», «жизнь») имеет колоссальное количество производных слов и богатейшую фразеологию. От «наживить червячка» до «жизнь прожить — не поле перейти», от шутливо-ласкательного «жизнечок» (у А. Островского) до «жития святого», от просторечного грубого «живоглот» до «отдать жизнь за Родину».

Этот корень вездесущ. Он в том или ином своем проявлении присутствует во всех сферах нашей жизни: в фольклоре («живая вода»), литературе («жизнеописание»), искусстве («живопись»), экономике («животноводство»). Даже в школьной программе есть жизнь («ОБЖ»).

Может быть, это самое главное слово (и уж точно — одно из самых главных слов) в русском языке. Ведь оно — и весь мир, и то единственное, неповторимое, что есть у каждого из нас, та самая жизнь, которая, по словам одного из лучших героев советской литературы, «дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы».

Оно, это слово, — *живое, животрепещущее, жизненное, жизнеутверждающее, жизнерадостное, животворное...* Оно — корень нашего *жизнеощущения, жизнелюбия, жизнетворчества, жизнестроительства*, источник нашей *жизнеспособности и жизненной силы*. И эта сила прежде всего — в нашем родном языке. Который, как совершенно точно и — одновременно — многомерно сформулировал К. И. Чуковский, «живой как жизнь».

Теперь вы понимаете, что язык действительно живой? И что «жизнь языка» — это и есть «язык жизни»?

## ЗЕМЛЯ

Земля — одно из самых многозначных продуктивных слов русского языка.

Сейчас модно составлять всевозможные рейтинги. Так вот если бы существовал некий универсальный рейтинг слов, то *земля* заняла бы, вне всякого сомнения, одно из первых мест в русском языке.

*Земля* в смысловом плане очень интересное и глубокое слово. И есть прямая, пусть и кажущаяся на первый взгляд мистической связь между этой широтой-глубиной и планетарными масштабами России. Россия — самая большая страна в мире («широта»), обладающая неисчерпаемыми природными ресурсами-недрами («глубина»). Все это не просто так, не случайно.

Вся историческая логика России строится вокруг земли. *Русь, русские, россияне* — это не только и не столько этническое наименование (то есть название народа, нации). Это те, кто живет на русской (российской) земле.

Пушкин пишет: «Стальной щетиною сверкая, не встанет русская земля?» В каком значении здесь употребляется словосочетание *русская земля*? В значении «русские», те, кто живет на русской земле.

Подобная «одушевленная метонимия» встречается во всех языках мира. Француз скажет *Франция* в значении «французы». Немец скажет *Германия* в значении «немцы». Но русские почему-то очень часто говорили на протяжении всей истории, особенно в годы бедствий, войн, не просто *Россия*, а именно *русская земля*. Если уж «плач», то не о *погибели Руси*, а о *погибели земли русской*.

*Земля* в русском языке — это планета как космический объект; планета как место обитания и жизни человека; верхний слой земной коры; грунт, почва, то, по чему мы ходим; реальная действительность (в отличие от идеального мира); суша («не вода и не небо»); страна-государство; территория с сельскохозяйственными угодьями; территория, находящаяся в чьей-либо собственности... Есть и масса других устаревших или специальных значений, например, наименование красок или фон, по которому сделан рисунок. Наконец — это старое название буквы алфавита — З, символизирующей также цифру 7, которая, в свою очередь, очень «непростая», символическая цифра (семь чудес света, семь дней недели и т. д. и т. п.). Но это — кстати.

Русский язык, как мы видим, настойчиво сохраняет «единое» слово *земля* как «носителя» множества значений, у каждого из которых есть синонимы: *планета, почва, «твердь», мир, свет, территория, участок, край, страна* и др.

Вы наверняка изучаете английский язык. Откройте русско-английский словарь и попробуйте найти перевод русского слова *земля*. Одного точного перевода вы не найдете. Переводов будет много: *earth, ground, land, soil, globe, planet, territory*.

Та же история будет с однокоренными словами.

Русский, к примеру, говорит: *земляк*. И все. Это — и *русский*, и *из моего поселка*, и *из моей области*, и *из моего города*, и *из моей страны*, в зависимости от ситуации. И даже вне зависимости от ситуации. *Земляк* может быть просто дружеским обращением к любому говорящему по-русски человеку.

А вот англоязычный человек обязательно разделит *земляка* по стране, по городу или по деревне. По-английски это будут совсем разные слова. И совсем разные *земляки*.

Обычно такое качество русского языка называют синтетизмом, в отличие от аналитизма языка английского. И не только английского. Попробуйте проделать тот же эксперимент, например, с французским. И вы убедитесь: аналитизма там все равно больше, чем в русском.

Синтетизм в данном случае — это как бы связывание воедино, соединение, «собираение» разных элементов смысла в одном слове.

Такой синтетизм русского языка — прямая аналогия своеобразного и неповторимого синтетизма русской истории.

Что последовательно делали сначала московские князья, а затем цари, императоры, генеральные секретари ЦК КПСС и — надеемся — будут делать и впредь президенты? Какую политику они упорно вели? Они *собирали* русскую землю. Сохраняя своеобразие разных *земель* и населяющих их народов, но вместе с тем объединяя их в единую и огромную русскую землю, которая постоянно *прирастала* все новыми и новыми, опять же, *землями*.

В этом смысле слово *земля* с ее «федерально-смысловым» разнообразием, огромным словообразовательным гнездом и разветвленной фразеологией есть словно бы языковая модель России, ее «лингвистический макет».

В нашу речь все больше входят различные современные синонимы *земли*. Мы говорим о *планетарности, территориальных проблемах, засолении почвы, геополитике* (*гео* — это по-гречески земля) и т. п. Все реже употребляем такие выражения, как *земля уходит из-под ног, вырасти точно из-под земли, земля горит под ногами, земля-матушка*.

Многие слова, образованные от этого корня, нами уже, к сожалению, забыты. Они хранятся в словарях, как некогда роскошные, а ныне высохшие растения в гербариях. Что такое, скажем, *землевик, земледоволец, землеобъятное море, землетряскакий, землеуходчик?*..

А ведь слова эти яркие, сочные, выразительные. Откройте словарь В. Даля — и посмотрите, что они значат.

Давайте же чаще вспоминать и употреблять слово *земля* во всех его значениях, а также однокоренные с ним слова и выражения с этим словом.

Будет жить слово — будет жить и наша земля. Потому что, как говорили наши предки, называть — значит давать жизнь.

И это никакое не преувеличение.

## ЗЛО

Всем понятно, что «зло» в целом — антоним «добра». «Зло» — плохо. «Добро» — хорошо. В сказках добро обязательно побеждает зло.

Зло — «нечто дурное», вредное, противное добру; беда, несчастье, неприятность; досада, злость (С. Ожегов). То есть, иначе говоря, «зло» — это нечто «плохое» вообще, «плохое» событие и «плохое» чувство. При этом заметим, что зло обязательно подразумевает деятельную активность. Зло не просто абстрактное нечто со знаком минус, оно «вредит» или «затаивается», чтобы действовать во вред кому-нибудь или чему-нибудь.

«Активность» зла очень отчетливо отражается и в самом языке. Этот корень — один из самых продуктивных. Он имеет очень большое словообразовательное гнездо, и от него образовано огромное количество фразеологизмов.

Возьмем словообразование. В современном русском языке, как известно, есть множество сложных слов с корнем «зло»: *злорадство, зловоние, злопамятный, злокачественный, злодейство, злокозненный, злоречие, злоупотреблять, злословие, злосчастный* и т. д. и т. д. А раньше подобных слов было еще больше: *зловерие, злоторец, злославский, злохищник, злокипящее* (сердце), *злойменитый, зломудрый, злонаходчивый, злонрыливый, злоплодный, злоприобретенный, злосмрадный* и др.

Не правда ли, весьма сочные, выразительные слова!

«Зло», как мы видим, легко «приклеивается», «прилепляется» к любому понятию, к любому действию, к любой вещи. Вы можете сами легко сочинить какое-нибудь «злослово». «Злопогодный день». «Злотестовое задание по русскому языку». «Злоипотечное кредитование». «Злообменный курс валют». «Злорекламная пауза»...

Но ведь именно такова природа зла! Оно вездесуще, извратливо, хитро, навязчиво. И это хорошо видно по самой истории, этимологии этого корня.

Во многих индоевропейских языках он присутствует и столь же активен, как и в русском. В разных языках он как бы высвечивает различные бесконечные «границы зла»: это — грубость, свирепость, греховность, озлобленность, наглость, дерзость, упрямство, несправедливость, обман, бесчеловечность, ложь, фальшь, черствость, надоедливость и т. п.

Но интересно, что чем глубже мы уходим в этимологию, чем «исконнее», «древнее» этимон зла, тем отчетливее высвечивается его суть.

Самое древнее, трех-четырёхтысячелетней давности, значение этого корня можно определить примерно так: совершать зло — значит кривиться, изворачиваться, вихлять, изгибаться, кривить (душой), идти вкривь, сбиваться с истинного пути, заблуждаться, блуждать.

Видите: зло соотносится с идеей кривизны, «непрямоты» мыслей, чувств, слов, дел.

Можно сказать, что по сути добро — это правда, а зло — кривда. Добрый — значит прямой, а злой — кривой. Если человек прямодушный — значит он добродушный. Это, в общем-то, синонимы. Как к слову «криводушничать» можно образовать синоним «злодушничать».

Из древнего корня «зло» видно и то, что оно, при всей своей змеиной хитрости и изворотливости, есть не что иное, как отход от истинного пути, заблуждение.

Зло, обманывая и, может быть, даже подчас побеждая добро, тем не менее беспомощно блуждает, кружится и путается. Оно, говоря по-русски, непутево. Стараясь сбить с прямого пути добро, оно само не знает, куда идет. Выражаясь иначе, более «умное», зло не имеет своей мудрой перспективной стратегии, у него есть лишь сиюминутная хитрая тактика.

И именно поэтому «генеральное сражение» добра со злом во всех культурах мира (от мифов и фольклора до классических романов и кинофильмов) заканчивается победой добра.

## ИСТИНА

В основании значения этого слова лежит идея верного соотношения, адекватности, соответствия. Есть то, что мы думаем о мире, исходя из нашего мышления и опыта, и есть мир — такой, какой он на самом деле. «Истина» — это «правильный мостик» между нами и миром.

С. Ожегов, например, дает именно такие толкования истины: «1) В философии: адекватное отображение в сознании воспринимающего того, что существует объективно, 2) То, что соответствует действительности (это — первое значение слова правда), 3) Утверждение, суждение, проверенное практикой, опытом».

«Истина», говоря иначе, — это сообразность, соразмерность, созвучность, согласие, гармония между нами и миром. «Истинный» — значит подлинный, настоящий.

Это слово в себе сохранило на протяжении веков свою исконную этимологическую сердцевину (так называемый этимон). «Истинный» восходит к «истый», которое в большинстве славянских языков означало просто «тот же самый», «такой же».

А раз «такой же» — значит, ему можно доверять. Отсюда самые различные значения: «определенный», «подлинный», «точный», «уверенный», «несомненный», «существенный», «правильный» и отсюда — даже «ревностный», «усердный».

Сочетание «ст» («st») в «истине» этимологически то же, что и в словах «стоять», «стать», «настоящий», «простой» (то есть ясный, незамутненный) или «снежный наст».

«Ст» — это что-то настоящее, твердое, устойчивое, на что можно опереться, встать.

Не случайно «истина», в том числе и в древнерусском языке, — наличные деньги, капитал (причем первоначально — основной, без процентов, «честный», без всяких ипотек и ростовщичества!) и, соответственно, законность.

В других языках этот корень был связан с «собственностью», «владением», «состоятельностью» и, по некоторым сведениям, даже с глаголом «быть».

«Истина» — понятие, как мы видим, очень конкретное, рациональное. Истина целиком и полностью зависит от человека. В русском языке слова «истина» и «правда», хотя и отчасти синонимичны, тем не менее очень удачно, гармонично «поделили полномочия». Очень точно их различие передано в русской пословице: «Истина от земли, а правда с небес». Человек, которому не везет, которого преследуют неудачи, может в сердцах воскликнуть: «Совсем нет правды на земле!» Это, конечно, неверно. Но доказать рациональным путем, что правда на земле существует, — нельзя. В правду нужно верить.

А вот высказывание «нет истины на земле» изначально абсурдно. Любой может прийти к истине, то есть увидеть мир таким, каков он есть, или «направить на путь истинный» другого.

«Воистину» так...

## ЛЕНЬ

В толковых словарях слово «лень» толкуется как нежелание работать и нежелание вообще делать хоть что-нибудь, нелюбовь к труду, к активной деятельности. Если слово «лень» выступает в роли сказуемого («мне лень пылесосить квартиру»), то оно — опять же — выражает идею нежелания: «не хочется», «неохота».

Парадоксально, но «лень» в какой-то мере есть не что иное, как синоним буддийской «нирваны». Что такое нирвана? Полное отсутствие желаний, страстей. Древнегреческие философы-стоики, кстати, стремились к состоянию, когда человек свободен от желаний. Они называли такое состояние «атараксией» или «апатией». Сейчас «апатия» (что-то вроде «тотальной лени») — это плохо. Две с половиной тысячи лет тому назад апатия была идеалом: тот, кто достиг апатии — достиг так называемой эвдемонии, то есть состояния счастья.

Мы, конечно, несколько сгущаем краски. Лень — это, конечно же, нехорошо. Это не нирвана, а, скорее, «псевдонирвана». Но тем не менее «образ лени» в русском языке и русской культуре не так уж однозначно отрицателен.

Об этом говорят русские пословицы. Наряду с пословицами, осуждающими лень (их, ясное дело, значительно больше!), есть, например, и такие: «Ленивому всегда праздник», «Лень одежду бережет», «Ленивый что богатый: всегда гуляет», «Лень прежде нас родилась» и т. п.

Иван-дурак из русских народных сказок, как известно, не отличается большим трудолюбием. А ленивый Илья Обломов из, как сейчас бы сказали, «культового» романа И. А. Гончарова — более чем симпатичный, обаятельный и весьма «харизматичный» персонаж.



Русский народ ласково называет уютную лежанку у печи «ленивкой», «ленивицей», «ленухой», «ленушкой», а целый ряд вкуснейших блюд сопровождает эпитетом «ленивый»: ленивые щи, ленивые пельмени, ленивые голубцы, ленивые вареники, ленивые сырники.

Нет, это не оправдание лени. Это глубокое и мудрое понимание того факта, что лень — неотъемлемая, неизбежная часть нашей жизни, что не все определяется «деланием», работой (хотя, разумеется, «терпение и труд все перетрут» и т. д. и т. п.).

Мало того: надо помнить, что русский язык и русская культура невероятно самокритичны. Давно уже бытует стойкий миф о «русской лени». И этот миф создан нами самими. Только ленивый (извините за тавтологию) не повторяет знаменитую сентенцию А. С. Пушкина о том, что «мы ленивы и нелюбопытны». Правда, очень немногие могут сказать, где и в каком контексте это было Пушкиным написано. А написано это было в «Путешествии в Арзрум» (1836), и более развернутая цитата выглядит так: «Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны».

«Мы» — это кто? Друзья Грибоедова, включая самого Пушкина? Современники Пушкина? Русские вообще? «Мы» вообще очень хитрое слово: оно может значить и «я», и «мы», и «он», и «вы», и «они».

И вспомним к тому же, как впоследствии тщательно и подробно, трудолюбиво и досконально была изучена биография Грибоедова!

Нет, не так уж «мы» «ленивы и нелюбопытны». «Ленивый и нелюбопытный» народ не построил бы самое большое государство в мире, не победил бы в самых кровопролитных войнах, не вышел бы первым в космос, не создал бы величайшую классическую литературу, не говорил бы на таком удивительном языке.

Любой ленивый никогда не считает себя ленивым, а думает, что он труженик, любой настоящий труженик каждый день, каждый час клеймит себя за лень.

Так давайте каждый день и каждый час трудиться не покладая рук и повторять: «Мы ленивы и нелюбопытны».

Как величайший труженик Александр Сергеевич Пушкин.

## ЛОЖЬ

Классическое толкование слова «ложь» — «намеренное искажение истины, неправда, обман» (С. Ожегов). То есть «ложь», «лгать», «лжец» — это вроде бы однозначно плохо. «Ложь» — это «антиправда», «антиистина». То, что по Солженицыну надо «жить не по лжи», принимается всеми (интересно, кстати, что фамилия классика как бы провоцирует присутствие в ней корня «ложь», хотя на самом деле происходит от «солод», «соложение» — выращивание зерна в солод).

Вместе с тем слово «ложь», и все огромное словообразовательное гнездо (от «лгуна» до «ложноножки»), и вся бесчисленная фразеология с этим корнем (от «красно поле рожью, а речь ложью» до «ложь во спасение») далеко не так однозначно оценочны. «Ложный» — это не обязательно «плохой», он может быть просто «ошибочный». «Ложная скромность» — это, конечно, нехорошо. Но в ней нет «злого умысла». А уж какая-нибудь «ложногусеница» совершенно не виновата в том, что она не гусеница.

Если считать первым вопросом человеческого существования шекспировский вопрос «Быть или не быть?», то (если уж «быть») наверняка вторым будет вопрос «Лгать или не лгать?».

Спор о «благородной лжи» идет уже не первое тысячелетие. Начали его не горьковские Лука и Сатин. Были спорщики и посолондней. Многие, мягко говоря, неглупые люди настаивали на том, что ложь необходима. Например, Платон в «Государстве» четко и ясно говорит: мудрецы, правящие государством, должны лгать народу для его же (народа) блага.

Что же такое ложь «на самом деле»?

Ложь имеет цепкую, живучую мимикрийно-паразитическую природу. Ее основное качество — изменчивость и многоликость. В отличие от правды, которая — одна. Не случайно в монотеистических религиях Бог един и является бытийным, «онтологичким» синонимом Правды, а Дьявол принципиально многолик и является по сути Ложью.

Огромное количество психологических, политологических, социологических, риторических и т. д. исследований, посвященных лжи.

Существуют десятки, сотни видов лжи («количественная», «качественная» искажение, двусмысленность, лжесвидетельство, лесть, умолчание, притворство, уловка, оговор, плагиат, блеф и т. д. и т. п.), которые объединены во множество классификаций. И само словообразование с этим корнем невероятно «изошренное», какое-то вертлявое, как бес.

Ложь, лжа, лыжа, лгать, лыгать, оболгать, изолгаться, лгун, лжец, лгач, лживец... Столь же обильна и синонимика: гнать, брехать, врать, свистать, заливать, п...ть...

Есть, кстати, рейтинги самых лживых профессий. Забавно, что сейчас именно самые популярные профессии, вроде юристов, менеджеров, пиарщиков и проч., неизменно занимают первые места в этих рейтингах. Так что в моде сейчас «свистуны».

Ложь подробно исследована психиатрией, и четко выявлена прямая связь склонности ко лжи с различными патологиями, маниями и фобиями. Ложь — это болезнь. Или — прямой «путь к болезни». Это наркотик, требующий постоянного увеличения дозы.

«Ложь», «лгать» — древний индоевропейский корень. Если суммировать то, что он обозначает в различных языках (от исландского до литовского), то все многообразие смыслов можно свести к следующему.

Лгать — это отрицать, утаивать, предавать, искушать (манить, заманивать), просить (выпрашивать, кланчить).

Таковы исконные грани этого «этимона».

Лгун — в конечном счете ненавидящий все и вся, скрытный попрошайка, который заманивает, чтобы предать. Или: жадный и хитрый предатель-аутист. Можете сами поупражняться в подборе синонимичных формулировок.

Природа лжи, искушающая, мироотрицающая, предательская, хитрая и т. д. и, вместе с тем сильная, как жирный паразитирующий сорняк, полно и ясно отражена в бытовании этого корня в русском языке, во фразеологизмах с этим корнем, в длинных и причудливых словообразовательных «ДНК».

Ложь — это смысловой, семантический лабиринт, в который можно уйти — и уже никогда не вернуться. Современное общество — по сути и есть такой искушающий лабиринт. И никакой Ариадны с ее спасительной нитью оно вам не даст.

Просто надо стараться не лгать и называть ложь ложью. Как сказал В. М. Шукшин: «Восславим тех, кто перестал врать».

## ЛЮБОВЬ и НЕНАВИСТЬ

Никто никогда не сможет однозначно ответить на вопрос, что такое «любовь» и «ненависть».

Это так называемые пансемантические слова. Вроде слова «а» в русском языке. Его можно интонационно оформить более чем тысячей способов — и значение будет совершенно разным.

В индоевропейских языках общая «идея любви» могла соотноситься с тысячами совершенно разнородных понятий: пуп, гармония, небо, луна, опасность, ноль, пустота, грыжа, милый, бездна, музыка, серна, дерево, корова, туман, безумие, говорить, яма, затмение, ночь, овраг, прославление и т. д. и т. д.

Известно множество «классификаций» любви, богов и богинь любви и философских концепций любви.

Разноголосица полная. Можно сказать, какофония.

Но в этой кажущейся какофонии тем не менее есть своя доминанта.

Корень «люб» (в других языках — lub, lav, lob, louf, lib, lap и т. д.) несет в себе, при всем разнообразии смысловых оттенков, идею направленности изнутри «вовне», центробежного вектора, «открытости» к чему-либо, готовности к чему-либо, будь то желание, тяга, жажда, склонность, надежда, познание, восхваление или вера (все эти значения очень частотны в разных языках).

«Любить» — значит быть открытым миру, «зрячим», быть готовым слиться с ним. Будь то женщина, философия, друг, родина или «три апельсина». Отсюда — «любопытство», «любомудрие», «любование», «любезность» и т. д.

Русское слово «ненависть», всегдашний антоним («двойник-антипод») «любви», — это отрицательная форма слова «навидеть», которое было утрачено уже в далекой древности. Но «навидеть» происходит от «видеть», которое, в свою очередь, — однокоренное с «ведать», то есть знать.

То есть ненавидеть — значит не видеть мира, быть слепым, «закрытым» и, следовательно, не знать его. А любить — значит видеть мир (быть «зрячим», открытым) и знать мир, «любоваться» им.

Греческое «эрос», индийское «кама», китайское «жень» — все это активное «любомирие».

Кстати, и ныне столь «страшный» арабско-исламский «джихад» — тоже. «Джихад» — это прямое стремление к чему-либо. Существует «джихад сердца» (стремление к добру), «джихад языка» (стремление говорить только хорошо) и «джихад руки» (стремление делать только хорошее). Самый последний и наименее важный «джихад» — «джихад меча», то есть в случае необходимости отстаивать добро силой («добро должно быть с кулаками»). Но все «зациклились» на мече.

С «любовью» в современном мире та же история, что и с «джихадом»: Любовь преимущественно мыслится максимально сужено — как секс. Обычная история, так называемая семантическая синекдоха (одна из ее разновидностей), когда часть подменяет целое. И далее: эта «часть» совсем перестает быть связанной с «целым». Любовь понимается как физиологическое удовлетворение желания, хотя это уже не имеет никакого отношения к любви. Так же как любовь к земле не имеет никакого отношения к ограждению своих шести соток двухметровым забором.

Заметим: «ненависть» как (исконно) замкнутость, слепота и незнание превратилось в современном языке в «чувство сильной вражды, злобы» (С. Ожегов). Когда человек говорит «ненавижу» — он признается в том, что не видит и не знает объекта своей ненависти. Он словно бы закрывает глаза и затыкает уши. Он становится страусом, зарывающим голову в песок. Признается в своей полной несостоятельности.

Не надо употреблять слово «ненавидеть» в форме первого лица единственного числа.

И не надо так же употреблять словосочетание «заняться любовью». Потому что это абсурд: это значит либо «заняться половой принадлежностью», либо — «заняться открытостью к миру».

Мы же не «занимаемся дружбой, верой или надеждой». Как, впрочем, и «ненавистью».

## МЕЧТА

В современном языковом сознании «мечта» — это прежде всего предмет стремления, желания, воображаемая цель. По всей видимости, понимание мечты как чего-то идеального, которое может воплотиться в реальность, окончательно закрепилось в XX веке. Возможно, большую роль в этом сыграла советская идеология. Ведь «коммунизм» — это «мечта-цель», «идеал-задача», грёза, которая обязательно будет реализована. Мы должны «сказку сделать былью». Любой советский человек должен был мечтать о светлом будущем для всех и о чем-нибудь высоком для себя. Например, стать космонавтом, совершить подвиг и т. п. Не иметь мечты — значит быть приземленным, «ползучим» мещанином-обывателем.

Английский писатель-фантаст Герберт Уэллс, приехавший в Россию во время революции, написал книгу «Россия во мгле». О Ленине, с которым он беседовал и который рассказал ему о грандиозных планах, поставленных молодым советским правительством, он сказал: «кремлевский мечтатель». И этот эпитет был воспринят как комплимент.

«Мечта» — одно из самых частотных слов советской литературы, причем далеко не только чисто «идеологическо-придворной». Например, Александра Грина с его «Алыми парусами» никак нельзя отнести к официальной литературе «социалистического реализма». Однако образ алых парусов стал одним из популярнейших в детско-пионерской культуре, он превратился в некий «официально-романтический» символ.

История этого корня — своего рода долгий (длвшийся не одну тысячу лет) «прорыв» из идеального мира в реальность, из «сказки» — в «быль», из грезы — в действительность.

Древний индоевропейский корень («*meik*», «*meich*») имел значение блестеть, мелькать, мерцать. Во многих языках он был осмыслен как подмигивать, искриться, моргать, трепетать. Русское слово «миг», «мигать» (а возможно, и «намекать», «мгла», «мгновение») восходит к той же этимологической базе.

«Мечта» — это что-то лукаво подмигивающее нам из недр нашего воображения (кстати, у персов, таджиков «меша», «мижа» — это ресница). Что-то нереальное, искушающее, отводящее от повседневной жизни. Наваждение, фантом, призрак. Именно с таким значением «мечта» и вошла в русский язык. В. Даль в своем знаменитом словаре так и толкует: «мечтать» — «играть воображением, предаваться игре мыслей, воображать, думать о несбыточном», «мечта» — «всякая картина воображения и игра мысли; пустая, несбыточная выдумка; призрак, видение, мара». Классический пример «мечтателя» — гоголевский Манилов.

Такой человек создал себе мечту, «вмечтался» в нее и «измечтался» (эти слова зафиксированы в XIX веке) до полной «профнепригодности». «Мечта» — это а) нечто воображаемое, видение, призрак, б) нечто неосуществимое, нереальное, в) нечто неправдоподобное. Лишь позже появляется «мечта» как потенциальная

реальность, как то, что может осуществиться, как «личный мостик» между идеальным и реальным.

Нужна ли человеку мечта? На этот вопрос каждый человек отвечает по-своему. Кому-то нужна «синица в руке», кому-то — «журавль в небе». Кто-то хочет приобрести «синицу-машину» и на этом успокоиться, а кто-то стать «журавлем-мировой знаменитостью».

И все-таки, если задуматься, мы поймем, что настоящая мечта — это что-то вроде личной стратегической задачи, перспективного долгосрочного планирования. В наши дни чаще говорят не о мечте, а о «карьерных амбициях»...

Нет, все-таки «мечта» — это как-то «теплее» амбиций...

Конечно, можно и перегнуть палку с этим стратегическим планированием и, «вмечтавшись» в химеру, окончательно «измечтаться».

Но, с другой стороны, ограничиться узкими тактическими бытовыми задачами — значит обречь себя на бесцветную скучную жизнь.

Так как насчет «журавля в небе»? Или вас все-таки устраивает «синица в руках»?.. Выбирайте.

## МИР и ВОЙНА

Наверное, почти все в школе писали сочинение на тему «Смысл названия романа Л. Н. Толстого «Война и мир». Коротко говоря, смысл этого названия заключается в том, что в слове «мир» Толстой совместил два слова (у каждого из которых к тому же много значений) и, соответственно, придал огромную многозначность и слову «война». Раньше, во времена Л. Толстого, в русском языке было два омофона (это слова, которые по-разному пишутся, но одинаково звучат) — «миръ» и «міръ», а сейчас — два омонима (мир<sup>1</sup> и мир<sup>2</sup>). Первый значит космос, вселенная, земля, крестьянский сход, народ, семья, внутренний мир человека и т. д. Второе — согласие, отсутствие войны, мирный договор, покой, тишина и т. д.

Толстой дал, так сказать, «ретросинкретическую» версию слова «мир». Он хотел показать, что Вселенная и согласие, семья и тишина, земля и отсутствие войны, народ и покой — это, говоря языком платонизма, — эманации одного эйдоса. Они односущностны, родственны, «единоутробны». Аналогично: хаос, вражда, антинародность, карьеризм, ссора, развод, интриги и проч. — это производные войны.

Толстой выступил как один из самых отчаянных зороастрийцев, который рассматривал мир как глобальную бинарно-антонимическую оппозицию. Космический порядок существовал тогда, когда частицы добра (мир) и зла (война) были разъединены. А сейчас все перепутано. Надо вернуть современное состояние, когда «мир=война» в первоначальное состояние: «мир≠война». Ахура Мазда, бог Добра-Мира, — отдельно. Ашмойд (Асмодей), бог Зла-Войны, — отдельно. Как котлеты и мухи. Кстати, и в «Анне Карениной» одна из первых фраз чисто зороастрийская: «Все смешалось в доме Облонских».

Так или иначе, слова «война» и «мир» — это, может быть, главная концептуальная оппозиция в современном языке. Это — основные вербализации концептов-универсалий аксиологии (системы человеческих ценностей).

Древнейший индоевропейский корень «*m̥i*» («*moi*», «*mei*») через суффиксы «*r*» или «*l*» (отсюда русские «мир» и «мил») дал в различных языках, причем преимущественно славянских, огромное количество положительно окрашенных смыслов: кроткий, мягкий, хороший, вежливый, ровный, спокойный и т. д. и т. д. Вплоть до значения «пенсия».

Древнеиндоевропейский протокорень слова «война» в различных языках дает более пеструю картину значений (от «любви», «удовольствия» до «выгона скота в поле»), но все же явно преобладают значения аксиологически однородного спектра (дичь, страдания, охота, рана, опухоль, бороться, разрушать, ошибка, вина, мстить и проч.).

Концепты «мир» и «война», в отличие от многих других (см., например, ДЕРЖАВА или ВЛАСТЬ), «обречены» на достаточно устойчивую оценочность. «Мир» — это всегда хорошо. «Война» — всегда плохо (за исключением случаев, вроде «идет война народная, священная война»).

С нашей точки зрения, данные концепты вполне «здоровы» в современном дискурсе.

Хотя особое внимание необходимо уделить слову «война», которое в силу своей потенциальной деструктивности может притягивать к себе различные негативные контексты, например: «информационная война», «война культур», «война цивилизаций». Пока слово «война» имеет свои субституты. Чаще всего — это субститут «конфликт». Так, например, хрестоматийный Хаттингтон все-таки говорит о «конфликте культур». В 90-х годах появилась довольно активно развивающаяся область гуманитарного знания, которая именуется конфликтология.

Слово «война», судя по всему, слишком «сильное». Люди интуитивно боятся терминологизировать (в широком смысле этого слова) слово «война». Слишком большая ответственность.

Слово «мир» имеет вроде бы зеркально противоположную, но вместе с тем схожую судьбу. «Мир» — это некий археконцепт, который великодушно вместит в себя все. Например, в современных российских вузах введена такая дисциплина, как «Русский мир». Аналогичное название имеет и фонд, занимающийся поддержкой и распространением русского языка и культуры за рубежом и среди соотечественников.

Слова «мир» и «война» — это своего рода лексикокультурные губки, которые готовы вбирать в себя очень много. Если употребить другую метафору, они подобны неким крупным животным, типа голубых китов, которые «очень добрые», но тем не менее с ними никто не хочет иметь дело. И все же они (эти слова-киты) постепенно обрастают «рыбами-спутницами», «словами-паразитами» и т. д.

В целом вообще лексическая семантика подобна животному миру. Существуют слова-хищники и слова-млекопитающие. В иной терминологии — слова-доноры и слова-реципиенты. Переводя на современный экономико-финансовый язык, слова-дебиторы и слова-кредиторы.

Если за слова «война» и «мир» в ближайшие годы можно быть спокойными, то за судьбу многих других слов, таких, как ДЕРЖАВА, ОБЩЕСТВО, НАРОД, ВЛАСТЬ и др., мы обязаны волноваться. Они подобны большим «китам», которых уже настолько обглодали мелкие рыбки в виде новейших английских заимствований, более крупные рыбки либерального дискурса XIX—XX веков, что мы обязаны позаботиться об их судьбе.



Владислав БАЧИНИН

## К БИОГРАФИИ МОДЕРНОСТИ

Часть вторая.

Данте и Лютер

### Социокультурный тип завершителя-зачинателя

Странное на первый взгляд сближение двух далеко отстоящих друг от друга имен, Данте и Лютера, объясняется прежде всего тем, что оба эти человека были непосредственно причастны к факту исторического рождения культурной галактики Modernity. Именно в силу данного обстоятельства они, разделенные временем и пространством, жившие по разные стороны Альп, совершенно непохожие друг на друга, имевшие разные траектории творческой жизни, оказались во многом духовными собратьями.

Прощаясь с прежними временами, Данте и Лютер выступили зачинателями, родоначальниками двух новых символических миров — ренессансного и реформационного. Они как будто перерезали красные ленточки на исторической презентации проекта *модерности*. Оба проложили два в чем-то похожих но по большому

---

Владислав Аркадьевич Бачинин — доктор социологических наук, профессор, автор более 700 опубликованных работ по теологии, философии и социологии культуры, в том числе более 50 книг, среди которых: «Достоевский: метафизика преступления» (2001), «Малая христианская энциклопедия». Т. I–IV (2003–2007); «Девиантология и теология: от Библии к Достоевскому» (Saarbrücken, Deutschland, 2012), «Теология, социология, антропология литературы (Вокруг Достоевского)» (2012), «Мистерия гуманитарной аномии. Духовная война интеллектуалов» (2014), «Протестантская этика и дух остмодернизма» (в соавт.) (2015), «500 лет спустя, или 95 тезисов о Реформации, модерности и великой христианской депрессии» (2016). Победитель конкурса философских трактатов на тему «Возможна ли нравственность, независимая от религии?», проведенного Российской академией наук (Институт философии).

счету очень разных пути, ведущих из средневековья в европейскую духовную будущность. Впоследствии именно вокруг них будет продолжаться расширение культурных пространств модерности. Данное обстоятельство столь существенно, что решительно ставит поэта и теолога рядом, так что все естественные различия между ними становятся второстепенными и малосущественными.

В пору, когда модерность была еще в нежном детском возрасте, Данте и Лютер сумели, каждый по-своему, резюмировать содержание предыдущих эпох духовной истории. И тот, и другой подвели предварительные итоги более чем тысячетлетней истории христианского мира. Каждый проделал это на собственном языке, художественно-поэтическом у Данте и религиозно-богословском у Лютера. За спиной у каждого осталась великая эпоха рождения и взросления христианского мира. А впереди ждали времена больших потрясений, когда всему, что было им дорого, предстояло подвергнуться суровым и даже жестоким испытаниям.

Тот внутренний человек, который жил в Данте и Лютере, пребывал в пересечении профанной горизонтали и трансцендентной вертикали, принадлежал к одному и тому же ценнейшему социокультурному типу. Это был тип творца-реформатора, христианина-мыслителя, чей дух имел мужество отправиться в необычайные творческие приключения и сумел решительно расширить пространство религиозного, художественно-поэтического, интеллектуального, нравственно-этического опыта европейского человечества.

Существует огромный материал, предоставляющий пространное поле для размышлений о точках сближения Данте и Лютера. Это темы сходства их творческих потенциалов, ярко выраженного интеллектуализма, привычки жить в состоянии перманентной духовной войны с силами осаждавшего их зла. Обоим свойственно ярко выраженное нравственное отвращение к любым формам лукавства и сильнейшая экзистенциальная склонность к «последней прямой».

Судьба каждого сложилась из двух биографических частей. У Данте получились две жизни — до изгнания из Флоренции и после изгнания. И у Лютера две жизни — до начала Реформации и после. Произшедшим биографическим переломам сопутствовали духовные перевороты огромной экзистенциальной наполненности с потрясавшими их внутренними метаморфозами, катарсисами, метанойями. «Божественная комедия» Данте и реформаторские тексты Лютера стали свидетельствами радикального обновления умов их создателей.

Каждому пришлось преодолевать тот высокий, почти заоблачный экзистенциальный перевал, за которым начиналась новая во всех отношениях жизнь. На этом пути Данте пришлось писать свою «Vita nuova» («Новую жизнь»). Лютеру потребовалось открытие для себя и других нового пути, двинуться в обход коррумпированной, морально деградировавшей папской церкви, чтобы выйти на новые рубежи, ведущего к очищенной от лжесакральной накипи, возрожденной христианской жизни, опирающейся не на церковные обряды, а на евангельские ценности.

«Божественная комедия» изобразила путь постепенного преображения души грешника, драматическую историю ее медленного восхождения в духовную высь. С Данте эта парадигма духовного странствия обрела блистательную литературную форму и прочно утвердилась в европейской культуре. У нее появятся, помимо религиозно-поэтического измерения, и другие, в том числе литературно-педагогические (романы воспитания) и философско-метафизические («Феноменология духа» Гегеля).

В подобных восхождениях, несмотря на их психологическую затратность и моральную трудность, есть много той особой, ни с чем не сравнимой экзистенциальной радости, которой человек, испытавший ее, чрезвычайно дорожит. Вся «Божественная комедия» — это, по сути, путь человека из состояния экзистенциального ужа-



са к состоянию ослепительного экзистенциального восторга. Не оттого ли французский философ и теолог Этьен Жильсон утверждает в своей книге «Данте и философия»: «Читать Данте — радость. Писать о Данте — наслаждение»<sup>1</sup>.

Эта сентенция была бы хороша, если б не избыток благодушия и чисто французского, веселого, не совсем оправданного эпикурейского настроения. Из-за него она явно нуждается в уточняющих коррекциях. Какой-нибудь очень серьезный обладатель немецкого философствующего и резонерствующего рассудка, привыкший к подвигам невероятных умственных тяжестей, мог бы с равным успехом заявить: «Читать Данте, особенно первую треть его поэмы, — это мучение, а писать об этом — невероятно тяжелое занятие».

Впрочем, справедливой будет и промежуточная констатация: чтение не только Данте, но и вообще всех первосортных классических текстов художественного, философского, теологического характера — это заглядывание в бездны человеческой природы, доставляющее одновременно и мучение, и радость.

Ближе всех к истине, пожалуй, Х.-Л. Борхес, говоривший о счастье читать Данте, но при этом уточнявший: мол, само чтение не трудно, поскольку книга «кристально ясна»; трудности поджидают читателя за пределами текста, где начинаются противоречащие друг другу мнения, интерпретации, дискуссии и прочее<sup>2</sup>.

Как бы то ни было, одно остается неизменным — это общее неистребимое неравнодушие к Данте, сопровождающее его уже семь столетий и не думающее угасать. Когда известный итальянский актер Роберто Бенини реализовал в 2012–2013 годах проект «Tutto Dante» («Весь Данте»), читая по телевидению произведения Алигьери и сопровождая чтение историческими, богословскими и эстетическими комментариями, то большая популярность программы у зрителей стала свидетельством о том, что европейцу XXI века отнюдь не чужды радости приобщения к высокой христианской классике.

Если бы в 2017 году кто-нибудь затеял в честь 500-летнего юбилея Реформации аналогичный проект «Весь Лютер», то общий эффект мог бы вполне соответствовать дантовскому. Трудное, но радостное общение с неисчерпаемым эвристическим ресурсом сочинений Лютера, отмеченных первостепенными духовными качествами, боевым правдолюбием, написанных прекрасным литературным языком, могло бы принести многим людям немало важных интеллектуальных открытий. А грамотные, обоснованные, взвешенные объяснения противоречий лютеровской позиции помогли бы сформировать не приукрашенный, но и не очернительский, максимально правдивый, реалистичный образ великого реформатора. Поскольку нет людей без противоречий, то относиться к ним во всех случаях следует здраво. Ведь не смущают же никого противоречия во взглядах, позициях, творчестве Достоевского или Толстого? Даже критически относящиеся к ним литературоведы считают их не аномалиями, а естественными спутниками творческой жизни личностей, находившихся в неустанном духовном поиске.

Проходят века, сменяются поколения, а в отношении потомков к Данте и Лютеру продолжает присутствовать какая-то очень личная пристрастность. Почему-то фигуры поэта-новатора и теолога-реформатора цепляют многих за живое. Увернуться от воздействий их наследия удается, как правило, лишь тем, кто огражден от него стенами, сложенными из малообразованности, духовной глухоты и явного скудоумия, кто до того искалечен атеизмом, что совершенно не способен воспринимать христианские тексты и готов легко согласиться с любыми гнусными инси-

<sup>1</sup> Жильсон Э. Данте и философия / Пер. с франц. Г. В. Вдовиной. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2010. С. 8.

<sup>2</sup> Х.-Л. Борхес. Девять эссе о Данте // Вопросы философии. 1994. № 1.

нуациями, вроде оскорбительного ругательства, брошенного богоборцем Ницше в адрес христианина Данте: «гиена, стихоплетствующая над могилами».

Можно сказать, что имена Данте и Лютера — это нечто вроде эпицентров двух прогремевших над Европой семантических взрывов. Когда в ночное небо взлетает ракета фейерверка, а затем на высоте взрывается, превращаясь в огненную астру с множеством лучей и звезд, то такой образ дает возможность представить, как из Данте выплеснулись сверкающие звезды будущих ренессансных гениев и их шедевров, а из Лютера — идеи Реформации и герои протестантской веры, мысли и художественности.

Даже при том, что Данте — не теолог, а Лютер — не поэт, их все равно сближает родство творческих ситуаций, в которых они очутились. На фоне драматизма политических (у Данте) и религиозно-экзистенциальных (у Лютера) коллизий оба неожиданно для себя оказались перед гигантскими творческими задачами не только личного, но общеевропейского масштаба. И самое удивительное, что эти задачи, непосильные для обыкновенных людей, каждый из них смог решить самым блистательным образом. Вначале явилось чудо «Божественной комедии», а затем состоялось и чудо рождения ансамбля идей, необходимых для полноценного теологического обоснования евангельской Реформации. Оба нонконформиста-новатора сумели, каждый по-своему, отправить европейское сознание в далекие духовные странствия, в многовековые одиссеи. Был задан тон, намечена ценностно-нормативная перспектива будущей эпохи модерности, которыми та сумеет воспользоваться, к сожалению, лишь частично.

Далеко не все сказанное Данте и Лютером было услышано последующими поколениями. Образовалась парадоксальная и вместе с тем знакомая ситуация, когда люди смотрели, но не видели, слушали, но не слышали, пропускали мимо многие важные вещи, о которых говорили итальянский поэт и немецкий теолог. Для многих христианские ценностные и нормативные планки, установленные этими гениями-реформаторами, оказались слишком высоко расположены и недостижимы.

Данте, несмотря на свою любовь к античной поэзии, был стопроцентным христианином. В его проторенессансности не было разгула неоязыческих умонастроений. Они обретут силу и влияние чуть позднее. Потому христианский этос Данте гораздо ближе примыкает к христианскому этосу Лютера, чем вся остальная культура европейского Возрождения.

### **Теология кризиса**

Данте и Лютеру довелось оказаться в ролях экзистенциально мотивированных оппозиционеров официальной, господствующей папской церковности. Для обоих постоянными предметами раздумий являлись темы церковного псевдоморфоза, духовных отклонений и падений, духовной войны и духовного возрождения. В творчестве Данте эти темы, принявшие вид поэтических образов задумчивых сентенций, звучали сдержанно и скорее горестно, чем обличительно. Хотя бывали случаи, когда он не выдерживал и взрывался открытым негодованием. В трудах Лютера эти же темы мощно гремели в регистре высокого богословия и христианской публицистики.

Данте задолго до Лютера начал выказывать обеспокоенность духовным состоянием европейского человека, его неспособностью удержать церковную жизнь на должной нравственной высоте. Его снедала ревность о доме Божьем. «Я, — писал он, — хотя и малейшая овца стада, никакой пастырской власти не имеющая, — все

же милостью Божьей, есмь то, что есмь... и ревность по доме Его снедает меня... О, Святейшая Матерь, невеста Христова, каких ты себе детей породила, к стыду своему!»

Подобно Лютеру, Данте грезил о новой жизни и обновленной церкви. Ему была близка позиция Иоахима Флорского из Калабрии, говорившего, что нынешняя церковь со своим прославлением земного владычества есть Вавилон, из-за которого мир все глубже погружается в пучину нечестия, и люди обрекают себя на блуждания во мраке, подобно слепцам. Поэт с сердечным сокрушением сетовал:

Какого славного начала  
Какой позорнейший конец!  
О, Божий гнев, зачем же дремлешь ты?

В сущности, перед Данте и Лютером вставали вопросы одного и того же порядка. Зачин «Божественной комедии» с сумрачным лесом жизни, с заплутавшей в нем человеческой душой и грозящими ей погибелью зверями-пороками (алчностью, гордыней, сладострастием) — это экзистенциально-этическая экспозиция внутреннего кризиса, смертельно опасного отклонения христианина с должного духовного пути.

Обычно считают, что Данте ведет речь о своей личной судьбе. Но, по сути, поэт изображает архетипические, общие для огромного множества людей ситуации духовного псевдоморфоза и духовного перелома, когда человеческая жизнь действительно как бы переламывается и распадается на две части — ту, что привела к девиантному, кризисному состоянию, и ту, что должна стать выходом из него. Такие ключевые, поворотные моменты бывают в судьбах не только отдельных личностей, но и крупных социальных субъектов: церквей, государств, народов.

С осознания аналогичного кризиса началась и история Мартина Лютера как реформатора. Обладая сильным умом и здоровыми нравственными чувствами, он понимал природу духовной порчи, поразившей христианский мир и грозящей разьесть его изнутри. Посетив в молодости Рим, он убедился, что духовная трагедия европейского христианства стала реальностью, что бесчисленное множество человеческих душ ежедневно бесславно гибнут на глазах у церкви, которая не только не помогает им спастись, но, напротив, делает все, чтобы они погибли. Требовались серьезнейшее лечение, хорошие лекарства и мудрые доктора. Но вся сложность состояла в том, что надо было не просто лечить, а одновременно еще и вести духовную войну.

На первом месте в перечне лекарств стояло библейское Слово. Его силу Лютер испытал на себе.

Когда-то древние евреи обнаружили потерянную и почти забытую ими книгу Закона Моисея. Нечто похожее произошло и с Лютером в юности: в своем монастыре он случайно нашел всеми забытую, никем не читаемую Библию. И это событие стало поворотным моментом в его судьбе. Слово вошло в его жизнь, развернуло его «я», его личность, его дух в совершенно другом направлении, о котором он прежде и не подозревал и которое совершенно не совпадало с направлением умов монастырской среды.

Теперь, спустя годы, Лютер уже мастерски владел библейским Словом как духовным оружием и готов был применять в духовной войне. Получив ученую степень доктора богословия, он писал: «Приняв докторские обязанности, я поклялся и дал обет над моим драгоценным Священным Писанием верно и ясно его проповедовать и учить ему. Из-за этого учения папа стал мне поперек дороги и хотел мне его запретить, но оно все еще мозолит ему глаза, и ему будет еще более тошно, если

они не сумеют от меня отвязаться. Так как я — присяжный доктор Священного Писания, то я рад, что оно дает мне возможность выполнять мою клятву».

Лютеру принадлежит текст 1520 года с примечательным названием: «К христианскому дворянству немецкой нации об исправлении христианства». Обращает на себя внимание его концовка: «об исправлении христианства».

Разумеется, Лютер ставил вопрос о необходимости «исправления» не христианства Иисуса Христа и Нового Завета, а христианства в его католической версии. У него имелись чрезвычайно веские основания утверждать, что «все христианство пришло в ужасный упадок», что папа и его приближенные предали забвению Благоую Весть, клирики не обращают ни малейшего внимания на тяжелое духовное состояние церкви, не желают никаких внутренних преобразований церковной жизни, которая *оказалась* отягощена злом сверх всякой меры.

Реформатор переносит свое внимание с клира на мирян, возлагает свои надежды на их активность, обращается к германской политической элите, лидерам нации, императору и дворянам. Но тон его обращения — это тон воззвания к ним именно как к христианам.

Лютер допускает: предположим, что христианам не следует вести политические дебаты и выказывать неповиновение «сатанинской власти Рима». Но разве они не имеют права на духовное сопротивление силам зла?

Лютер согласен, что христиане не должны иметь дела с оружием и рассчитывать на его силу. Но разве нет в их распоряжении того, что называют «христианскими розгами»? Разве христиане не вправе сечь розгами библейского слова распоясавшееся зло, исходящее от «корыстолюбивого, разбойничьего римского престола»? Разве им запрещено возвышать голос в защиту правды Божьей? Ну, а коли так, продолжает Лютер, то «время молчания прошло и время говорить настало». И потому Слово Божье объявляет войну мирским словам врагов Божьих.

Лютер показывает и доказывает, что католический престол растлили две мощнейшие искусительные силы — власть и деньги. Возникли опаснейшие очаги воспаления. Первый — это непомерная власть папы в светских делах, его постоянные вмешательства в политическую жизнь европейских государств. Второй — гигантские землевладения церкви вместе с систематическим грабежом крестьян, обеспечивающим непомерную роскошь папского двора.

Папа, превративший католическую церковь в институт мошенничества, грабежа и разбоя, не достоин быть духовным лидером христиан. Лютер признается: охватывает «омерзение и отвращение, когда видишь, что глава христианства, славословящий себя как наместника Христа и преемника святого Петра, ведет такой светский и пышный образ жизни, достичь и сравниться с которым не в состоянии никакой король, никакой император»<sup>3</sup>.

Римский престол, растлившись сам, растлевал всех, кто от него зависит. На нем лежит ответственность за порчу нравов европейских народов. Он привел церковное и светское правосудие в катастрофическое состояние. Система права извращена, начинена софизмами, ложью, псевдозаконами, которые преследуют честных людей и защищают негодяев.

Что делать в этих условиях христианину? Здесь Лютеру приходит на помощь одно из его важнейших открытий — обнаружение того, что Библия является средоточием ценнейшего реформаторского опыта. Слово постоянно говорит о реформировании человеческого мира в соответствии с Божьими лекалами и критериями. О возможностях очищения сердец, обновления умов, преобразования человеческих отношений свидетельствует живой, ничуть не стареющий опыт ветхозаветных

<sup>3</sup> Мартин Лютер. Избранные произведения. СПб.: Фонд «Лютеранское наследие», 1994. С. 56.

царей, пророков, апостолов и прежде всего Иисуса Христа как величайшего преобразователя, чьи уроки не имеют аналогов в мировой истории.

Потому первое, с чего начал Лютер, было обращение к библейскому кладезю реформаторской мудрости. Высоко ценя своих предшественников Уиклифа и Яна Гуса, реформаторов до Реформации, он понял, что лучшего учебника по реформаторскому мышлению и реформаторской деятельности, чем Слово, не существует.

Таким образом, исходные нравственные позиции Данте и Лютера типологически очень близки. Оба они сознают глубину и масштабы духовной катастрофы, настигшей римскую церковь. Оба переживают личные экзистенциальные кризисы, сопровождающиеся мучительными переживаниями и раздумьями. Каждый видит наличие прямых связей между тяжелыми моральными изъянами папской общественно-церковной политики и собственными нравственными коллизиями. Для обоих кризисные ситуации становятся исходными пунктами духовных поисков выхода из тупика. И каждый в конце концов выстраивает свою собственную стратегическую концепцию преодоления личного кризиса через катарсис, метанойю и духовное возрождение. Итоговые результаты духовных усилий у обоих чрезвычайно креативны и грандиозны. В жизни и судьбе каждого центральное место занимает экзистенциально мотивированная творческая парадигма осуществления своего высшего призвания и личной самореализации через создание собственной теологии кризиса: у Данте в художественно-поэтической форме «Божественной комедии»<sup>4</sup>, у Лютера в виде концепции духовного возрождения христианской церкви через реформирование.

### Этос христианского нонконформизма

Для Данте-изгнанника земная жизнь, обычная повседневность — не слишком радостная стихия. Он сравнивает ее с сумрачным, диким лесом, по которому вынужден передвигаться, остерегаясь неприятных неожиданностей и испытывая страх, временами переходящий в ужас. Что же касается лютеровского восприятия повседневности, то оно весьма сходно с дантовским. В 1520 году реформатор начинает письмо папе Льву X с характерной преамбулы: «Живя среди чудовищ века сего, с которыми я веду войну...» Обе эти картины профанной повседневности перекликаются с содержанием полотен Иеронима Босха, переполненных изображениями чудовищ, чей вид рождает ужас.

А ведь Босх, старший современник Лютера, — художник-реалист в высшем смысле этого слова, то есть свехреалист. Он увидел глубину, безобразие и ужас духовного падения европейского человека и передал свое ощущение и понимание этого падения через эстетику безобразного, уродливого и низменного.

Неизвестно, был ли Босх знаком с творчеством Данте, но из него мог бы получиться наилучший иллюстратор «Божественной комедии». Его фантазмы аутентичны картинам дантовского ада.

<sup>4</sup> В том, чтобы говорить о поэте как о теологе, нет ничего предосудительного. Более того, игнорирование теологической составляющей поэтики Данте следует рассматривать как непозволительный теоретико-методологический изъян. Примечательно, что, несмотря на устойчивые секулярные ориентации массового гуманитарного сознания, интерес к теологическому содержанию дантовского творчества не иссякает даже сегодня. См. об этом: Dante's Commedia: Theology as Poetry. Edited by Vittorio Montemaggi, and Matthew Treherne. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2010; Peter Hawkins. Dante: A Brief History. Blackwell Publishing Professional, Brief Histories of Religion, 2006; Els Jongeneel. Art and Divine Order in the Divina Commedia // Literature and Theology (2007) 21 (2). P. 131–145.

Ключом к пониманию странного и отталкивающего босхианского мира вполне могут служить слова Павла Флоренского: «Все прекрасно в личности, когда она обращена к Богу, и все безобразно, когда она отвращена от Бога»<sup>5</sup>.

Главная причина рокового неблагообразия босхианского мира в том, что в нем нет духа. Он рассеялся, исчез, покинул это вселенское «подполье». Осталась лишь неодоухотворенная живая материя, состоящая из существ, при взгляде на которых не поворачивается язык назвать их Божьими образами и подобиями. Это полулюди, которые вытеснили Бога из своего мира и потому обречены на тяжелейшие антропологические катастрофы, изуродовавшие их до неузнаваемости. Они постоянно запинаятся о собственную греховность, ничтожность и глупость, спотыкаются об обломки тех смыслов, которые разбросаны вокруг них, запутываются в сетях самообмана, захлебываются окружающей их тьмой.

Пытаясь вообразить, как может выглядеть живописный аналог мира, покинутого Богом, Босх увидел картину Вселенной, заселенной падшими поколениями с «собачьими лицами». погрузившимися в ужас и безобразии демонического мороза. Этот мир не несет с собой ничего, кроме сумрачных завихрений мрака. Он децентрирован, в нем не действуют законы Божьего порядка, отсутствует вынужденная внутренняя структурированность. Это сумбур без верха и низа, по которому разлито демоническое, которым захлебывается человек Босха.

Мистическое и одновременно трагическое мировосприятие Босха явно перекликается с мировосприятием и Данте и Лютера. И тот и другой много писали о «чудовищах века сего», своего времени, с которыми их постоянно сталкивала жизнь.

Что могли противопоставить современники Босха и Лютера своим экзистенциальным страхам? Где и у кого он могли бы найти защиту? В собственном бесстрашии и мужестве? Да, конечно! Но откуда почерпнуть их? Где конкретно пребывают источники мужества и как добраться до них?

Эти вопросы, затруднительные для неверующих, не являлись таковыми для христиан. В Библии призыв к человеку «Не бойся!» встречается 365 раз. Нередко он исходит непосредственно от Бога, как, например, в Книге пророка Исаи: «Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя и помогу тебе» (Ис. 41, 10). Господь для христиан — неиссякаемый источник мужества. Данте с Лютером это знали и понимали. По складу характеров ни тот, ни другой не были робкими и боязливыми. Но не были они и безрассудными сорвиголовами. На уготованных им поприщах каждый выказал достаточно мужественной твердости и мудрой осмотрительности. Этих качеств требовали избранные обоими траектории неустанного духовного поиска, принципиального нонконформизма и правдоискательства. Именно эти качества привели обоих к тому, что они, твердые в вере, находившиеся внутри католической церкви, оказались, однако, в антипапистской оппозиции, мягкой со стороны Данте и жесткой со стороны Лютера. Оба не смогли принять той удручающей негативной мутации, которая произошла с церковью, где процветали алчность пап, цинизм кардиналов, распущенность священников, погрязших в грехах, окруженных, как писал Данте, «кровью и грязью, на радость сатане».

Для Алигьери церковь и Христос не равнозначны, и потому папский посыл «где церковь, там Христос» был в его глазах не состоятелен и не приемлем. Больше нельзя ставить позади меньшего. В Божьей иерархии все наоборот: *где Христос, там церковь*. Данте видел в коварной перестановке главную причину духовного затмения и нравственного падения, наступивших римскую церковь. Фигура римского наместника затмила Христа, и Его свет едва пробивался из-за нее. В образовавшемся

<sup>5</sup> Флоренский П. А. Столп и утверждение истины. М., 1914. С. 186.

мутном теологическом мареве обычные люди, простые прихожане чувствовали себя так, будто заблудились в темном лесу.

Данте не шел на открытый конфликт с церковью, не воевал с ее иерархами, но занимал позицию тихого, упорного сопротивления духам тьмы, проникшим в нее. Лютеру суждено было пойти дальше морально-экклесиологических интуиций, не дававших покоя автору «Божественной комедии». Он не только предложит теологическое объяснение римской коллизии между Христом и церковью, но и укажет пути ее практического разрешения. Его поиск станет процессом фундаментального осмысления церковного псевдоморфоза, заставившего Рим сойти с евангельского пути и уклониться далеко в сторону. Он увидит препятствия, перекрывающие христианской душе путь к Христу, не в одной лишь институциональной гипертрофии папства, а еще и во множестве теологических уклонений и внутрицерковных девиаций, которые ему придется анатомировать.

Далеко не случайным оказалось то, что обоим новаторам пришлось столкнуться с реалиями не только общественно-церковной, но и политической жизни и даже побывать внутри многих ее перипетий. Можно, конечно, говорить о противоположных векторах движения Данте и Лютера, поскольку поэт был выброшен из политики, чтобы погрузился с головой в творчество, а отец Реформации, напротив, попал прямо с профессорской кафедры в водоворот политической жизни. Но в данном случае важно не это, а то, что тот и другой имели опыт не только кабинетных интеллектуалов, но и непосредственных участников европейской социально-политической жизни, чувствовавших ее пульс и понимавших духовную природу ее коллизий.

### **Экзистенциальная отвага и «последняя прямота»**

У О. Мандельштама, автора лучшей русскоязычной работы о Данте<sup>6</sup>, в его стихотворении «Шерри-бренди» есть строчка: «Я скажу тебе с *последней прямо́той...*» Она невольно вспоминается при встрече с рассуждением Д. Мережковского о том, что Данте и Лютеру в равной степени были свойственны бесстрашие и прямота (*drittuga*) в исповедании истины. Действительно, этих двух реформаторов сближает особая экзистенциальная отвага, то бесстрашие духа, когда налицо готовность говорить о предельных состояниях человеческой души именно с «последней прямо́той». Зачастую человек и сам не знает, откуда берется такой настрой. Не знает, потому что его источник не очевиден, располагаясь слишком высоко, там, куда не проникает физическое зрение.

Последняя прямота Данте и Лютера часто выглядит как излишняя категоричность, как избыточный ригоризм, отсутствие толерантности, дефицит договороспособности, покладистости. Но, по сути, она есть всего лишь та самая твердость, к которой Бог призывал Иисуса Навина, поставив его в авангарде великого похода иудеев из Египта в землю обетованную: «Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь» (Нав. 1, 9).

Данте, обычный грешный человек, знавший за собой массу слабостей, переживает внутреннее преобразование, в результате которого его творческая личность становится образцом высокого дерзновения, твердости и мужества. Без этого обновления собственной личности небывалый творческий подвиг ему оказался бы не под силу. Когда от него потребовалась последняя прямота, он решил на нее,

<sup>6</sup> О. Мандельштам. Разговор о Данте. М., 1967.

потому что сказал себе, если не буквально, то по сути практически то же самое, что и Лютер: «На том стою и не могу иначе!» Для этого не требовалось быть бунтарем, мятежником, а надо было только сохранять верность избранному пути, оставаться твердым и мужественным в продвижении по нему.

Когда Мартин Лютер, простой, провинциальный монах, осаждаемый обычными для всякого человека искушениями и страхами, решил мыслить, говорить и действовать с последней прямоотой, то это стало для него проявлением необоримой экзистенциальной отваги. Именно она сделала его похожим на Давида, решительно двинувшегося навстречу Голиафу. Лютер не был протестующим мятежником, не имел ни малейшей корыстной заинтересованности в том, на что решился. Он всего лишь исполнял миссию, возложенную на него свыше.

Автора «Божественной комедии», обладавшего экзистенциальной и творческой отвагой, можно сравнить с разведчиком, путешественником во времени, который сумел заглянуть в будущее и принести оттуда в свое треченто такие культурные формы, которых его время еще не знало. Не стремившийся к сотрясению устоев поэтического мира, он был поставлен Богом на стезю художественно-эстетического реформаторства. Раньше многих ему довелось почувствовать себя находящимся на исторической развилке. Медленный, плавный, для большинства почти незаметный приход раннего Предвозрождения означал, что для каждого европейца начался отсчет времени, приближающего момент неизбежного выбора. Предстояло определяться, и это надо было делать в условиях все более усугубляющегося духовного псевдоморфоза, на фоне все более явственно ощущаемых, осаждающих душу и ум искушений неоязычества, настроений безверия, соблазнов дехристианизации.

Данте ничуть не привлекала возможность дехристианизации и паганизации собственного жизненного и поэтического мира. Ему был ближе иной путь, позволявший сохранять верность библейско-христианскому наследию и сочетать духовные богатства Благой Вести со всем тем, что было ему дорого в его земной жизни. Противостоя искушениям, Данте сумел не только облечь свою любовь к Беатриче в искусные художественные формы, но и дерзновенно превратить возлюбленную в одну из носительниц и хранительниц Благой Вести.

Х.-Л. Борхес в своих «Девяти эссе о Данте»<sup>7</sup> утверждал, что человек, не ощущавший за спиной дьявола, не смог бы создать «Божественную комедию». Эта мысль выглядит, на мой взгляд, однобокой и требует уравнивающего дополнения: «Божественную комедию» не смог бы создать человек, не ощущавший рядом с собой Бога. Несомненно, что именно Бог даровал Данте и любовь к Беатриче, и огромный поэтический талант. Это Он совершил чудо, в результате которого тяжелые переживания из-за двух личных трагедий, безвременной смерти Беатриче и политического изгнания, произвели невероятный эффект: устремились в русло поэтического творчества и привели к появлению «Божественной комедии» — первого «модерного», то есть принадлежащего эпохе модерности (ранней) «жития великого грешника».

А ведь известно, что всегда существовали люди, которые в подобных обстоятельствах начинали выражать обиду и высказывать ее в адрес Бога, упрекать Его за то, что Он несправедливо с ними поступил. Но Данте и не думал обижаться на Господа. Не оттого ли все дальнейшее стало свидетельством особого благословения, полученного им свыше.

Данте создал поэтический памятник Беатриче, в котором прославил Бога и свою возлюбленную. «Божественная комедия» предстала в виде настоящей Теодицеи,

<sup>7</sup> Х.-Л. Борхес. Девять эссе о Данте // Вопросы философии. 1994. № 1.



в которой боль души, страдания от утраты обернулись творческим огнем, породившим поэтический шедевр огромной духовной и художественной силы.

Жизнь Данте, текст поэмы и интертекст, повествующий о ее последующей триумфальной судьбе, соединенные вместе, обнаруживают в себе все элементы подлинной Теодицеи. Данте прошел путем Иова и нашел в себе силы прославить Бога, несмотря на многие страдания. И Бог ему ответил таким образом, что все совершившееся в полной мере соответствовало словам апостола Павла: «Любящим Бога, действующим по Его соизволению, все содействует ко благу» (Рим. 8, 29).

Благодаря Богу Данте удавалось не только увидеть в миропорядке одни лишь дьявольские зияющие расщелины со сконцентрировавшимся в них переизбытком зла, не только натолкнуться на тяжелые залежи давящего страха и на сумрачные следы неистовств беспощадной смерти. Его дух, получивший от Бога силу превозмогать каждый очередной натиск зла, не утратил «чаянья высот», быстро пришел в себя и вновь устремился вперед. Потому в поэме художника, которого Бенедетто Кроче называет «экспертом, знатоком ценностей и прегрешений человеческих»<sup>8</sup>, и присутствуют радость, гордое мужество, готовность жить, несмотря на страдания, и высокая надежда<sup>9</sup>.

Данте сумел творчески переосмыслить свою странническую судьбу, творчески преодолеть главную кризисную ситуацию своей жизни. Его могучее поэтическое воображение превратило все пережитое в воображаемое путешествие собственной души по запредельному миру. Жизненные впечатления, личный опыт, память о пережитых встречах, событиях, конфликтах, потрясениях преобразовались в художественные образы, сцены, диалоги с обитателями загробного царства. При этом удивительные, небывалые, фантастические сцены не противоречили сути библейской картины мира. Выстраивая замысловатые художественно-эстетические конструкции, давая волю фантазии и простор мысли, Данте не жертвовал ни Христом, ни Благой Вестью, ни одной из истин Божьего Слова. Он не видел ни малейшего резона в том, чтобы поступаться Божьим ради человеческого, приносить трансцендентное на алтарь профанного. Его не занимала задача конструирования искусного художественного фонаря, неспособного гореть и светиться изнутри. Он не только не отказался от Благой Вести, но сделал все возможное, чтобы она стала для него сердцевиной его творческого метода и поэтического мира и наполнила поэму духовным содержанием высшей пробы.

Не гонясь за новизной ради новизны, сохраняя верность Богу, опираясь на библейскую традицию как на краеугольный камень, Данте стал в результате реформатором европейской поэзии. Его жизненный и творческий выигрыши оказались того же рода, что и предстоящий выигрыш Лютера. Данте заранее, с упреждением выиграл творческое состязание с бесчисленным множеством будущих соперников, потакавших язычеству и безверию. Он одержал победу над массой своих явных оппонентов и тайных недоброжелателей только потому, что сделал ставку на Благоую Весть как на главный экзистенциальный ориентир и творческий метод. И Благоая Весть не подвела Данте точно так же, как не подвела Лютера.

<sup>8</sup> Бенедетто Кроче. Антология сочинений по философии. — СПб.: Пневма, 2005. С. 303.

<sup>9</sup> Там же. С. 306.

Владимир ЧИСНИКОВ

## ПО СЛЕДАМ ПЕРЛЮСТРИРОВАННЫХ ПИСЕМ...

(Лев Толстой и «черные кабинеты»)

В борьбе с революционным движением политическая полиция царской России широко использовала перлюстрацию как существенный источник получения информации не только о деятельности оппозиционных организаций, но и настроениях среди населения, а также в различных общественных и политических кругах. Оценивая ее роль и значение в деле политического сыска, первый главный начальник III отделения и шеф жандармов А. Х. Бенкендорф еще в 1840 году писал: «Перлюстрация — это есть одно из главнейших средств к открытию истины; представляя, таким образом, способ к пресечению зла в самом ее начале, она служит также указателем мнений и образа мыслей публики о современных происшествиях и о разных правительственных мерах и распоряжениях»<sup>1</sup>.

Под недреманным оком охраны находилась личная переписка не только поданных иностранных государств, но и Российской империи. В первую очередь вскрывались письма известных лиц (сановников, общественных и оппозиционных деятелей, людей, находящихся под наблюдением полиции, и т. п.), а также корреспонденция, поступающая из-за границы. Поэтому в пунктах перлюстрации при почтамтах («черные кабинеты») имелся специальный так называемый «алфавит» со списком фамилий, чья корреспонденция подлежала обязательному просмотру.

---

Владимир Николаевич Чисников родился в 1948 году в городе Шахтерске Донецкой области, кандидат юридических наук (1984), доцент, полковник милиции в отставке, ныне ведущий научный сотрудник ГНИИ МВД Украины, член Международной ассоциации историков права, Международной полицейской ассоциации (Украинская секция), член зарубежной секции редакционного совета журнала «Оперативник (сыщик)» (Москва). Проживает в г. Бровары Киевской области. Автор, соавтор, составитель и редактор более 700 публикаций и печатных изданий по историко-правовой проблематике, один из ведущих специалистов по истории профессионального сыска. Более тридцати лет занимается исследованием темы «Лев Толстой под надзором тайной полиции». Участник Международных Толстовских чтений и Международных Толстовских конгрессов. Печатался в журналах «В мире спецслужб» (Киев), «Новом журнале», «Неве» (Санкт-Петербург), «Законность», «Шпион», «Оперативник (сыщик)» (Москва) и др.

<sup>1</sup> Цит. по: Оржеховский И. В. Самодержавие против революционной России (1826–1880 гг.). М., 1982. С. 72.

В России запрещено было вскрывать письма лишь двух человек: императора и министра внутренних дел. Перлюстрировались даже письма «лиц царствующего дома». Великий князь Николай Михайлович Романов, например, знал о просмотре его корреспонденции и упоминал об этом в письме к Л. Н. Толстому в апреле 1902 года<sup>2</sup>. Не была исключением и переписка вдовствующей императрицы Марии Федоровны — матери самого российского самодержца, которая как-то обнаружила оттиски грязных пальцев перлюстратора на адресованных ей письмах<sup>3</sup>. Бывший цензор петербургского почтамта В. И. Кривош (С. Майский) в своих воспоминаниях писал, что Николай II однажды дал указание особенно тщательно следить за перепиской великой княгини Марии Павловны, вдовы великого князя Владимира Александровича, поскольку «отношения между двором Марии Павловны и царским двором были, мягко говоря, прохладными»<sup>4</sup>.

Среди фигурантов «черных кабинетов» значился и граф Лев Николаевич Толстой<sup>5</sup>. Начиная с конца XIX столетия вся его корреспонденция, которая поступала писателю и которая шла от него, как в Москве, так и в Ясной Поляне, по указанию спецслужб подлежала перлюстрации. Об этом свидетельствует, например, «Дело Департамента полиции „О писателе графе Льве Толстом. Записки о его учении“ (1896), в котором имеются выписки из писем за 1894–1896 годы, адресованные как Льву Николаевичу, так и писателя к другим лицам. Тут и выписки из писем его последователей В. Г. Черткова, П. И. Бирюкова, И. М. Трегубова, Ф. А. Страхова, Д. А. Хилкова, дочерей писателя Марии и Татьяны, арестанта А. А. Васильева, содержащегося в киевской тюрьме, студента Московского университета Рабиновича и др. В деле фигурируют также выписки из писем иностранцев: англичанина Джона Кенворти, француза Ф. Фенсона, а также полностью цитируются письма Толстого к министрам И. Л. Горемыкину и Н. В. Муравьеву<sup>6</sup>.

Лев Николаевич и члены его семьи знали о том, что их корреспонденция перлюстрируется. С. А. Толстая в письме от 12 июля 1896 года сообщала своей сестре Т. А. Кузминской: «...письма наши все подлежат пересмотру и их читают разные чиновники...»<sup>7</sup> Последняя в свою очередь в феврале 1901 года (после отлучения Толстого от церкви) писала сестре: «Напиши мне как вы это приняли и пришли письмо заказным, а то еще прочтут, и до меня не дойдет. Подлость почтового ведомства превосходит всякие границы»<sup>8</sup>.

О просмотре писем писателя сообщал и швейцарец Э. Клапаред, побывавший в Ясной Поляне в августе 1897 года. В одной из своих статей он писал: «Всю корреспонденцию Толстого аккуратно вскрывают по приказу полиции и, когда жена писателя находится в отъезде, перехватывают ее письма к мужу»<sup>9</sup>.

Чтобы как-то сохранить тайну личной переписки от посторонних глаз Софья Андреевна писала мужу из Москвы 17 ноября 1898 года: «Милый друг... я узнала сегодня (не называю в письме никого, в виду того, что наши письма читают)...» — и просила написать ей ответ, передав письмо через кого-то, «а не почтой»<sup>10</sup>.

<sup>2</sup> Литературное наследство. Т. 38–9. М., 1939. С. 304.

<sup>3</sup> Пирумова Н., Шацко К. «Демократия опоясанная бурей» // Наука и жизнь, 1985. № 10. С. 49.

<sup>4</sup> Майский С. Черный кабинет. Из воспоминаний бывшего цензора. Пг., 1922. С. 22

<sup>5</sup> Измозик В. С. Глаза и уши режима. СПб., 1995. С. 17.

<sup>6</sup> Гос. музей Л. Н. Толстого (далее ГМТ). Дело Департамента полиции «О писателе графе Льве Толстом. Записки о его учении» (1896).

<sup>7</sup> Письма С. А. Толстой к Т. А. Кузминской // Яснополянский сборник. 1962. С. 99.

<sup>8</sup> Жданов В. А. Любовь в жизни Льва Толстого. М., 1993. С. 265.

<sup>9</sup> Юность. 1988. № 9. С. 88.

<sup>10</sup> Толстая С. А. Письма к Л. Н. Толстому. 1862–1910. М.; Л., 1936. С. 716.

О том, что Софья Андреевна была права, обвиняя власти в перлюстрации их писем, свидетельствует следующий факт.

5 июня 1901 года заведующий Особым отделом Департамента полиции Л. А. Ратаев направил начальнику Московского охранного отделения С. В. Зубатову «Выписку из письма графа Л. Н. Толстого, Ясная поляна, от 26 мая 1901 г., к графине С. А. Толстой, в Москву». В сопроводительном письме с грифом «Секретно» он писал:

Милостивый Государь  
Сергей Васильевич.

Имею честь совершенно доверительно препроводить при сем к Вашему Высокоблагородию для соображений выписку из полученного агентурным путем письма графа Льва Толстого.

Примите, Милостивый Государь, уверение в совершенном почтении и преданности.

Заведующий Особым Отделом Департамента полиции,  
Чиновник особых поручений V класса Л. Ратаев<sup>11</sup>

Лев Николаевич, зная о том, что его письма вскрывают, а иногда и пропадают, нумеровал их, а затем передавал через друзей, минуя почту. В письме к П. И. Бирюкову от 2 марта 1897 года он писал: «№ 4. Пишу вам, милый друг, уже 4-й №, а от вас не получил еще ни одного... Неужели не допускают мои письма до вас и останавливают ваши. Это было бы очень жаль за тех людей, которые это делают. Так это не хорошо и не только противно любви, но и бесполезно жестоко» [71, 47]<sup>12</sup>.

Необходимо сказать, что пропажа писем Толстого так же была результатом деятельности почтовых служащих — любителей автографов, которые присваивали «на память» письма и открытки, подписанные писателем. Поэтому после того, как письма начали пропадать, Лев Николаевич перестал собственноручно подписывать конверты и открытки, а поручал делать это дочерям или секретарю.

Любопытный случай, связанный с пропажей писем Толстого, описывает А. К. Чертова. 16 мая 1897 года Лев Николаевич направил за границу письмо ее мужу, которое адресат получил спустя... 19 лет, то есть зимой 1916 года. «К одному из наших знакомых г. Б., — вспоминает она, — в его учреждение, где он служит, явился господин, совершенно ему незнакомый, и сообщил, что у него в руках имеются несколько частных писем Л. Н. Толстого к разным лицам, приобретенных им из какого-то таинственного источника. Между прочим, он сообщил, что обладает письмом Толстого к Чертову и притом интимного характера»<sup>13</sup>.

Некоторые знакомые Толстого, зная, что его корреспонденция перлюстрируется, направляли адресованные ему письма сыновьям или другим родственникам писателя. Нередко Лев Николаевич получал анонимные письма, авторы которые не подписывались, чтобы не попасть в «черные списки» тайной полиции. Биограф писателя П. И. Бирюков отмечал: «Один крестьянин, „поздравляя“ Льва Николаевича Толстого с отлучением от церкви, пишет: „...говорят, что все письма, адресованные на ваше имя, прочитываются полицией. Из опасения попасть в беду я не смею подписаться, как бы подлежало для честного человека“»<sup>14</sup>.

<sup>11</sup> ГМТ. Рук. отдел. В / 6-а. Кн. 9401/9. Л. 71.

<sup>12</sup> В тексте даются ссылки на Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого (Юб. изд.). Первая цифра — том, вторая — страница.

<sup>13</sup> Чертова А. К. История пропавшего письма Л. Н. Толстого // Толстой. Памятники творчества и жизни. Вып. 1. Пг., 1917. С. 10.

<sup>14</sup> Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого. Т. 4. М.; Л., 1923. С. 31.

О случае с «меченым» письмом, полученным Толстым, рассказывал доктор К. В. Волков, лечивший писателя в Крыму (1901—1902): «Получает Л. Н. письмо от какого-то корреспондента из тюрьмы. Письмо было крест-накрест перечеркнуто яркими желтыми полосами полутораклористого железа (проявителя для симпатических чернил или слюней, которыми пользуются заключенные в целях тайной переписки). Л. Н-ча удивили эти желтые полосы и он спросил, что это значит. Когда я объяснил ему, что это дело жандармов, то надо было видеть Л. Н-ча. Он даже покраснел от негодования и воскликнул: „Ах, мерзавцы...С каким бы наслаждением я вымазал им рожу этой гадостью...“»<sup>15</sup>

Заслуживают внимания и записи доктора Д. П. Маковицкого»: «...**25 марта** [1910 г.]. ...Когда я принес ему (Толстому. — В. Ч.) почту, посмотрел на письма с недовольством, что их опять так много. За завтраком же сказал... что письма, вероятно, вскрывают. Потому что обыкновенно число писем от 25 до 30 в день, а иной день — меньше 10-ти»<sup>16</sup>. «**10 апреля...** Л. Н.: Я делал наблюдение над письмами. Сегодня только шесть, все с марками на другой стороне. Увидим завтра.

*Тальяна Львовна:* Думаешь, перлюстрируют? Возможно, что и так»<sup>17</sup>.

Следует отметить, толстоведы подсчитали, что за всю свою жизнь Лев Николаевич Толстой написал более 8000 писем и получил около 50 000 писем со всех концов земного шара. Ему писали представители разных сословий: интеллигенты, рабочие, крестьяне. Последние, как правило, на конверте указывали: «Ясная Поляна, графу ТОЛСТОВУ».

Домашние писателя «классифицировали» письма на три категории: 1) духовные (о смысле жизни, о религии), 2) просительные и 3) ругательные. Большинство было «просительных»: просили помочь получить должность, выслать книги, заступиться за «невинно осужденного» и т. д., но чаще всего просили денег: на учебу, на постройку дома, на покупку пианино и даже...на уплату долгов. В связи с этим Толстой вынужден был обратиться в редакции нескольких центральных газет с просьбой не писать ему «просительных» писем.

О перлюстрации писем Л. Н. Толстого откровенно писал в своих мемуарах и бывший директор Департамента полиции А. Т. Васильев. В частности, он подчеркивал, что «на протяжении некоторого времени все письма Льва Толстого распечатывались и фотографировались цензором, а некоторые с его посланий, в которых Толстой высказывал свои антивоенные взгляды, были представлены на рассмотрение Императору»<sup>18</sup>.

В фондах Центрального государственного исторического архива Украины, Киев (ЦГИАК Украины) хранятся около 300 дел, связанных с именем Л. Н. Толстого, в том числе и имеющие непосредственное отношение к перлюстрации его писем. О трех из таких дел, тематически связанных с нашим повествованием, и пойдет речь впереди. Находящиеся там материалы дают возможность ознакомиться с малоизвестными эпизодами из жизни великого русского писателя и внести некоторые уточнения в его биографию и творческое наследие. Ретивые жандармы, разбросав по многим городам империи «черные кабинеты», вряд ли предполагали, что их «продукция» в значительной мере будет помогать будущим исследователям «открывать истину».

<sup>15</sup> Волков К. В. Наброски к воспоминаниям о Л. Н. Толстом // Толстой. Памятники творчества и жизни. Вып. 2. М., 1920. С.89.

<sup>16</sup> Литературное наследство. Т. 90. У Толстого. «Яснополяние записки Д. П. Маковицкого». Кн. 4. М., 1979. С. 209.

<sup>17</sup> Там же. С. 233.

<sup>18</sup> «Охранка»: Воспоминания руководителей охранных отделений. Т. 2. М., 2004. С. 386.

## 1. Дело о «секретном» письме политического арестанта Антона Васильева графу Льву Толстому

1 февраля 1895 года киевский губернатор граф Алексей Павлович Игнатъев получил из Петербурга совершенно доверительное письмо, подписанное товарищем (заместителем) министра внутренних дел и заведующим полицией империи генералом Н. И. Шебеко. В письме за № 753 от 29 января сообщалось:

Совершенно доверительно.  
Его Сиятельству  
Графу А. П. И Г Н А Т Ь Е В У

Милостивый Государь  
Граф Алексей Павлович.

Препровождая при сем совершенно доверительно копию полученного совершенно секретным путем письма, содержащегося в Киевском тюремном замке политического арестанта Антона Антонова В а с и л ь е в а к писателю графу Льву Т о л с т о м у, свидетельствующего, что арестованные в названной тюрьме лица имеют возможность вести секретную переписку вне контроля тюремного начальства, имею честь покорнейше просить Ваше Сиятельство не отказать в распоряжении в тщательном и совершенно негласном расследовании обстоятельств этого дела, а также в принятии зависящих мер к прекращению на будущее время политическим арестантам возможности тайных сношений с лицами, находящимися на свободе.

В ожидании отзыва Вашего Сиятельства, прошу Вас, Милостивый Государь, принять уверение в совершенном почтении и преданности.

Товарищ министра внутренних дел,  
Заведующий полицией Шебеко<sup>19</sup>

Из прилагаемой «Выписки...» губернатор Игнатъев убедился, что действительно письмо писателю графу Льву Толстому в Москву было тайно направлено политическим арестантом Антоном Васильевым из стен подведомственного ему учреждения — Киевского тюремного замка, именуемого обывателями Лукьяновской тюрьмой, а ее узников — внуками деда Лукьяна. Об этом наглядно свидетельствовали следующие строки:

### **Выписка из письма А. Васильева, Киев, от 12 января 1895 г., графу Льву Николаевичу Толстому, в Москву, Хамовники, собственный дом**

Прошло уже столько времени с тех пор, как мы виделись, что считаю нужным напомнить некоторые подробности нашего знакомства: я Васильев, привезший к вам [письмо] от Л. Ф. Потом я уехал за границу, и теперь, по возвращении арестован и посажен в Киевскую тюрьму по обвинению в принадлежности к революционному обществу

Я и мои товарищи просим вас употребить ваше влияние на К у з ь м и н с к о г о, дабы он ускорил наше дело. Для некоторых моих товарищей п р е д а р и т е л ь н о е з а к л ю ч е н и е тянется 20 и более месяцев. Один из них Х и н ч у к кашляет кровью, другой Р о з а н о в, со страшно развитой анемией. А им еще предстоит заключение. Два года томительной неизвестности, два года лише-

<sup>19</sup> ЦГИАК Украины. Ф. 442. Оп. 845. Д. 393. Л. 1.

ния свободы, это такая мука, которую может представить себе только переживший ее. Я прошу вас повлиять на Кузьминского, и просить еще о замене заключения в кресте, ссылкой в Сибирь. Из этого вы можете видеть, каково наше положение здесь, что даже Сибирь нам кажется обетованной страной.

О себе скажу — я морально чувствую себя хорошо; идея становится все ясней и ясней. Уверенность, что, она, не сегодня — завтра осуществится, думается все крепче и крепче. Эту уверенность не сломят ни тюрьма, ни каторга, ни сама смерть.

Письмо это написано секретно, с громадным риском и громадной ответственностью в том случае, если факт отправки этого письма дойдет до нашего тюремного начальства. Вы не упоминайте о нем в своем ответе, который вы адресуете в Киевское Жандармское Управление, для передачи заключенному в тюрьме Антону Антоновичу Васильеву<sup>20</sup>.

Как видим, то чего так боялся киевский арестант, случилось. О его «секретном» письме графу Льву Толстому стало известно тюремному начальству. Со слов генерала Шебеко следует, что письмо Васильева было получено «совершенно секретным путем», то есть путем перлюстрации в «черном кабинете», раскинувшим свои перлюстрационные щупальца на московском почтамте.

Ознакомившись с министерской депешей, губернатор Игнатъев в тот же день дал поручение киевскому губернскому тюремному инспектору провести служебное расследование с целью установить виновных, которые дали возможность политзаключенному Васильеву, содержащемуся в Киевском тюремном замке, послать без разрешения тюремного начальства письмо графу Льву Толстому. При этом Игнатъев требовал от подчиненного принять самые решительные меры «по прекращению всяких возможных тайных сношений политических арестантов с лицами, которые находятся на воле»<sup>21</sup>. Таким образом, в канцелярии Киевского губернатора и появилось «ДЕЛО по письму товарища министра внутренних дел, заведующего полицией о слабом надзоре за политическими арестантами в Киевском тюремном замке, выявленное посылкой Антоном Васильевым писателю графу Льву Толстому письма».

Служебное расследование по данному делу было поручено провести губернскому тюремному инспектору действительному статскому советнику Прокоповичу. Он установил, что, согласно существующим правилам, арестанту разрешается посылать письма и прошения четыре раза в неделю: в понедельник, среду, четверг и пятницу. После написания письма в специальной камере под надзором присутствующего помощника дежурного по тюрьме арестант возвращается в свою камеру. При этом помощник дежурного следит, чтобы он не вынес с собой письменных принадлежностей. Написанные письма и прошения отправляются прокурору судебной палаты на его усмотрение и дальнейшее направление. Следовательно, делал вывод тюремный чиновник, невозможно допустить, чтобы политический арестант Васильев ухитрился написать письмо, о котором идет речь, в камере тюрьмы. Если такое произошло, то в этом виновный кто-то из лиц тюремного надзора мужского пола.

Допрошенные по поводу написания и передачи на волю письма Васильева, тюремные надзиратели своей вины не признали. Один из них, Кужилев, высказал предположение, что это мог сделать выводной надзиратель Сучков. 1 февраля он был изобличен в проносе вина политзаключенному Розанову и на следующий день самовольно оставил службу.

В результате проведенного обыска в камере № 14, где содержался Васильев с 30 декабря 1894 года, был найден и изъят карандаш величиной в два сантиметра и отрывок от оберточной бумаги, но «ни пера, ни чернил, ни бумаги в камере

<sup>20</sup> Там же. Л 1 об.

<sup>21</sup> Там же. Л. 2.

Васильева не было найдено». Тюремной администрацией Васильев характеризовался человеком молодым, но «весьма развитым и хитрым». В своем заключении Прокопович отмечал, что материалы служебного расследования с большой достоверностью говорят в пользу того, что именно Сучков есть главный виновник и, возможно, именно он принес арестованному Васильеву письменные приборы и бумагу для написания письма<sup>22</sup>.

4 февраля проверяющий доложил губернатору о выполнении его поручения и «оргвыводах», которые были осуществлены по результатам служебного расследования. В частности, сообщалось об увольнении со службы выводного надзирателя политического отделения Терентия Сучкова, а также дежурного Легулеева, который пропустил Сучкова в прогулочный дворик женского отделения. Помощнику начальника киевской тюрьмы Пономареву предложено до 1 апреля представить рапорт об освобождении от занимаемой должности. При этом губернатору сообщалось, что на протяжении 1894 года из Киевского тюремного замка было уволено 39 лиц за различные нарушения.

О результатах расследования и принятых мерах киевский губернатор Игнатъев доложил столичному начальству, и 10 февраля надзорное производство по делу о письме арестанта Васильева к графу Льву Толстому было закрыто.

Необходимо отметить, что перлюстрированное жандармами письмо Васильева Лев Николаевич получил. 15 января он дал ему ответ на почтовой открытке. «Случайно узнал, что вы находитесь в заключении в Киевской тюрьме, — писал он. — Очень бы желал, чем могу, облегчить ваше положение. Я знаю, как тяжело для людей нервных одиночное заключение, и поэтому всегда особенно желал служить людям, находящимся в вашем положении...Напишите мне, если можете. Любящий вас Лев Толстой». На открытке, как и советовал ему Васильев, он написал адрес: «Киев. В Киевское жандармское управление, для передачи заключенному Антону Антоновичу Васильеву»<sup>23</sup>. В тот же день Лев Николаевич написал письмо и А. М. Кузминскому, в то время занимавшего должность председателя Киевского окружного суда, прося Александра Михайловича ускорить решение дела и заменить Антону Васильеву тюремное заключение ссылкой.

Почтовая открытка с ответом Толстого к арестанту Васильеву не дошла. Она была задержана Киевским губернским жандармским управлением и переслана в Департамент полиции. Начальник Киевского ГЖУ в сопроводительном письме от 27 января 1895 года писал, что полученное письмо графа Толстого, судя по его содержанию, он «не нашел удобным выдать таковое по принадлежности»<sup>24</sup>.

Непосредственное участие в судьбе Васильева приняла и супруга писателя С. А. Толстая, гостившая в Киеве у сестры в апреле 1895 года. В своих мемуарах Софья Андреевна вспоминает: «Когда я приехала в Киев, Лев Николаевич мне сказал, что там в тюрьме сидит очень молодой человек, революционер, некто Васильев, и нельзя ли смягчить его участь. С изумленным сердцем, готовым на всякое доброе дело, я рада была хлопотать о Васильеве. Для этого зять мой А. М. Кузминский вызвался пригласить вечером князя Ливена, тогдашнего прокурора Палаты. Князь Ливен был очень любезен, устроил мне свидание с молодым Васильевым, обещал сделать все от него зависящее, чтобы облегчить участь Васильева... Васильева привезли, кажется, в участок. Он говорил потом, что после стольких месяцев тюремного заключения он почувствовал восторг от этой поездки, весной, с чудным видом всего расцветающего Киева. Но Васильев произвел на меня нехорошее впечатление.

<sup>22</sup> Там же. Л. 5–7.

<sup>23</sup> Литературное наследство. Т. 69. Кн. 1. С. 546.

<sup>24</sup> Там же. С. 519.



Он был задорен, легкомыслен, по-видимому, совсем без всякой религии. Я пыталась его смирять, призвать к более доброму отношению к людям и к более религиозному состоянию души, но он как-то иронически улыбался. Вместо каторги его сослали просто в Архангельскую губернию, но потом кто-то рассказал, что неизвестно куда бежал»<sup>25</sup>.

Об Антоне Антоновиче Васильеве известно, что он родился в 1873 году в г. Павловске Петербургской губернии. Его мать А. П. Васильева была актрисой, а отцом — командир лейб-гвардии казачьего полка генерал-майор Новицкий. В 1892 году Антон окончил Александровский кадетский корпус, однако от дальнейшей армейской службы отказался и был зачислен студентом Петербургского горного института. Не проучившись и года, он был исключен из института за революционную деятельность и подвергнут негласному полицейскому надзору.

В начале июля 1893 года Васильев посетил Ясную Поляну и познакомился с Л. Н. Толстым, передав ему письмо от знакомой писателя Л. Ф. Анненковой. Отвечая ей 10 июля, Лев Николаевич писал: «Дорогая Леонила Фоминична. Спасибо вам за ваше доброе отношение к Васильеву. Вы своим добрым сердцем и ясным умом поняли его лучше меня и нашли, что делать. Я не беру на себя дать совет, но верю вам. Он мне тоже понравился: натура хорошая, но уж очень изуродована, изломана...» [66, 364]. 8 октября того же года Толстой сообщал ей: «...Васильев первое впечатление, начал горячо и самоуверенно спорить с Никифоровым, доказывая социалистическ(ие) теории, произвел нехорошее, но потом чем больше я его видел, тем больше полюбил его. Совершенно, согласно с вами, повторяю: милый мальчик. И жалко его, и страшно за него. Наши также полюбили его» [66, 403].

О пребывании в Ясной Поляне поднадзорного Васильева тайной полиции было известно, о чем свидетельствует секретный документ охранки «Сведения о графе Толстом лично, находящиеся в делах департамента полиции» от 28 июля 1896 года. В нем, в частности, упоминается, что «в 1894 г. у Толстого проживал студент Антон Васильев, связанный с эмигрантами-революционерами»<sup>26</sup>. Жандармам также удалось перлюстрировать переписку Л. Ф. Анненковой и узнать, что «разыскиваемый Антон Васильев думает вернуться в Москву, а Анненкова озабочена тем, как его укрыть, о чем переписывается с Изюмченко и Дунаевым. Несколько позднее Департамент полиции сообщил: Васильев в Москве, посещает Татьяну Толстую»<sup>27</sup>.

Спустя некоторое время Васильеву удалось нелегально выехать в Швейцарию, где он поддерживал связи с российскими социал-демократами, которые находились в эмиграции, в том числе и со знакомой писателя В. И. Величкиной. В письме к ней от 5 января 1894 года Лев Николаевич писал: «Поклонитесь Васильеву. Он милый маль» [67, 13]. О том, что Васильев находится за границей охранка узнала от ...В. И. Величкиной. Бывший сотрудник Департамента полиции Л. П. Меньщиков в своих мемуарах утверждал, что корреспонденция Величкиной тщательно контролировалась сотрудниками охранки. Именно, благодаря перлюстрации, охранка знала, что, находясь за границей, она «была замечена в знакомстве с эмигрантом Антоном Васильевым»<sup>28</sup>.

В декабре 1894 года Антон Васильев был арестован российскими жандармами за нелегальный переход границы и содержался в киевской тюрьме. 16 августа 1895 года он был выслан в Архангельскую губернию сроком на три года, с воспрещени-

<sup>25</sup> Толстая С. А. Моя жизнь. Т. 2. М., 2011. С. 408.

<sup>26</sup> Опульская Л. Д. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1892 по 1899 год. М., 1998. С. 188.

<sup>27</sup> Меньщиков Л. П. Охрана и революция. Ч. 2. Вып. 2. М., 1929. С. 19.

<sup>28</sup> Там же. Ч.1. М., 1925. С. 208.

ем проживания в столицах, столичных губерниях и университетских городах. Отбывая ссылку в Холмогорах, Васильев привлекался к суду за богохульство, но был оправдан. Следующим местом его ссылки стал Шенкурск, где он также «проходил» по делу о кассе взаимопомощи ссыльных. И на этот раз ему повезло: в декабре 1898 года дело было прекращено за недостаточностью улик. Вскоре Васильев переехал из Шенкурска в Архангельск, где устроился на службу в губернскую казенную палату.

В 1899 году ему разрешили временное проживание в Петербурге, куда он и возвратился в начале августа того же года. В столице бывший ссыльный начал работать в газете В. В. Барятинского «Северный курьер», заведя одним из отделов. При этом он тесно сотрудничал с редакцией журнала «Жизнь», публикуя статьи под собственным именем и псевдонимом «А. Сурков».

В начале осени 1900 года издатель и редактор журнала «Жизнь» В. А. Поссе, желая напечатать драму Толстого «Живой труп» и опасаясь, что рукопись может попасть к другим издателям, поручил Васильеву вести с писателем личные переговоры. Вскоре Поссе получил от Васильева телеграмму: «Толстой согласен, должны провести через цензуру»<sup>29</sup>. Обрадованный редактор 3 октября направил Льву Николаевичу благодарственное письмо, которое вызвало у писателя недоумение. «...Васильев, вероятно, меня не понял, — отвечал он Поссе 6 октября, — или вы не поняли его. Я не только не обещал драмы, которой у меня нет, но и *ничего не обещал*. Очень сожалею, что это так, но *я не могу* иначе. Я дал прочесть ему одно место из нецензурной статьи, говоря, что это я бы мог отдать. Вот и все. Пожалуйста, не сетуйте на меня...» [72, 482].

В начале 1901 года Васильев привлекался в качестве обвиняемого по делу о Комитете рабочей организации Петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Основанием для возбуждения уголовного дела послужило его выступление на нелегальной вечеринке 28 января, организованной Комитетом для рабочих кружков Шлиссельбургского района столицы. Опасаясь ареста, он в марте 1901 года сумел выехать за границу, и дело в отношении его по согласованию министров внутренних дел и юстиции в июне 1902 года было приостановлено до его явки или задержания.

Находясь в Париже, Васильев во второй половине 1902 года инициировал создание революционной социал-демократической группы «Свобода», которая ставила своей целью объединение различных социал-демократических организаций, находящихся за границей. От ее имени Антон Антонович выпустил прокламацию «В единении сила». Позднее он порвал с социал-демократами и после октябрьской амнистии 1905 года возвратился в Россию, где примкнул к партии конституционных демократов (кадетам). В течение 1906–1907 годов проживал в Самаре, редактировал газету «Самарский курьер», а после ее закрытия — «Волжское слово» — печатные органы партии кадетов. Васильев избирался членом Самарского комитета кадетов, был делегатом от Самары на съезды этой партии. В 1906 году выпустил брошюру «Крестьянские наказания Самарской губернии». В январе 1907 года во время избирательной кампании во вторую Государственную думу был арестован за опубликование в «Самарском курьере» наказа крестьян с. Архангельского депутатам первой Госдумы. В мае того же года выездная сессия Самарской судебной палаты присудила редактора А. А. Васильева, обвиняемого в преступлении, предусмотренном ст. 129 Уголовного уложения, к штрафу с заменой недельным арестом при полицейском участке.

<sup>29</sup> Поссе В. А. Мой жизненный путь. М., 1929. С. 190.

В 1908–1909 годах Антон Антонович активно сотрудничал в петербургской газете «Слово». Под псевдонимом «А. Любимов» он опубликовал ряд беллетристических произведений в журналах «Русская мысль», «Вестник Европы», «Жизнь для всех» и т. д.

После Февральской революции Васильев снова уезжает в Самару, где его избирают членом Самарского комитета партии кадетов и членом так называемого Исполнительного комитета народной власти. От самарских избирателей он баллотировался кандидатом в Учредительное собрание. Дальнейшая судьба Антона Антоновича Васильева, одного из знакомых Л. Н. Толстого, к сожалению, остается неизвестной.

В заключение отметим, что материалы рассмотренного нами архивного дела дают основания внести некоторые уточнения в 67-й том Полного (Юбилейного) собрания сочинений Л. Н. Толстого, где напечатаны письма писателя за 1894 год. Во-первых, в научном комментарии к письму Л. Н. Толстого к В. И. Величкиной от 5 января указывается, что А. А. Васильев был арестован и посажен в киевскую тюрьму *в начале* 1894 года (67, 14), хотя в действительности это произошло *в конце декабря* того же года. Во-вторых, в «Списке писем Л. Н. Толстого, текст которых неизвестный» за 1894 год указываются письма к А. А. Васильеву и А. М. Кузминскому от 16 января 1894 года (67, 297), хотя они были написаны 15 января 1895 года и их текст теперь уже известен.

## 2. Дело киевского присяжного поверенного Льва Куперника

12 сентября 1903 года начальник Киевского охранного отделения жандармский подполковник Александр Иванович Спиридович, разбирая в своем рабочем кабинете утреннюю почту, обратил внимание на депешу, прибывшую из Петербурга. Осторожно разрезав конверт ножницами, он вынул два листа и начал читать. На официальном бланке Департамента полиции исполняющий обязанности директора сообщал следующее:

ДИРЕКТОР  
Департамента полиции Господину начальнику  
№ 8214 Киевского охранного отделения  
7 сентября 1903 г.

Совершенно секретно.

Препровождаю при сем Вашему Высокоблагородию совершенно доверительно для сведения и соображений копию с полученного агентурным путем письма присяжного поверенного Льва Куперника из Киева от 25 минувшего августа к графу Льву Толстому в Москву.

И. д. директора *(подпись неразборчива)*<sup>30</sup>

На втором листе бумаги, прилагаемом к департаментскому письму, излагалось содержание письма Л. А. Куперника к Л. Н. Толстому:

**Копия из полученного агентурным путем письма присяжного поверенного Льва Куперника, г. Киев от 25 августа 1903 г. к графу Льву Николаевичу Толстому, в Москву.**

<sup>30</sup> Дело о сборе сведений и производстве обыска у проживавшего в г. Киеве присяжного поверенного Куперника Л. А. // ЦГИАК Украины. Ф. 275. Оп. 1. Д. 228. Л. 1. Далее ссылки на листы этого дела даются в тексте.

Вы, может быть, читали в «Миссионерском обозрении» статьи Ивана Кронштатского. Из трех киевских газет они были перепечатаны в одной. Бесстыдное произведение изувера возмутило меня, и я решил написать ему ответ. К моему удовольствию, цензура лишь слегка урезала, но все же пропустила его. Ставлю себе в особую честь доставить Вам мою заметку и позволю себе просить Вас быть столь добрым и прислать мне Ваше «Обращение к духовенству», которое я не смог достать.  
Киев, Николаевская ул., д. 9 (л. д. 2).

Именно эти два документа, полученных из Департамента полиции, стали основанием для заведения Киевским охранным отделением оперативного дела № 671, на обложке которого значилось: «Куперник Лев Абрамович — присяжный поверенный. Начато 12 сентября 1903 г.».

Спустя несколько дней пристав Дворцового полицейского участка г. Киева получил из местной охраны совершенно секретное предписание:

НАЧАЛЬНИК  
Киевского  
Охранного Отделения  
15 сентября 1903 г.  
№ 1432

Совершенно секретно.  
Г. ПРИСТАВУ ДВОРЦОВОГО  
ПОЛИЦЕЙСКОГО г. КИЕВА УЧАСТКА

Покорнейше прошу Ваше Высокоблагородие собрать негласным путем и сообщить на сем же сведения о личности, знакомстве, родственных связях и сведениях присяжного поверенного Льва Куперника, проживающего в доме № 9, по Николаевской улице.

Подполковник Спиридович» (л. д. 4).

Почти два с половиной месяца начальник Киевского охранного отделения ожидал ответа на свой запрос и только 5 декабря получил необходимые сведения о Л. А. Купернике. В частности, пристав Дворцового полицейского участка «имел честь сообщить Его Высокоблагородию», что пока удалось установить негласным путем за присяжным поверенным, коммерческим секретарем Львом Абрамовичем Куперником следующие сведения: он мещанин от роду, 50 лет, проживающий в доме № 9, по Николаевской улице, происходит из евреев, но принявший православие, женат на жительнице г. Воронежа Наталии Крашенниковой, происходящей из дворян, имеет дочь Надежду, живущую при нем, а также дочь Анну, которая учится на медицинских курсах Петербургского женского мединститута. Далее сообщались сведения о теще Куперника — Надежде Аполлоновне Крашенниковой, проживающей в Воронеже, его брате, сестре и отце, живущих в Киеве.

Самые ценные сведения, интересующие охранку, содержались в конце доклада, где сообщалось о предписании киевского полицмейстера от 28 ноября 1893 года, № 2943, в котором говорится, что Л. А. Куперник состоял под негласным надзором полиции, от которого он был освобожден 27 марта 1902 года. Заканчивая свой доклад, пристав явно симпатизировал Льву Абрамовичу: «Ничего предосудительного, — писал он, — в образе действий Куперника и поведении во время жительства в районе Дворцового участка, не замечен. По своей профессии и выдающейся адвокатской деятельности он часто выезжает из Киева в разные города для защиты судебных дел» (л. д. 4–5).

А теперь дополним полицейские сведения некоторыми деталями из биографии Л. А. Куперника, в том числе и связанными с именем Л. Н. Толстого.

Куперник Лев Абрамович (1845–1905) — юрист, адвокат, общественный и театральный деятель, публицист, корреспондент и адресат Л. Н. Толстого. Родился в г. Вильно в состоятельной купеческой семье. После окончания в 1865 году юридического факультета Московского университета был зачислен кандидатом на судебные должности при Московском окружном суде. Затем состоял помощником присяжного поверенного, присяжным поверенным округа Московской судебной палаты. В 1877 году переехал в Киев, где продолжал заниматься адвокатурой. Некоторое время проживал в Одессе, а с 1896 года и до конца жизни — снова в Киеве.

В конце XIX века присяжный поверенный Лев Куперник считался одним из корифеев российской адвокатуры, авторитетным криминалистом и цивилистом, выдающимся судебным оратором. Когда Лев Абрамович жил в Одессе, в городе ходила шутка: «Одесский адвокат Куперник — известный всех Плевак соперник», намекая на Ф. М. Плевако, который считался тогда образцом адвоката. Современники называли Куперника также «любимцем киевлян». Он принимал участие во многих резонансных уголовных и политических судебных процессах: членов народовольческого кружка «долгушценцев» (1874), о злоупотреблениях в Московском ссудном коммерческом банке (1876), шайки мошенников из «Клуба черных валетов» (1877), участников «Чегирина заговора» (1877), процессе 12-ти (1884), о еврейском погроме в Кишиневе (1903), о восстании матросов на учебном корабле «Прут», подержавших мятежный броненосец «Потемкин» (1905), и др.

Лев Абрамович поддерживал связи с революционными организациями как в России, так и за рубежом, в частности с лондонским «Фондом Вольной русской печати», учредителем которой был С. Кравчинский. После направления в 1879 году личного письма киевскому генерал-губернатору М. И. Черткову с требованием прекратить практику применения смертной казни в отношении участников революционного движения Куперник долгие годы находился под негласным полицейским надзором. В конце 90-х годов обратился с письмом к императору Николаю II, в котором предлагал провести конституционную реформу, созвать Земский собор и учредить ответственным перед ним Кабинет министров.

Куперник активно сотрудничал с редакциями многих периодических изданий: «Юридическим вестником», «Юристом», «Зарей», «Киевской газетой», «Киевскими откликами» и др. Он избирался почетным председателем Всероссийского съезда криминалистов в Петербурге, членом нескольких юридических обществ, гласным Киевской городской думы, членом Киевского товарищества грамотности и т. д.<sup>31</sup> Лев Абрамович находился в дружеских отношениях со многими известными музыкантами, певцами, актерами, слыл меценатом и пропагандистом отечественной культуры. Среди его друзей были певцы Ф. И. Шаляпин, И. В. Тартаков, М. Е. Медведев, композиторы Н. Г. Рубинштейн, П. И. Чайковский и др.

Адвокат Куперник вел переписку и с Л. Н. Толстым. Известно о двух его письмах, адресованных Льву Николаевичу. Первое письмо от 7 ноября 1892 года Лев Абрамович отправил в Ясную Поляну из Одессы. В нем он рассказывал о себе, об интеллектуальной жизни в городе и просил разрешения поставить комедию «Плоды просвещения» в городском театре. На конверте письма Л. А. Куперника есть помета карандашом рукой Т. Л. Толстой: «Пр[осит] позв[олить] пост[авить] Пл[оды] Просв[ещения] Отв[ет?]. На л. 2об. письма имеется еще одна помета Т. Л. Толстой: «Отв[ечено?】». О содержании ответа Т. Л. Толстой сведения отсутствуют [66, 472].

На втором письме Куперника к Толстому, перлюстрированном сотрудниками московского «черного кабинета», остановимся более подробно. Его написанию предшествовали следующие события.

<sup>31</sup> Усенко І. Б. Чисніков В. М. Куперник Лев Абрамович // Енцикл. історії України. Т. 5. К., 2008. С. 500.

В середине августа 1903 года в петербургском двухнедельном религиозном журнале «Миссионерское обозрение» (№ 12) была напечатана статья протоиерея кафедрального Андреевского собора в Кронштадте Ивана Кронштадтского (в миру Иван Ильич Сергеев, 1829—1908). Называлась статья «Ответ пастыря церкви Льву Толстому на его “Обращение к духовенству”», в которой автор предавал анафеме «безбожную личность» графа Толстого, извращенную «до уродливости, до омерзения», и его «ужасное богохульство». Спустя несколько дней статья официального проповедника и члена «Союза русского народа» была перепечатана многими изданиями, в том числе и газетой «Киевское слово» (20 августа, № 5612).

Прочитав пасквиль проповедника, Куперник выступил в защиту писателя, опубликовав в «Киевской газете» 24 августа 1903 года (№ 232) довольно объемную статью «Образцовая полемика», в которой, в частности, писал: «Не берусь судить, насколько Толстой противощерковен... Как нравственная личность Толстой слишком хорошо известен не только России, но и всему миру, который жадно прислушивается к каждому слову Толстого, и не только слову художника, но и к слову моралиста, глубокого знатока человеческой души, учащего людей хорошо и честно жить — разумеется, как он это понимает, и с чем, еще более разумеется, могут не соглашаться многие»<sup>32</sup>. Автор статьи также утверждал, что протоиерей Иоанн Кронштадтский «в своей полемике с графом Толстым применяет запрещенные приемы: брань, голословие и неверность цитат».

На следующий день после выхода газеты Куперник отправил в Москву Льву Николаевичу письмо, которое вскоре и было перлюстрировано сотрудниками московского «черного кабинета», а его копия направлена начальнику Киевского охранного отделения «для сведения и соображений».

Говоря о перлюстрированном письме Куперника к Толстому, следует сказать, что в литературе высказывалось утверждение, что писатель его не получил. Так, известный историк профессор Н. А. Троицкий, впервые опубликовавший данное письмо, утверждает, что «письмо Куперника к Толстому от 25 августа 1903 г. не дошло до адресата, и поэтому оно осталось неизвестным... для самого Толстого»<sup>33</sup>.

С таким утверждением уважаемого профессора нельзя согласиться. Как свидетельствуют материалы отдела рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве, в одном из его фондов хранятся два письма адвоката Л. А. Куперника к Льву Николаевичу. На конверте, отправленном из Киева 25 августа 1903 года, имеется помета, оставленная писателем красным карандашом: «Послать к духов[енству]»<sup>34</sup>.

### 3. Дело тверского земского врача Алексея Таирова

Среди секретных материалов Харьковского охранного отделения, хранящихся в ЦГИАК Украины, находится любопытный документ: перлюстрированное тверскими жандармами письмо политического арестанта врача Таирова, содержавшегося под стражей в бежецкой тюрьме. Письмо, датированное 9 января 1908 года, адресовалось Александре Петровне Рандункиной, проживавшей в г. Харькове<sup>35</sup>.

Имя земского врача Алексея Александровича Таирова в конце 80-х годов прошлого тысячелетия было известно многим. Родился он в 1858 году в деревне Афимьи-

<sup>32</sup> Троицкий Н. А. «Ставлю себе в особую честь...» // Исторический архив. 1997, № 5—6. С. 216.

<sup>33</sup> Там же. С. 215.

<sup>34</sup> ГМТ Рук. отдел. Ф. 1. № 160/64.

<sup>35</sup> ЦГИАК Украины. Ф. 705. Оп. 1. Д. 284. Л. 15—16об.

но Вышневолоцкого уезда Тверской губернии в семье священника. В тринадцатилетнем возрасте по настоянию отца был отправлен в Тверскую духовную семинарию, где проучился семь лет. Однако карьера священнослужителя не пришлась ему по душе. Вопреки воле родителей он поступает на медицинский факультет Харьковского университета. Успешно закончив учебу в 1838 году, Таиров возвращается в родные края и работает земским врачом в Весьегонском уезде. Но вскоре, разочаровавшись в казенной службе, Алексей Александрович поселился в селе Суково Телятинской волости, где занялся частной практикой<sup>36</sup>. Спустя непродолжительное время он стал очень популярным среди местных крестьян, так как лечил их почти бесплатно, получая за свои труды очень скромное вознаграждение.

Своей деятельностью и образом жизни Таиров привлек внимание властей. Уже в мае 1888 года по распоряжению начальника Тверского губернского жандармского управления за ним был установлен негласный полицейский надзор «ввиду имеющих в департаменте полиции сведений о сомнительной политической благонадежности Таирова»<sup>37</sup>. С этого времени его фамилия на протяжении почти трех десятилетий будет фигурировать в документах российских жандармов.

Деятельность Таирова в качестве вольнопрактикующего врача вызывала также недовольство и среди некоторых его коллег. Poleмика о «вольном сельском враче» Таирове, выступившем с докладом на IX губернском съезде Тверского земства, появилась сначала в медицинских журналах<sup>38</sup>, а потом перекинулась на страницы многочисленных газет.

О весьегонском докторе слышал и читал Лев Николаевич Толстой. Именно он способствовал опубликованию доклада Таирова в журнале «Русское богатство». В апреле 1887 года редактор этого издания А. Е. Оболенский писал Толстому из Петербурга, что получил доклад вольнопрактикующего врача Таирова и воспользуется им в апрельском номере журнала<sup>39</sup>. Фамилию Таирова Лев Николаевич несколько раз упоминал в переписке с друзьями [65, 273, 279]; [86, 205–206].

Был ли Толстой лично знаком с Таировым?

Сведений об этом нет ни в «Летописи жизни и творчества Льва Николаевича Толстого» Н. Н. Гусева, ни в комментариях Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого. И тем не менее обнаруженные нами источники дают основания утверждать, что такая встреча была: Таиров приезжал в Ясную Поляну и беседовал с великим русским писателем. Свидетельством тому является вышеупомянутое перлюстрированное тверскими жандармами письмо Таирова, адресованное харьковчанке А. П. Рандункиной.

Сообщая адресату о своей жизни, Алексей Александрович, в частности, пишет: «Я же застрял на 12 дней в Туле, чему был рад. Тут сразу попал на многолюдные митинги рабочих. **Съездил в Ясную Поляну к Льву Николаевичу Толстому** (выделено мною. — В. Ч.), в чем пришлось очень раскаяться. Встретил он меня радушно, сначала оставил меня обедать, а потом и ночевать. Вечер за полночь проговорили. Он очень *нарицал* освободительное движение, высказывался ретроградом, чем, конечно, я был огорчен, а он остался недоволен моим сочувствием движению. По возвращении в Тулу на расспросы о нем пришлось отмалчиваться, настояли, чтобы бывший с нами Беренштам Вл. В.<sup>40</sup> съездил к Толстому. Тот вывез те же впечатле-

<sup>36</sup> Государственный архив Тверской области (далее ГАТО). Ф. 927. Оп. 1. Д. 1047. Л. 8–9.

<sup>37</sup> Там же. Ф. 56. Оп. 1. Д. 11699. Л. 16 об.

<sup>38</sup> Медицинское обозрение. 1888. Т. XXX. С. 582–583; Русская медицина, 1888, № 19.

<sup>39</sup> Кореспонденты Л. Н. Толстого. М., 1940. С. 99.

<sup>40</sup> Беренштам Владимир Вильяминович (1870 —?) — юрист и публицист. Будучи присяжным поверенным в Петербурге, защищал на судебных процессах многих видных революционеров: И. П. Ка-

ния. Очень тяжело было видеть такого человека, как Лев Ник[олаевич], пережившим свою славу...»<sup>41</sup>

Таиров в письме не указывает дату встречи с Толстым, но, судя по описываемым событиям, она произошла в октябре 1905 года, в дни всероссийской политической забастовки. Когда же именно?

Пытаюсь найти фамилию Таирова в «Яснополянских записках» домашнего врача писателя — Душана Петровича Маковицкого, который вел дневник на протяжении 1904—1910 годов и оставил потомкам бесценные свидетельства о ежедневной жизни Толстого. Безуспешно. Ищу упоминания о спутнике Таирова — Беренштаме. На этот раз удача: запись за 16 октября 1905 года (воскресенье): «Под вечер приехал из Тулы, где застрял на вокзале, присяжный из Петербурга, Беренштам, который защищал убийцу Сергея Александровича и бунтовавших якутских политических ссыльных.

Л. Н. гулял с ним по Чепыжу и к самой Воронке. Пригласил обедать, но тот не остался»<sup>42</sup>.

В письме Таирова и записях Маковицкого совпадают многие детали. Например, совпадает время посещения Беренштамом Ясной Поляны, факт беседы с Толстым и даже слова: Таиров пишет, что в Туле «застрял на 12 дней», и Маковицкий отмечает, что Беренштам «приехал из Тулы, где застрял на вокзале». Из письма Таирова можно предположить, что он ушел из Ясной Поляны утром, а его спутник отправился к Толстому где-то во второй половине дня, и Маковицкий пишет о прибытии Беренштама «под вечер».

Следует также учесть утверждение Таирова о том, что Лев Николаевич «очень *нарицал* освободительное движение». Действительно, Толстой отрицательно относился к начавшейся революции, которая приобрела характер вооруженной борьбы. В ряде статей, опубликованных в этот период, он проповедовал отказ от революционной деятельности, утверждая, что существующий в России государственный строй можно изменить только путем морального самоусовершенствования<sup>43</sup>.

Итак, оснований не доверять Таирову у нас нет. Следовательно, в Ясной Поляне он побывал 15 октября 1905 года. К сожалению, запись в дневнике Маковицкого за этот день отсутствует. Почему? Вероятнее всего, Душана Петровича в субботу в Ясной Поляне не было. Отсутствовал он и утром следующего дня, когда Таиров покинул имение писателя. К такому выводу подводят дневниковые записи доктора за 16—18 октября. Свои воскресные (16 октября) заметки Маковицкий начинает словами: «Л. Н. ездил подковать лошадь на Косую Гору...»<sup>44</sup> Он не указывает время, хотя обычно бывал исключительно точен. Для сравнения приведу записи последующих двух дней: 17 октября — «Л. Н. встал (позднее обычного, в 8.30)»<sup>45</sup>; 18 октября — «Л. Н. встал, как обыкновенно»<sup>46</sup>. О том, что Маковицкий часто покидал Ясную Поляну, свидетельствует секретарь Толстого В. Ф. Булгаков. В своих воспоминаниях он пишет, что Душан Петрович «на тряской телеге разъезжал по округе с радиусом верст в сорок и совершенно бескорыстно или за 5-копеечные гонорары лечил кре-

---

лева — убийцу великого князя Сергея Александровича, Л. Д. Троцкого, В. П. Ногина и др. В 1920 году работал юрисконсультom Полтавского губисполкома, впоследствии эмигрант.

<sup>41</sup> ЦГИАК Украины. Ф. 705. Оп. 1. Д. 284. Л. 16 об.

<sup>42</sup> Литературное наследство. Т. 90. Кн. 1. С. 428.

<sup>43</sup> См., например, статью Л. Н. Толстого «Об общественном движении в России», опубликованной в газете «Русские ведомости» № 58 от 3 марта 1905 года.

<sup>44</sup> Литературное наследство. Т. 90. Кн. 1. С. 428.

<sup>45</sup> Там же. С. 429.

<sup>46</sup> Там же. С. 430.



стьян многих деревень, бесплатно раздавая лекарства, делая перевязки, оперируя, помогая роженицам»<sup>47</sup>. Видимо, в субботу, 15 октября 1905 года, Маковицкий и находился в такой поездке и возвратился в Ясную Поляну только на следующий день. Именно поэтому в субботу записи в его дневнике и не было сделано.

В результате дальнейших поисков удалось найти еще один источник, подтверждающий факт встречи Таирова с Толстым. Этим источником является ставшая библиографической редкостью книга «Из пережитого», изданная в Петрограде в 1915 году.

Ее автор — уже известный нам Владимир Беренштам. В очерке «У Ясной Поляны (Встреча с Л. Н. Толстым в дни октябрьской забастовки)» он, вспоминая события 1905 года и, в частности, вынужденную остановку в Туле, пишет: «Ежедневно утром доктор, всегда одетый в блузу, картузик и высокие сапоги, уходил гулять по рельсам. Иногда он исчезал на целый день... Тогда он являлся источником всех новостей нашего поезда... Газеты не выходили. Никто ничего не знал...

Однажды... доктор вернулся сияющий, просветленный, помолодевший.

— Знаете, кого я видел?! — говорил он, волнуясь... — Великого учителя земли русской!.. Я видел Толстого!.. Ведь его имение тут недалеко. Я пришел к нему пешком... Смотрите, какие сапоги! Черт возьми мой отпуск!.. У меня выпал чудный, счастливый день. Я видел Толстого!.. Видел его!.. Гулял, беседовал с ним!.. Идите к нему, я рассказывал... Он примет вас...»<sup>48</sup>

Далее Беренштам описывает свою поездку в Ясную Поляну. Для нас особый интерес представляет его беседа с Л. Н. Толстым по поводу происходящих в России революционных событий. Ведь Таиров в своем письме сообщает, что в беседе с ним Толстой «высказывался ретроградом». Те же впечатления, по его словам, вывез и побывавший в Ясной Поляне петербургский адвокат. Послушаем Беренштама. Судя по его рассказу, утверждение Таирова соответствует действительности. «...Наша речь перешла на текущие события... — продолжает свое повествование Владимир Вильяминович. — И вдруг я услышал негодующий голос...

— Забастовка! Да как они могли затеять ее! Как могли железнодорожники нарушить свое обещание перед пассажирами... Взятся везти, так вези! Может, кто-нибудь ехал к тяжело больному, умирающему отцу, спешил на операцию к доктору или просто хотел повидаться с родными после долгой разлуки... Как смели они обмануть эти ожидания!.. Ведь это — протест за чужой счет.

— Возьмите наш поезд, — возразил я, — в нем не оказалось недовольных... Кто был, тот уехал... Если бы оказался едущий к умирающему, настроение такое, сложившись, братски помогли бы нанять лошадей... Или подвезли бы. Ведь уже знают друг друга... Жертвы неизбежны... Вся страна хочет обновления... Да, обновления, улучшения жизни всех, начиная со стрелочников, которые до сих пор были только в ответе! Мы, пассажиры, лишь один раз, во время забастовки, лишены отпуска, свиданья с близкими, возможности поехать к доктору, они же лишены этого всегда, на всю жизнь. Не мне говорить Вам это!.. Вы знаете и видите лучше меня...

— Не такими способами обновлять жизнь, — горячо возразил он...

— А какими?! Укажите! — воскликнул я, забыв в тот момент, с кем говорю. — Я не видел других!..

— Удивительная привилегия интеллигентных людей не читать того, что я пишу столько лет, указывая простой и ясный путь! — снова горячо ответил он... — Любобы! А революционеры возбуждают недовольство народа, ненависть к богатым, желание насилем отнять чужое. Убивают! Они изобретают новые способы убийства: это они изобрели гнусные бомбы!..

<sup>47</sup> Булгаков В. Ф. О Толстом. Тула, 1978. С. 268.

<sup>48</sup> Беренштам В. В. Из пережитого. Пг., 1915. С. 129–130.

...Мы опять шли по опушке леса... И он расспрашивал... И снова и снова в этой простоте величия, в этом юношески горячем протесте против всяких и всех убийств я услышал глубокую любовь к человечеству, к людям всего мира и настоящим и будущим... Любовь к жизни!..

— Время покажет! — твердо и точно, глядя далеко вперед, говорил он<sup>49</sup>.

В своих воспоминаниях Беренштам не называет фамилию доктора, но мы-то теперь знаем, что это был земский врач Алексей Александрович Таиров. Как же сложилась его дальнейшая судьба?

Узнать об этом помогли материалы Государственного архива Тверской области. В 1906 году Таиров был подвергнут особому полицейскому надзору за распространение революционной брошюры «О налогах». От ареста Алексея Александровича спасло то, что он в это время оставался единственным врачом в Весьегонске и на его попечении находились операционные больные, уход за которыми некому было поручить<sup>50</sup>.

Несмотря на возбужденное против него дознание, Таиров продолжал заниматься революционной деятельностью. В жандармских документах отмечалось, что он распространяет среди населения нелегальную литературу и прокламации преступного содержания, а также организывает тайные собрания крестьян, где произносит «речи крайне возмутительного содержания о не плате повинностей, о неповиновении властям, о захвате земли и т. п.»<sup>51</sup>.

В марте 1907 года в деревне Иван-Погост Телятинской волости Таиров организовал митинг крестьян соседних деревень (около 700 человек), где призывал уничтожить существующий в России государственный строй «с заменой государя императора президентом и существующего правительства — выборными от народа»<sup>52</sup>. Как отмечалось в докладе начальника Тверского ГЖУ, Таиров, выступавший перед крестьянами около двух часов, заявил, что «он революционер и что таковыми должны быть теперь все»<sup>53</sup>.

Розыск государственного преступника Таирова велся по всей России, в том числе и в Петербурге, где он проживал некоторое время. 27 марта 1907 года Петербургское охранное отделение сообщало тверским жандармам, что «отданный под особый надзор полиции земский врач Алексей Александрович Таиров, по сведениям адресного стола, значится выбывшим из С.- Петербурга в г. Гдов. За возвращением Таирова в столицу установлено наблюдение»<sup>54</sup>.

Вскоре Таиров был арестован и заключен в бежецкую тюрьму. Решением суда его приговорили к двум годам крепости. Однако и в тюрьме, по словам жандармов, он «занимается политической агитацией... и подготавливает беспорядки»<sup>55</sup>. По распоряжению тверского губернатора Таиров был переведен в осташковскую уездную тюрьму. В одном из своих писем на волю он писал друзьям: «Я очень счастлив, что удалось хоть под склон жизни принять участие в борьбе с бюрократией, за лучшие условия жизни»<sup>56</sup>.

После отбытия срока наказания Таиров оставался под негласным надзором полиции. Устроиться на работу по специальности в родных краях ему не удалось. В июне 1911 года Алексей Александрович вынужден был выехать в г. Бугуруслан Самарской губернии, где ему предложили должность врача<sup>57</sup>. Тверские жандармы

<sup>49</sup> Там же. С. 133—135.

<sup>50</sup> ГАТО. Ф. 927. Оп. 1. Д. 104. Л. 12.

<sup>51</sup> Там же. Ф. 56. Оп. 1. Д. 19776. Л. 53

<sup>52</sup> Там же. Ф. 927. Оп. 1. Д. 2163. Л. 235.

<sup>53</sup> Там же. Д. 1261. Л. 136.

<sup>54</sup> Там же. Д. 1047. Л. 17.

<sup>55</sup> Там же. Л. 129.

<sup>56</sup> Там же. Л. 136.

<sup>57</sup> Там же. Д. 2175а. Л. 96.

сразу же уведомили самарских коллег, что Таиров «проявлял крайне вредную активную революционную деятельность, за что неоднократно привлекался к дознаниям»<sup>58</sup>, и поэтому нуждается в особом наблюдении.

Шлейф полицейской слежки тянулся за ним до 1917 года. После падения самодержавия Таиров возвратился в родную Тверь, где продолжал работать врачом. В начале 20-х годов следы его теряются...

Таким образом, перлюстрированное царскими жандармами письмо позволило установить ранее неизвестного литературоведам собеседника Льва Толстого — земского врача Алексея Александровича Таирова, посетившего Ясную Поляну 15 октября 1905 года.

---

РЕЦЕНЗИИ

---

**ЖАЛЕЮЩАЯ КАМЕНЬ**

**Лилия Газизова. Верлибры: стихи; [авт. предисловие А. Переверзина]. — Казань: Татар. кн. изд-во, 2016. — 159 с.**

Уподобление книги другу, а повторного обращения к тексту — встрече со старым другом избито до не могу.

Но иногда бывают ситуации, когда без этой «избитости» не обойтись.

Критикам приходится «встречаться со старыми друзьями», то есть новыми произведениями уже знакомых авторов, особенно часто. Работа у нас такая.

Книги казанской поэтессы, переводчицы, культуртрегера, организатора поэтических фестивалей Лилии Газизовой я читала неоднократно и отзывалась на две из них — «Канафер» (2011) и «Люди февраля» (2013).

В новую, изданную в Татарстане, книгу верлибров Газизовой — с названием изощренно-простым — «Верлибры» — вошли лучшие тексты из этих двух ранних сборников. При чтении «Верлибров» «узнаваний дружеских лиц» выпало мне много.

Казалось бы, все, что можно сказать о поэзии Лилии Газизовой, давно сказано: поэтесса не в той стадии литературного опыта, когда ищут себя, то есть ломают форму и экспериментируют со слогом. Все качества ее поэзии...

...которые я характеризовала следующим образом: «Стихи Лилии Газизовой словно бы говорят тихим голосом. Тихая душевная речь — лучший способ, чтобы тебя услышали. Это «диалог» не голоса со слухом, а сердца с сердцем»; «стихи Лилии Газизовой такого рода, что им не всегда нужен и сюжет. Порой поэтессе достаточно тонкого узнавания Другого, человека ли, места ли — те и другие для Лилии всегда обиталища души»; «Обилие бытовых узнаваемых деталей, тем не менее, не приводит эти стихи к «горизонтальной» плоскости. Поэзия в том и состоит, чтобы отрываться от земли — и Лилия Газизова отлично это умеет»

...остались при ней. Как и приверженность жанру верлибра.

Стоит отметить, что служение верлибру для поэта — явление несколько провокационное, одиозное. Практически все рецензенты, писавшие о стихах Газизовой, рассматривали их в контексте верлибра. Показательна рецензия Анастасии Ермаковой в «Литературной газете» от 2 февраля 2011 года, хвалящая Лилию Газизову «от противного»:

<sup>58</sup> Там же. Л. 100.

«Ругать верлибристов давно стало общим местом. Нет, наверное, такого поэта-традиционалиста, который не кинул бы камень в поэта, пишущего верлибры. И это понятно: кажущаяся простота стихов в этом жанре привлекает графоманов и недобросовестных сочинителей. И получается или — что вижу, то и пою, или нечто труднопроизносимое и труднопонимаемое, с массой лишних необязательных слов.

Но талантливые авторы, пишущие верлибры, все же есть. Одна из них — Лилия Газизова, замечательный поэт из Казани».

Александр Переверзин, автор предисловия к книге «Верлибры» и составитель двух предыдущих книг Газизовой, не сходит с проторенной дорожки. Он тоже «говорит Газизова, подразумевает верлибр» и наоборот: «...отмечу, что, как верлибрист, Газизова за несколько лет прошла значительный путь в формальных и эстетических поисках... Отказавшись от „вторичных признаков“ стиха — ритма и рифмы, в этой книге Лилия Газизова ...заканчивает переход от слогового стиля речи к новой стихии — к стихии полнозначного слова».

Александр Переверзин также заявляет, что именно в книге с «профессиональным» названием Газизова «впервые прямо декларирует свою нынешнюю эстетическую позицию», то есть выбор верлибра, но я считаю, что этот выбор поэтесса сделала много лет назад и выразила его достаточно ясно. Она уже давно говорит в стихах исключительно «высоким слогом русского верлибра». Ну вот, и у меня не получилось избежать соблазна!.. А ведь формула «Газизова = верлибр» очевидна.

Очевидное не стоит слов. Упоминания заслуживает то, что неожиданно, удивительно и ломает стандарты. Скажем, ритмо-рифмованное стихотворение Лилии Газизовой — в новой книге по имени «Верлибры» оно выглядит демонстративно:

Дожди идут, как пленные солдаты,  
 Не в ногу, спотыкаясь и вразброд.  
 А я пока не чувствую утраты.  
 Неверие мне силы придает.  
 (...)

И через год, не веря, не проверив,  
 Гляжу на ненадежный водоем.  
 ...Но за тобою не закрылись двери  
 Во сне. Мы там еще вдвоем.

Образ «дожди идут, как пленные солдаты» поэтичен и нов. Он делает честь этому стихотворению, но он бы хорошо смотрелся бы и в верлибре. На мой взгляд, верлибру и силлабо-тонической поэзии следовало бы не «бороться», а, напротив, искать точки соприкосновения. «Пуповиной», роднящей эти два стихотворных языка, я бы назвала точность и эмоциональность высказываний. «Пленные солдаты — дожди» убийственно точная метафора. Она паразит любого чувствующего читателя, даже не ведающего фактов, давших толчок рождению этого стихотворения-непрощания.

Мне эти факты ведомы, но для постижения поэзии реалистическая база не имеет основополагающего значения. Гораздо важнее, чтобы оказался до жути реалистичен тот мир, который существует в стихах, чтобы в него поверили:

Я жду утешных дней.  
 Когда слова вернут себе  
 Значения исконные.

Пруд будет означать  
Округлый водоем,  
Март снова станет  
Одним из месяцев  
Весенних.

Если задуматься над этими строками, вплотную подступит пугающая суть. Что это за искаженное пространство, в котором пруд означает не только округлый водоем, а март — не только весенний месяц? Что, помилуй Боже, означает исконность пруда, кроме пруда?.. Замешкавшись тут мыслью, словно падаешь в ледяную воду, заранее зная, что она ледяная. Стихи дышат холодом, и он лишь нарастает:

Но смысл соседний  
Будет настигать,  
Когда мне слишком много  
Будет солнца.  
Я своевольничать не стану  
И март приму,  
И черный водоем,  
И пустоту.  
Без смысла  
И без боли.

Накатывает пустота, чернота. И смерть, расположившуюся на соседней странице, встречаешь уже предуведомленным:

Каждое утро  
Придумываю твою смерть.  
И к вечеру  
Она сбывается.  
Но к рассвету  
Ты снова оживаешь  
И гладишь мои волосы.

Этот верлибр прост и прямолинеен, лишен иносказаний и намеков. А вот родное ему по духу стихотворение, превращенное в сплошную метафору, в коей чувствуется динамика мультипликационного фильма (правда, грустного):

Ты снова приземлилась  
На четыре лапы,  
Душа моя.  
Исхитрилась,  
Ловкая.  
Не разбилась.

Чем поманила тебя высота?  
Новым горизонтом?  
Близким небом?

Однажды  
Это уже было:  
Солнечная крыша,  
Далекая земля.

И где-то там,  
Среди облаков,  
Близкая  
И ненадежная  
Дорога...

Поэтический лик нашей героини изменчив, несмотря на пристрастие к излюбленному жанру и форме стихосложения. Лилия Газизова меняет тон, ракурс зрения: то сверху, из поднебесья, то сбоку, с позиции «рядом, на одной земле», то даже «изнутри», из глубины души. Меняет города, страны, даже космические тела:

Как хочется,  
Забравшись на дерево,  
Выть на луну,  
Или, наоборот:  
Забравшись на луну,  
Выть на дерево.

При этом оставаясь сама собой.  
Газизова может быть убедительно конкретной:

В Линданисе  
Есть камень-лицо.  
Он лежит на пустынном газоне.  
У него мешки под глазами  
И улыбается рот.

Кем он брошен здесь?  
От какой скалы-матери  
Откололся?  
О, камень-репатриант!

И вместе с тем эксцентричной: надо же додуматься окрестить камень репатриантом!..

И вместе с тем сентиментальной: надо же его пожалеть!.. Ведь даже семантически в русском языке «камень» и все его производные означают твердость, безразличие, бессердечие: «И кто-то камень положил в его протянутую руку...» А Газизовой его — камень — жалко. Несмотря на то, что увидела его даже не «вживую», а на фотографии. Но вот такой перед нами парадоксальный автор. Автор, которому искренне жалаешь новых парадоксов — и новых книг.

**Елена САФРОНОВА**

## «ЖЕЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ» БАБКИ ЛИДКИ

**Бабка Лидка (Лидия Купцова). Железный день. Омск: Фонд Олега Чертова, 2015.**

Россия — всегда столично-центрична, что и понятно, и в чем-то правильно, в силу ее гигантских пространств, которые необходимо удерживать, а все же не следует забывать слова историка Ключевского: «В России центр находится на периферии». Но много ли сейчас на центральных телеканалах передач о жизни русской провинции, ее истории и жителях — былых и нынешних? То же — и в литературной сфере. Меж тем наличествуют авторы, весьма достойные общероссийского прочтения, размышления и обсуждения.

В частности, Фондом Олега Чертова в Омске выпущена книга интересующего нас стихотворца, Бабки Лидки, — «Железный день». Издание недавно было включено в шорт-лист Международной премии «Писатели XXI века» — в поэтической номинации единственное из провинции.

Социальный и литературно-стилистический феномен «бабки Лидки» нельзя назвать совсем уж незнакомым.

В 2002 году пермский поэт и эссеист Юрий Беликов издал сборник «Приют неизвестных поэтов (Дикороссы)», где собрал стихи «сорока авторов из российской глубинки». В проекте приняли активное участие также московские поэты Марина Кудимова и Ефим Бершин. Последний, в частности, тогда же подчеркивал, что в условиях, «когда столичная поэзия все больше превращается в игрушку или подсобное средство для мимолетной популярности и получения сомнительных премий», провинциальная жизнь русского стиха отнюдь не затихла — «скорее, наоборот. Провинциальная, корневая поэзия рвется из такого сора, какой и Ахматовой не снился, — из бродяг, бомжей, воров, из шахт, из навоза...»

В том замечательном, но, увы, малозамеченном сборнике открылись лексические и смысловые пласты, о которых мало кто подозревал. Да и недосуг столицам, как правило, погруженным в собственные «культурные миазмы», в сладострастную эгоцентрическую чесотку, копать в черноземных или таежных жемчугах.

Из таких «дикороссов» — и Бабка Лидка, попавшая в поле нашего зрения и уже вызвавшая известные трясения в читающей и пишущей среде. Интернет позволил сразу довести произведения автора до публики. Были публикации и в бумажной периодике, есть и книги, вышедшие в Омске полутысячными тиражами, — «Прищепка» (2014) и «Мостик» (2015).

Дискутируют: не с литературной ли мистификацией имеем дело. У меня есть свои соображения на сей счет, однако, на мой взгляд, это не имеет значения. Явленный автор состоялся как персона и литературный прецедент; есть что читать, что слушать, от чего плакать. Интонацию, а она есть для сочинителя главное, не придумашь, дар не сымитируешь.

### **«Я не из города, не из села — Я из барачного строя»**

Несмотря на декларирование определенного социального происхождения — «бритых подонков родная сестра, Серого, в общем, покроя» — возрастная бомжиха Бабка Лидка демонстрирует внятную укорененность в культурной традиции. Что

привлекательно — стихи ее недлинные, пишет она катренами, в которых и строки чаще всего короткие. В условиях стилистических изощрений, усвоенных современными стихотворцами, в этом есть даже вызов.

Стихотворение «Прищепка», которым открывается новый сборник Бабки Лидки «Железный день» (2015), трагестирует известный опус А. Вознесенского: «Я — вечный твой поэт и вечный твой любовник. И — больше ничего». У Вознесенского написано чеканно, любимое нами трио «Меридиан» на музыку обожаемого Таривердиева поет эти строки мягче, чем они звучат у автора, романтичнее, однако у Бабки Лидки тема иная: вместо заколки она пользуется прищепкой, что и видит в собственном зеркале. «Хоть ты меня пойми — Ведь это я тоскую, И больше — ничего, И больше — ничего...»

Тут и отсыл к сонму портретов дам у зеркала, как в живописи (З. Серебрякова), так и в поэзии (вспоминаются и сэр Роберт Эйтон, современник Шекспира, и Цветаева, с ее тоже таривердиевски поющим «Хочу у зеркала, где муть и сон туманящий...»). Но здесь говорится жестко: «Я вижу в зеркале врага, Я вижу в нем — себя».

Есть в книге и иные культурные отзвуки: и в названии «На Севере диком», и, как говорится, парафразируемый Лермонтов с нами («Отвальная», последнее стихотворение в сборнике): «Железная блеснет коронка, Предательски забьется пульс. Прощай же, брат-сестра-бабенка, Я, может, к осени вернусь! Играет солнце злым и нищим, А бабка гнется и скрипит. Земного рая не отыщет, К небесному — не добежит. Как много в этой жизни дури, Пусть не дружу я с головой, Но сердце, сердце просит бури! Ступай, старуха. Бог с тобой».

В опусе «Глаз народа», в строках: «Я ослепнувший глаз народа, Не видать мне ночных огней. Отдыхает на бабке природа, Так и я отдыхала на ней!» — слышна формула Е. Лукина: «Заломаю березку у брода, по откосу огнем полыхну. Ты на мне отдохнула, Природа? Дай и я на тебе отдохну!»

И вновь о «творчестве», с последней же прямою и нелегким вздохом: «Не беда, что я без угла, Что без памяти, как сурок. Только в том беда, что смогла Написать я несколько строк. ...Старым сердцем строки пишу, Из души — слова-лебеда, А пишу когда — не дышу, Вот беда! Вот это — беда».

И смерть у этого автора «стоит — с раскрытой бритвой, Будто сумасшедший из стиха»; помним известные строки Арсения Тарковского: «...когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке».

А вот о судьбе уже у самой Бабки Лидки: «Когда мордуешь — бей в полсилы, Чтоб не убить средь бела дня, Чтоб после, волей эсраила, Не шибко мучали меня. Чтобы пылающие розги Познал бы кто-нибудь иной... Но понимаю — в день морозный Придут однажды и за мной!»

Кто подумает, что это примитив, тот сильно ошибется. Классично, опять-таки с пасом великим именам и текстам (вспомним «Цветок» Пушкина или «Последний подарок» Мицкевича) названо восьмистишие «Последний цветок». И даром что написано частушечным размером, трагизм здесь — пронзающий:

На столе стоит цветок,  
Сорванный с любовью.  
Не забудь его, сынок,  
Бросить в изголовье.

И во «Вьюге» — тоже пушкинский отзвук: «Кто мне там могилу роет? Кто грозит из забытья? Бабка вьюгу матом кроет И рыдает, как дитя!.. Утром выползу из



снега, Осеню себя крестом И походкой человека Вновь пойду искать свой дом». Вспомнишь и «Зимний вечер», и «Сколько их, куда их гонят?..» и восхитишься фольклорной расширительной тавтологией «походка человека».

Литературная жизнь Бабки Лидки осуществляется всерьез: «Бывают творческие встречи, Недавно — у меня была. Там кореша толкали речи, Разгладив хмурые чела. ...Я им подписывала книжки, Нацелив единственный глаз. Был мордобой, хоть это слишком, Но так положено у нас. ...Потом без памяти упала, По полной получив дюлей, И более не вспоминала О встрече творческой моей!» («Творческие встречи»).

Это та еще «бомжати́на», усвоившая и претворившая русскую культуру и обра-щающая ее к нам на новом витке русского бытия, вспоминающая Бориса Рыжего (стихотворение «Боря») или рекушая: «Эх, сестры, сестры, я б вас увезла В Москву, Москву!.. Да где теперь Москва? Сгорела во двенадцатом году». Чехов, да, но и кон-статация сильна — о сгоревшей двести лет назад Москве. Или речь о 1912-м, 2012-м? А, братья?

### «В мой железный зимний день»

Но и такова ее приязнь к братьям: «Нет зубов — ничего, Словно волчая състь, Я смогу хоть кого И десной укусить. Что же делать, когда Свою старую мать Вы, дру-зья-голытьба, Вдруг пришли убивать? Одного-то из вас За собой сволоку И урою — на раз! — В этом черном снегу».

Снег Бабки-Лидкин порой черен, как черна известная петербургская речка, и с друзьями у нашей лирической героини отношения сложные: от слезной при-язни до последнего мордобоя.

Своеобразно-гомерически дается «Совет другу». Что это? Улыбка на манер Козь-мы Пруткова, слитая с реальной заботой о друге, попечением, желанием спасти от действительно страшной Москвы? «Когда отправишься в Москву, В рискован-ный дол-гий путь, Свои деньжата не забудь К рейтузам пристегнуть. Но не снаружи — изну-три, Чтоб вражия рука Их не смогла на раз-два-три Стянуть наверняка. Резинку затяни узлом, Терпи и не робей, А то ведь не вернешь потом Мозолистых рублей. На пузе свой оставят след, Но не пускай слезу, Рейтузы сберегут от бед — Со штрип-ками внизу!»

Почти все тексты Бабки Лидки можно петь. Это тоже важное наблюдение в раз-мышлении о генезисе автора.

Проходя в «вино-водку» «мимо книжного и мимо библиотеки этой кроткой», ав-тор несет чаяние о собственных сочинениях: «А после — пьяная, как память, Пою я песни для сограждан. Пусть эти песни душу ранят И утолят скорее жажду!»

Бабка Лидка оказывается к нам ближе не только по времени или в социальном смысле (здесь мы угадываем русских женщин вне времен), но и сущностно. Автору порой достаточно лишь одного речевого оборота. «И, словно этот дуб столетний, Вот так и рухну на бегу!» Дуб у этого автора — трогательно бегущий, очеловеченный.

А это — о Страшном суде, словно вторя современнику Геннадию Русакову: «Тогда-то я и вспомню все, что было, Что не желаю помнить и боюсь: Как плакала под бревнами кобыла, Как у сыночка оборвался пульс, Как жалила людей я греш-ным словом, Как после заливалась слезами... Я, Господи, на все уже готова, Хоть Ты меня куда-нибудь возьми!»

**«Иконка бьется на ветру, приклеенная мной»**

Этот автор-современник, со своей аналитикой и апологетикой, очень даже отзывается и на политические колебания эфира. Стихотворение с милым названием «Эдик Сноуден» — ироничное, но и трогательное, с афористичными строками: «Он приехал на родину нашу И на снежных просторах исчез. Ест, наверное, гречневую кашу И за пазухой держит обрез. Хоть и жутко порой, но красиво Проживает наш русский народ. Потому и приехал в Россию, Что его здесь никто не убьет».

Сочинение «Мечта» завершается электрической дугой, возникающей между тихим лиризмом и русской безнадегой:

Хочу, чтоб вьюга пела песню мне,  
 Чтоб я могла уже не торопиться:  
 Не спиться, не убить, не застрелиться  
 На нашей доброй русской стороне!

Бабка Лидка не только на коротке с бомжами, но и чутка к роковым событиям русского мира. Стихотворение «Беркут» написано о реальных адских делах «евромайдана», на сломе жуткого 2014 года:

Не беспредельщиной, не сбродом  
 Распят, порублен, ослеплен  
 И в кровь сожжен своим народом  
 Присяге верный батальон.

Приговоренные не ропщут,  
 Готовы умереть за так.  
 Они опять идут на площадь,  
 Где обезумевший чудак

Заточку заведет под ухо,  
 Яремную прошьет насквозь,  
 А удивленная старуха  
 Очередной вколотит гвоздь.

Пусть облака плывут нестройно,  
 Идут вослед по одному...  
 И им уже совсем не больно,  
 Ведь там не больно никому.

И не политическое, а космическое стихотворение «Занавес»:

Боже, пожалей малое стадо,  
 Сохрани соборы на Руси,  
 А еще — мне многого не надо —  
 Занавес железный опусти!

Гроыхнуло чтоб во все пределы,  
 Чтоб и враг присел, и кореша...

Чтобы в небо иногда глядела  
Наша беспробудная душа.

В этот же ряд — в продолжение и развитие темы — становится, тоже лаконичное, короткое, метафоричное, но и внятно реалистичное, стихотворение «Ватники»:

Мы из чугуна и стали,  
В телогрейках, не в пальто.  
Вы и раньше нас не знали,  
И сегодня мы — никто.  
....  
Но когда придут печали,  
Не поможет вам никто,  
Только мужичок из стали  
И бабенка — не в пальто.

Это очень близко к суждению столичного, питерского жителя Федора Достоевского: «Последнее слово скажут они же вот эти самые разные власы, кающиеся и некающиеся, они скажут и укажут нам новую дорогу из всех, казалось бы, безысходных затруднений наших. Но Петербург не разрешит окончательно судьбу русскую».

Это народная политология и историософия, крик русского человека, когда убивают русских людей. Стихотворение «Война»: «Ну, что, гниды, привет! Скольких убьете еще? В Славянске гуляет смерть — В мозг, в печень, в плечо. Враг пришел в Краматорск. Господи, помяни! Мертвый ложится воск На ясные лица Твои. В Одессе сжигают живьем, А тем, кто летит в асфальт, Так и орут: „Добьем!“ — И добивают ребят. Только и ваш черед В сердце мое проник — До Киева доведет Вырезанный язык».

В Бабки-Лидкином мелосе находим мы и «Колыбельную»: «К нам война подкралась опять, Сединой украсила прядь. Что же, вновь идти убивать, А потом — лежать, умирать? ..Родилась — с фашистом война, Умираю — снова она. В точку ужимаются дни, Господи, спаси, сохрани...»

2014 год принес нам новое знание. О странной, как сказал православный старец, войне. Прежде мы такого не читали: «Все-таки, как это зыбко: Тихий клыкастый сосед, Баба вот эта, улитка, На теплотрассе, в обед, Скромные русские парни, Пьющие водку с горла, Пышный джигит у пекарни, Прочие чьи-то тела. Ведь через час минометом Хрястнут им всем по глазам — Запросто так, мимоходом, Души взметнув к небесам» («Июнь»).

И снова с замечательным названием «Прощание Славянска»: «Знаю я, что будет дальше, Как продлится этот час — Будут гибнуть дети наши, Если бы в последний раз! А потом придет хана вам. Время — сеять, время — жать, По оврагам и канавам Снова мертвыми лежать. Вперемешку, вместе с нами, Адский впитывая зной, — С дочерями, сыновьями Бывшей Родины одной».

Автор — дерзок и в рифмовке. Он может составить («положив на» принципы, пардон, — это тоже оборотец из стихов Бабки Лидки) рискованную краесогласную пару «бабуля — дедуля», а может и такую составную «захреначить»: «хана вам — канавам». (Я взял у Бабки Лидки глагол из экстремального ответа библиофилов педофилам: «С дубинами придут библиофилы И ухреначат — всех до одного!»)

С хореическим песенно-танцевальным ритмом написана апокалиптическая «Кнопка»:

За Победу поднимая стопки,  
Запуская в небо голубей,

Думаю: добраться бы до кнопки  
До безумной ядерной моей.

...

Нам оковы ваши — не оковы,  
Только тело заберет земля...  
В дом небесный завсегда готовы.  
Где ж ты, кнопка красная моя!

«Кнопка» с полюбовным всхлипом последней строки вполне отражает народные чаяния, которым близки и эти залихватские куплеты:

Завтра вылезу на горку,  
Дербалызну и спою  
Про солдата, про махорку,  
Про Россию — мать мою!

И вновь — «за победу!»:

«Тут одна законченная лярва Выпить запрещает на заре. Эх, нету под рукою канделябра, Маузера нету в кобуре! Ты зачем, попутчица-подружка, Мне суешь разбавленный кефир? Что, не слышишь, как херачит пушка, Как звереет наш подлунный мир? Не по малодушию и бреду И не потому, что дикий вид, Я желаю выпить за победу! Что же сердце — плачет и болит?»

«Русскому не надо много денег, Он от них немножечко дурак», — говорит-поет Бабка Лидка то звонким, то похрипывающим на морозце голосом своего народа.

Кто-то сочтет, что это лубочная поэзия. Но не следует спешить с выводами.

Рай земной недоступен,  
На пороге — война,  
Но у нас-то есть Путин,  
А у них — ни хрена!

Есть отцовская вера  
И зимы седина,  
Кофты есть из мохера,  
А у них — ни хрена!

Так начинается «Дорожная песня» — словно провокация, по-нынешнему говоря, троллинг, индикатор пораженных. Декларативно? Но в том-то и «фишка»: в кузькиной матери, стилизации, а в целом — убедительный «глаз народа». Потому и выход здесь — снежный, вселенский:

Предков старые фото.  
Снег идет и идет...  
Есть Господь наш, и Он-то  
Русских точно спасет.

Автор еще не раз скажет о снеге: «На Покров просыпался снежок — Белый, белый. Русских пожалел».

И выйдет в горнее:

Люблю я водку на смородине,  
Метели, русский наш размах.  
Но историческая родина,  
Однако же, — на небесах.

«Родина — смородина», памаш. В таких стихах — не мешает.

Ни много ни мало, стихотворение называется «Русский вопрос»: «Твой обычай и весел, и сыт, И бычки под рукой, и чернуха, Но могу и десной укусить, И заехать тебе прямо в ухо, А могу вообще упластать, Если будешь ты твякать и дальше На Россию, любимую мать, На красоты и горести наши...» Это ли не развитие тем Пушкина, Языкова, Тютчева!

И снова — русское-неизбывное: «Дом свой люблю я, которого нету, Сына, который в минуту иссяк, Глупую синюю эту планету, Звезд безымянных прохладный косяк, Злых мужиков — с бесшабашным оскалом, Баб голосистых, когда поддадим, Хлеба горбушку с прожилистым салом, Родину нашу под небом седым. Более мне ничего и не надо, Нужен единственный только уют — Тихо уснуть на краю листопада, Если друзья сгоряча не убьют» («Люблю»). Последние две строки — на грани русской гениальности; нет?

Лирическая героиня представляет себя и «Мостиком» самопожертвования: «Чтоб брат не зарезал брата, Ну, чтобы подумал хоть, Чтоб все мы пришли обратно — В Россию, где наш Господь. Бегите по мне, болезной, Ведь это — не на расстрел, Пока я вишу над бездной, Пока позвоночник цел».

Меняется ли что-то в участи русского Вийона, русского странника, в русской судьбе? «Сала шмат в заплечном рюкзаке, Сухари, бутылъ, немного соли, И — иконка старая в руке, И разбойник русский в чистом поле».

### «До последней печали»

О смерти так, пожалуй, никто не говорил: «Молюсь ли у священной раки, Сжигаю глотку первачом Иль падаю в случайной драке, — Она маячит за плечом. Слепы, горбаты, тугоухи, Закусывая колбасой, Бредем по жизни, две старухи, Я — с посохом, она — с косой. Когда расстанемся — не знаю, Но все ж, когда закрою рот, Пусть и она присядет с краю И тоже малость отдохнет».

Тут есть и сестринское сострадание: «пусть отдохнет». Но еще: ведь если смерть передохнет, то кто-то не умрет! Это иное приближение к смерти, чем у харьковца Чичибабина с его антологичным: «Сними с меня усталость, мать-Смерть!»

Греют душу читателя мелические ходы, усвоенные автором из русской песни, городского, в том числе и авторского, романса. Например, даже в названии опуса — «Ношу я кожаный пиджак».

Кому ликер — его етить! —  
Кому-то ром топорщит гриву,  
А я хочу «боярку» пить,  
Привыкла к омскому разливу.

Ношу я кожаный пиджак,  
Вчера добытый на помойке,  
И без разбора бью в пятак  
На каждой дружеской попойке.

На свежем воздухе живу,  
 Баюкаю в душе надежды,  
 Но очень скоро наяву  
 И я свои закрою вежды.

Бабка Лидка напомнит и о гоголевском Вие (снова сквозь Вознесенского): «Перед самую смертью поднимите мне веки, Принесите меня из угла, Чтоб прошествовали предо мной человеки, Те, кого я обидеть могла, Чтобы взгляд их печальный меня растревожил, Видно, знают, что станет со мной, Чтоб друзей закадычных корявые рожи Тихо пели мне вечный покой, Чтоб собака любимая следом бежала, Чтобы нервно зевала мне вслед И хвостом-помелом все меня провожала В те края, где ее больше нет» («Про собаку»).

И если не заплакал от строк «Чтоб друзей закадычных корявые рожи Тихо пели мне вечный покой», то хочешь — плачь, а хочешь — вспоминай антологию русских стихотворений, посвященных собакам, и размышляй о необычности образа последних строк этого описания.

Вы обратили внимание, что я цитирую стихи практически целиком, благо они коротки. Они неразъемны, поскольку написаны, как правило, на цельном дыхании.

\* \* \*

Так говорит русская женщина:

«Я готова хоть что терпеть, Я забор пробью головой, Ведь не лоб у меня, а медь! Где ж ты, сын мой, любимый мой? Я, качаясь, бреду, бреду, Эх, да как же вы так могли... Вы, сидящие там, в саду, Не гоните меня с земли».

Родина у Бабки Лидки и такая:

«В этой жизни кому-то и мы нужны, Только в смерти — лишь ты да она. Мы безгрешны, конечно, а все ж грешны, Как, послушай, дрожит струна! Как дрожит, послушай, подземный трос, Как срывается в пропасть клеть. Из земли ты вырос и в землю врос, Как умел ты — терпеть, терпеть! Где-то рядом ад, но судьба твоя — Избегать хотя бы его. Ах ты, черная мать, ты земля моя, Да куда же мне — без него?..» («Шахтер Женька»).

Удивительно, но у автора, как заявлено, Лидии Степановны Купцовой, 1941 года рождения, слышна здесь интонация и прочитывается образность поэта сорокалетнего — уроженца донбасского Доброполя, ныне харьковца Андрея Дмитриева, написавшего несколько «шахтерских» сочинений, в частности «Это шахтный ствол, это клеть дрожит...».

Бабка Лидка «была с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был», без натяжек и изъятий. Таков «Ангел»:

Этот ангел был без крыл,  
 Скромный парень из народа.  
 Зубы в глотку вколотил,  
 Арестантская порода!

Онемела я тогда,  
 Рот пустой не открывала  
 И в палате, со стыда,  
 Лезла все под одеяло.

Только ночью, в черном сне,  
Словно грешник на поруки,  
Из груди рвались вовне  
Непонятные мне звуки:

«Та-та-та-та, та-та-та ... —  
И опять: — Та-та, та-та-та!..»  
Билась в небо немота  
Горлом пролетариата.

Я не знаю, для чего  
Мне была такая милость.  
После — встретила его  
Да и в ножки поклонилась.

Финальный поклон — как акт святости — читательскую спесь переворачивает к слезе, вынося за скобки даже грандиозный мычащий, не проявленный смыслом звук (та-та-та), хотя нам никак нельзя упустить мощный афористичный образ: «Билась в небо немота Горлом пролетариата».

«С утра запаслась сушкой, Теперь у церкви стою — С алюминьевой кружкой, Полтиннику рада, рублю. Вчера было зябко малость, А нынче такая теплынь! Всегда Ты берег мою старость, Вот и теперь — не покинь. Какое бездонное небо — Для яви, для вечных снов... Дождусь и вина, и хлеба, Такая во мне любовь!» («Солнце»).

И такая в ней любовь — тоже:

«Вчера — гуляла, завтра — на мели, Сегодня между небом и землею. Опять менты по полной замели. Что ж я, любимый, делаю с тобою! Твой дерзкий взгляд за годы не погас. Ты не корил, не посылал, не дрался. Ты лишь однажды дал тихонько в глаз, Но самым нежным в памяти остался. Сижу я в обезьяннике пустом, Торгуя рылом — красно-сине-желтым. Так осени, прошу, меня крестом С той высоты, в которую ушел ты» («Одна»).

Идеально (с точки зрения А. Блока: из трех катренов) лирическое сочинение «Калейдоскоп», и таковых немало в сборнике. Спасибо автору и за краткость, вполне достаточную: «Ни копейки нету, ни мапейки, Ни палаты вашего ума — В голове щебечут канарейки, Стеклышками ранит кутерьма. Греемся на солнышке, а ночью Под луной, до утренних седин, Друг свою улыбку скалит волчью, Ну, и что же, он такой один. Мы сидим на краешке вселенной — Нам уже ни в чем не прекословь! — В ожиданьи легкой и мгновенной И такой же страшной, как любовь».

Бабки-Лидкины «глаза народа» с возрастом теряют остроту, но она имеет силу сказать: «И прозревая горечь и молву, Слова и буквы снова вижу — в небе».

И даже так: «И в этот предпоследний миг Увижу на стене Николы Чудотворца лик, — Он улыбнется мне».

**Станислав МИНАКОВ**

## **СЛУЖБА ПОНИМАНИЯ**

**Марк Харитонов. Джокер, или Заглавие в конце. Киев: Каяла, 2016. — 199 с.**

Марк Харитонов — безусловно, один из самых интересных и значительных современных писателей. Понятие значительности в наше время слишком тесно,

до полной неразличимости, сблизилось с понятием медийности, и в этом смешении как-то потерялась собственно литературная составляющая. Возможно, и хорошо, что творчество Харитоновна оказалось в стороне от публичной сферы (не вовсе в стороне, впрочем: его роман «Линия Судьбы, или Сундучок Милашевича» стал первым лауреатом премии «Русский Букер»). Его проза не годится в качестве предмета статусного потребления, эдакого интеллектуального аксессуара для кофейни. В эпоху, когда литературная критика проваливается в зазор между колонкой глянцевого журнала и политическим доносом, такие писатели, как Марк Харитонов, оказываются невидимками — и вместе с тем именно благодаря им сохраняется возможность, что разговор о литературе все же провалится туда не окончательно.

Новый роман Харитоновна «Джокер, или Заглавие в конце» привлекает внимание не в последнюю очередь потому, что материалом для писателя служит современность. Как ни парадоксально, для современных романистов именно современность оказывается главным камнем преткновения — а точнее, минным полем, которое никак невозможно вспахать. Почти все сколько-нибудь резонансные литературные произведения последних двадцати лет написаны либо в жанре фантастической притчи, либо исторического романа (или же совмещают тот или другой жанр). Даже если автор начинает рассказывать историю героя, живущего в наши дни, история неизбежно смещается в прошлое, в опыт советской эпохи (О. Славникова «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки», Л. Улицкая «Казус Кукоцкого», А. Геласимов «Рахиль», П. Санаев «Похороните меня за плинтусом» и др.). Писатели самых разных поколений вновь и вновь возвращаются к реальности 1950–1980-х годов, которая одна и выходит у них осязаемой и полнокровной. Современность же оказывается населена карикатурными набросками, словно авторы не живут в нынешней действительности, а составляют о ней представление, ухватив из окна машины времени несколько газет и записей рекламных клипов.

Автору этих строк одно время казалось, что и творчество Марка Харитоновна не избежало этого скользкого покрытия на пути — до знакомства с его романом «Проект „Одиночество“», в котором современность описана не менее живо и наблюдательно, чем позднесоветская эпоха в других его романах. Нынешний роман, «Джокер», видится мне своего рода продолжением «Проекта „Одиночество“» — по крайней мере, принадлежащим к одному стилистическому блоку: современная обстановка и современные герои, легкий флер научной фантастики, связанной с искусственным интеллектом (впрочем, в «Джокере» флер этот истончается до почти полной неосязаемости). Новое, однако, принципиально отличающее «Джокера» не только от предыдущих романов Харитоновна, но и от большей части нынешней русской литературы — это решимость изобразить молодое поколение, причем изобразить достоверно и с пониманием.

Именно по этой части у нас полная беда. Писатели старше 50, как правило, пишут о молодежи так, словно в жизни не видели ни одного школьника или студента, а сведения о них черпают из рекламных клипов канала ТНТ. Что касается писателей моложе 50, то они, когда не упражняются в антиутопиях и фэнтези, пишут главным образом о себе, и их взгляд на мир безнадежно солипсичен. В этом, кажется, повинен и рецензент, тоже принадлежащий к категории «российские литераторы моложе 50»: невозможность обобщения личного экзистенциального опыта вкупе со стыдливостью, мешающей втюхивать читателю изрядно прогоркший автобиографизм, толкают на обращение к языку мифа и исторического романа.

Таким образом, при кажущейся простоте темы — описать несколько современных студентов и их отношения с преподавателем — задача, которую взял на себя Марк Харитонов, едва ли не неподъемна. И справляется он с ней блестяще. Признать-



ся, мне, с моим девятилетним опытом преподавания в гуманитарном вузе, было сложно поверить, что автор романа никогда в этой профессии не работал — настолько убедительно вышли у него и психология преподавателя литературы, и его подопечных. Что лишний раз подтверждает старую истину: писателя делает писателем не личный биографический факт, а воображение. (Поминать ли всеу Высоцкого, автора ярчайших песен о войне, который воевать просто по малолетству не мог?)

Галерея студентов написана блестяще, все типажи не выдуманные и не карикатурные — словно автор и вправду целый семестр входил в аудиторию, видел их перед собой, читал им лекции, внутренне закипая от того, что они шуршат бумажками и хихикают. Лиана — восточная девушка из обеспеченной семьи, с претензией на гламур, сознающая свою привлекательность. Московский вуз для нее — способ оттянуться, компенсировать нехватку свободы в своей патриархальной семье. Оттягивается жадно, пока есть возможность. Наверняка носит юбку на два размера меньше, чем требует хороший вкус — так, чтобы чуть ли не лопалась на попе. К науке ни влечения, ни способностей не имеет, но вовсе не дура. Вполне возможно, именно в науке карьеру и сделает — отхватит грант на исследования малоизвестных писательниц-феминисток и возглавит какой-нибудь институт.

Пашкин — собирательный тип хипстера из семейства, связанного с госчиновниками, вынырнувшего из мутной воды 90-х, в которой чиновничество и бандитизм растворились и смешались до неузнаваемости. По сути, заурядный хам, реинкарнация замытинского Барыбы из «Уездного», но с неутоленным комплексом элитарности: денег и силы ему недостаточно, он жаждет роли нового аристократа. Напрочь лишен каких-либо моральных принципов, по-своему искренне находя оправдание своей жизненной позиции в поверхностно нахватанной философии постмодернизма. (В романе упомянуто, что он на пять лет старше сокурсников, до этого пробовал учиться где-то еще. Воображение подсказывает, чем заполнить это белое пятно — наверное, тусовался в еще существовавшем тогда клубе «Билингва» и почитывал Пелевина.) Постепенно входит во вкус, расправляет плечи, игры его становятся все менее безобидными. Остается дожидаться, на какой странице романа он побреет башку.

Тольц, третий участник любовного треугольника (ибо, разумеется, они с Пашкиным соперничают за внимание эффектной Лианы). Явный и откровенный фрик, поначалу вызывающий недоумение, кажущийся чуть ли не нигилистом. Фамилия очевидно рифмуется с персонажем Гончарова, отличавшимся, как известно, сухим математическим складом ума, чуждым поэзии. Нечто подобное присуще и Тольцу: он одержим идеей описать все на свете с помощью компьютерных алгоритмов. Как ни парадоксально, именно он со своим отчаянным желанием верить алгеброй гармонии оказывается наиболее человечным в вывернутой реальности — но не будем рассказывать слишком много, сюжет в романе закручен почти детективно и сулит читателю множество неожиданностей... Самая приятная неожиданность — все эти персонажи разговаривают естественным, нормальным языком, а не гротескным псевдожаргоном, в котором старательно расставлены слова «круто» и «чувак».

И, конечно, преподаватель, который за ними наблюдает. Как это все знакомо, пережито изнутри собственной шкуры: любовь к профессии, в которой стыдишься признаться даже самому себе, из боязни перед самим собой выглядеть лопухом и сентиментальным идеалистом. Размышляешь: что, собственно, я тут делаю? Нужны ли этим марсианам мои рассказы про литературных классиков? Плюнуть и поставить зачет, чтобы отвязались, или все же пытаться вдолбить в головы какие-то знания?

Ситуацию осложняет то, что «марсиане», которые не слышали про Курочку Рябу, не читали «Анну Каренину» и не смотрели фильмов Феллини, вовсе не мультяшные покемоны, а люди, наделенные чувствами и сознанием. У профессора, от лица

которого ведется повествование, достаточно проницательности и здорового любопытства по отношению к другим, и он весьма быстро понимает, что, при всей чуждости его опыту и культурному багажу, его студенты обладают внутренним миром, который ничуть не беднее его собственного мира — там кипит эмоциональная и интеллектуальная жизнь. Начальное предубеждение оказывается преодолеть не так уж сложно. Куда сложнее взять на себя бремя понимания и ответственности.

Сквозной подтекст всего романа — ни разу прямо не процитированное, но упорно вспоминающееся (думаю, любому коллеге главного героя оно автоматически придет на ум) определение С. С. Аверинцевым филологии как «службы понимания». Определение, которому главный герой упорно сопротивляется в своей профессии, опасаясь, что ясное понимание текста лишит его удовольствия от художественного произведения — в ход идет затертая метафора «живого/мертвого» («Рыба, вытщенная на воздух, уже не живая»). Этот подход кажется безобидной романтикой — до тех пор, пока не обнаруживается, что отделить профессию от жизни для героя невозможно и что натренированная способность блокировать понимание, не доводить его до конца не так уж безобидна. За лирикой укрывается род душевной глухоты, тяга к собственному комфорту, как и сам он порой осознает: «...и лишь порой пробивалось чувство, что до конца в своем понимании предпочитал не доходить. Словно это могло испортить мне настроение, вынудило бы засомневаться, что-то перепроверять заново. Потому что дело было не просто в текстах, не в литературе, вот в чем я запоздало стал себе признаваться...» Диагноз ему ставит его научный руководитель, рассуждая словно бы о литературных приемах Чехова — но герой-то догадывается, о ком идет речь: «Способ справляться с реальностью, смягчать ее жестокость, не так ощущать ее безнадежность, безысходность, да? <...> Вникать в текст по-настоящему слишком болезненно, засомневаешься, на чем в этой жизни держаться». Первая фраза как будто о Чехове, последняя — кажется, совсем уже не о Чехове, не зря новоиспеченному кандидату наук становится «неуютно». Неуютность эту он предпочитает отринуть, сделать вид, что все в порядке. Но метод создавать уют однажды обернется своей роковой стороной. Именно в тот момент, когда герою *нужно* понять — понять мотивы окружающих его людей, понять, что происходит, — понимание упорно подводит его и приходит слишком поздно. (На пороге смерти — по законам жанра экзистенциалистского романа.)

Наиболее сильное впечатление производит момент, когда герой — с его интеллигентной утонченностью, с его тоской по культуре и страхом перед хаосом современной жизни — вдруг слышит собственные слова о необходимости иерархии, о новой аристократии из уст монструозного Пашкина. Причем Пашкин еще не успел проявить себя, так сказать, в полной красе, но дурное предчувствие уже пробегает морозом по коже. Трудно более емко изобразить всю историю постсоветской интеллигенции в нулевые. Ведь мы и в самом деле тосковали по иерархичности — говорю «мы» не в абстрактно-газетном, а в самом прямом смысле слова, поскольку сама отметилась в те годы статейкой на сходную тему (за которую одна пламенная особа обвинила меня в «фашизме»). Каково же было недоумение, схожее с ощущением дурного сна, когда наши рассуждения о духовных ценностях, об опасности хаоса и вседозволенности, о защите культуры вдруг оказались подхвачены пашкиными всех калибров — и зазвучали как-то совсем не так, как должны были, по нашим представлениям, звучать, а словно эхо гигантского испорченного микрофона, кошмарная пародия на наш интеллигентский пафос. Профессор все никак не поймет, куда дело клонится: «...я мог только еще раз заговорить о категории людей, способных задавать обществу систему ценностей, духовных, интеллектуальных, политических, нрав-

ственных. Если угодно, в перспективе таких, как они, вот эти студенты...» Ну так что ж, мог бы сказать Пашкин, хотели — вот он я. Задам по полной программе.

Поначалу это может показаться отсылкой к Достоевскому и его вопросу о «наполеонах». Но Пашкин вовсе не дубликат Раскольниковова, который честно разрабатывает идею и честно ее проверяет. Вообще было бы большой ошибкой воспринимать «Джокера» как роман идей, в котором персонажи излагают теории, а кто-то или что-то их тестирует. «Джокер» — нечто совсем другое и уж точно не роман идей.

Что-то до боли знакомое слышится в монологе Пашкина, когда он сбрасывает маску:

«Вы бы посмотрели, какие у него [отца] сейчас статуэтки, непальские, китайские. Ну да, он не очень пока разбирается, но о чем-то уже может говорить. Есть профессионалы, эксперты, если надо, они на него будут работать. Для отца когда-то не было разницы: пить бормотуху из эмалированной кружки или вино из тонкого бокала. А вот я уже из кружки не могу. И в винах стал разбираться. И в устрицах, знаю сорта. Утонченности, может, не всегда хватает, появится, глядишь, потом. В следующих поколениях. Оформится, глядишь, и новая наследственность. Сначала деловые отношения, потом родственные...»

Ах, вот оно что. Это же Бенедикт из «Кыси», антиутопии Татьяны Толстой, написанной еще в 2000 году:

«— У меня жизнь духовная, — кашлянув, вмешался Бенедикт.

— В каком смысле?

— Мышей не ем.

— Ну и?..

— В рот не беру. Только птицу. Мясо. Пирожок иногда. Блины. Грибыши, конечно. Соловей „маршал“ в кляре, хвощи по-савойски. Форшмак из снегирей. Парфэ из огнецов а-ля лионнэз. Опосля — сыр и фрукты. Все.

Прежние молчали и смотрели на него в четыре глаза».

Кто уже забыл сюжет «Кыси»: Бенедикт только что женился на дочери высокопоставленного сотрудника тайной полиции... Да, зорко разглядела Толстая этот тип персонажа, который, казалось тогда, мог появиться только на страницах гротескной сказки.

Роль обалдевшего Прежнего, конечно же, отведена профессору. Не тому он учил своего подопечного, совсем не тому... Впрочем, причины неудачи героя-интеллекта в «Кыси» и в «Джокере» разные. Никита Иваныч в «Кыси» хоть и пародиен, и смешон, но, по крайней мере, чистосердечен в своем намерении достучаться до сознания странных новых людей-мутантов (сколь ни нелепы методы). Беда в том, что мутация, по Толстой, уже необратима, и в новом мире Никите Иванычу просто нет места — ему остается только вознестись на небеса. В «Джокере» все иначе. Во всяком случае, мне он видится как роман о профессиональной несостоятельности гуманитария.

Гуманитарий — следовательно, человекоед; понятие гуманитарных наук ведет родословную от *studia humanitatis* Ренессанса — концепции наук «о человеке и для человека». Наука, не вносящая вклад в постижение и личностное развитие человека, для гуманистов была равнозначна невежеству — именно по этому критерию они противопоставляли себя схоластике. Казалось бы, что может быть дальше от схоластики, чем страх главного героя «Джокера», что «ученое толкование может умертвить трепетную, таинственную строку»? Но цена этой трепетности названа: страх перед сомнением, желание оставаться в своем уютном эстетическом мирке. Станным образом отчаянные потуги юного Тольца создать компьютерный алго-

ритм, описывающий непредсказуемое, куда более гуманистичны, чем лирическое самоудовлетворение профессора.

Сюжетную линию со студентами дополнительно подсвечивает эпизод в деревне. Классическая тема русской литературы — «хождение в народ» — получает неожиданное решение. Для современного героя оказывается невозможной не то что толстовская идиллия — даже бунинско-вересаевская драма. Кажется, если бы его побили, эта сцена и то не была бы такой безысходной: вместо пасторали или драмы попытка наладить общение с пресловутым народом проваливается в пустоту, в черную дыру невозможности катарсиса, и даже алкоголь, излюбленная панацея позднесоветских бытописателей, не в силах сблизить профессора с Федором. Федор — «только что пытавшийся мне что-то сказать, объяснить, а может, ждавший от меня объяснения, понимания» — вскоре погибнет, а профессор, кажется, так и не спросит, на чьей могиле тот плакал.

Магическим помощником, способным к коммуникации с Федором, выступает жена героя, но как раз она (как и тема пресловутой женской интуиции, в которую верит не только герой, но, похоже, и автор) в романе смотрится не вполне убедительно, сводясь чуть ли к набору анекдотических шаблонов (а ведь герой-то не шаблонный, и подача материала не шаблонная). Это, по-моему, единственный недостаток романа.

Напротив, крайне живо изображена тусовка на присуждении литературной премии — ваша покорная слуга поначалу даже «узнала» в описании конкретную буковскую церемонию и вполне реального лауреата (разве что прототип не толст, в отличие от романного персонажа), хотя при попытке задать вопрос автору выяснилось, что на церемонии той он не был и роман того лауреата не читал... Каждый вправе решать самостоятельно, слукавил автор или нет. Мифическая «женская интуиция» не хочет мне ничего подсказывать.

Возможно, я вообще превратно истолковываю все авторские намерения, в силу своей профессиональной деформации, и это мне нужно расписываться в филологической несостоятельности. Возможно, автора моя интерпретация романа огорчит или рассердит. По крайней мере, как ни банально это звучит, роман Марка Харитонova приглашает задуматься — и для меня размышление оказалось плодотворным.

**Мария ЕЛИФЁРОВА**

## «ПО МОРДАСАМ, НО НЕ СИЛЬНО»

\* \* \*

Посидев в кафешке с поэтом Глебом Горбовским, под вечер мы зашли к моему другу Николаю Позняку. Попели песни (исключительно сочинений Глеба Яковлевича), выпили водки, закусили принесенными с собой килькамипряного посола.

— А почитай нам, Коля, стихи свои, — прорычал Горбовский, но Позняк, ученый-химик, заявил, что никогда не писал.

— Пусть уж Леша читает, это его стихия, — отмахнулся он.

— Ну да, — повернулся ко мне Горбовский, — стихи у тебя ничего, но хотелось бы, чтобы как-то вот эдак бы...

— Чего, Глеб Яковлевич? — спросил я, наливая по стопкам.

— А и вправду, чего не хватает? Как надо? — подыграл Николай.

— А вот как! — рубанул Горбовский ребром ладони по столу так, что подпрыгнули стопки и кильки. — Стихи должны по мордасам бить... — он немного помолчал и добавил: — Но не сильно... Я всегда старался так писать.

Вот в этой добавке и сосредоточился весь его опыт профессионального поэта. Если не по мордасам — то не интересно ни себе, ни читателю, а если переборщить, то цензура не пропустит. Стало быть, и до читателя не дойдет.

«По мордасам, но не сильно», — вспоминаю я всегда, когда речь заходит о лучших поэтах второй половины XX века.

\* \* \*

Ранним утром поэту Геннадию Григорьеву позвонил драматург Сергей Носов и сказал, что у него есть «халтура» на сто баксов — нужно срочно написать стихотворение, посвященное поэту Александру Кушнеру. «Да знаю я прекрасно, что ты его

---

Ахматов Алексей Дмитриевич — поэт, прозаик, критик, издатель. С 80-х годов прошлого столетия публиковался в различных журналах и альманахах, антологиях и справочниках страны и ближнего зарубежья («Нева», «Звезда», «Аврора», «Юность», «Литературная учеба», «Немига литературная», «День поэзии», «Русские стихи 1950–2000», «Литературный Петербург XX век» и т. д.). Член Союза писателей России (Санкт-Петербургского отделения) с 1994 года. Лауреат премии им. Бориса Корнилова «На встречу дня» за 2010 год и премии им. Гоголя в номинации «Портрет» за 2016 год. Автор нескольких поэтических сборников, книги критики и прозы. В настоящее время (начиная с 1997 года) руководит поэтической секцией общества «Молодой Петербург» при Санкт-Петербургской писательской организации Союза писателей России, является главным редактором одноименного ежегодного альманаха и одним из учредителей стартовавшей в 2009 году ежегодной премии «Молодой Петербург». С 2013 года читал курс лекций по основам стихосложения в Институте культурных программ.

терпеть не можешь. Что с того?! Заказчик — московский меценат, если не получит стихотворение к середине дня, отдаст заказ в другие руки. А деньги будут завтра вечером», — рассудительно убеждал он.

Невыспавшийся Григорьев, кляня Кушнера последними словами, сел за работу, однако уже через пару часов, отринув с полсотни вариантов, по телефону зачитал Носову получившееся четверостишие:

Говорят, что мир разрушен,  
Но хранит высокий свет  
Александр Семеныч Кушнер,  
Лучший в Питере поэт.

Лишь отослав стихотворение, Гена посмотрел на календарь и увидел дату «1 апреля». Стоит ли говорить, что никакого московского мецената не существовало и денег Григорьеву не заплатили? А четверостишие это вскоре появилось в Интернете за подписью «Г. А. Григорьев», чем немало удивило поклонников талантов обоих литераторов, хорошо знающих об особенностях отношения их друг к другу.

\* \* \*

Поэт-фонтовик Герман Гоппе много лет руководил Клубом молодого литератора при Союзе писателей СССР и литобъединением при газете «Смена». «Не говори Гоппе, пока не перепрыгнешь», — шутили мы между собой, сдавая ему рукописи на очередную конференцию или сборник «Молодой Ленинград».

Прошло время. Союз распался на два неравных куска, Дом писателя сгорел. Молодые литераторы занялись бизнесом или просто поиском куска хлеба насущного. Герман Борисович плохо себя чувствовал и не мог самостоятельно набирать свои тексты на машинке.

Незадолго до смерти он позвонил мне и сказал: «Представляешь, у меня за жизнь в общей сложности было семь тысяч учеников, а вот сейчас, на старости лет, никто не может мне помочь перепечатать на машинке мои стихи. Ни один человек. Все говорят, что им некогда».

Пришлось печатать мне, хотя я как раз его учеником не являлся. Набирая его подборку на компьютере (тогда это еще был «Спектрум»), я все думал о бренности заслуг и авторитета и попутно о том, что Вознесенский таки отказал Пастернаку перепечатать его стихи, считая, что он выше этого.

\* \* \*

Поэт Дмитрий Толстоба рассказал мне забавный случай. В метро «Василеостровская» по эскалатору поднимался председатель секции поэзии, ленинградской писательской организации Семен Ботвинник. К нему на ступеньку встал молодой человек и с восхищением в голосе произнес:

— Здравствуйте, я узнал вас: вы гроссмейстер Корчной.

— Нет, — обескуражил его поэт-фронтовик, — я — Ботвинник!

Вообще-то когда Семен Вульфович занимал председательское кресло, фамилия его мало располагала ко всякого рода шуткам. В союзе ходило немало историй о загубленных им судьбах начинающих писателей. От его решений зависело, кому печататься, а кому нет, кому вступать в союз, а кому сидеть до старости в «дворниках и сторожах».

На одном из первых своих официальных выступлений в союзе я прочел стих про ветерана, который, расталкивая очередь, с бранью лезет к прилавку с фруктами. Там была такая строфа:

Он и тогда был не честней,  
Был и тогда прохвост.  
Он руку сбросил на войне,  
Как ящерица хвост.

Закljučая вечер, Ботвинник сказал: «Какое отвратительное стихотворение написал молодой поэт Ахматов». Несколькими годами раньше эта фраза бы перечеркнула мою литературную карьеру. Теперь же было совсем не страшно. Была какая-то веселая злость. Уже начиналась перестройка, крушились незыблемые авторитеты, и хаос постепенно овладевал всем вокруг.

Впоследствии Ботвинник стал тихим и скромным пенсионером. Трогательно сутулясь, он, довольно интересно и всегда по делу, выступал на разных мероприятиях, на которые изредка выбирался. И многие его стихи стали мне нравиться. Особенно это:

Берлин горит. Подтаявшая тьма  
Все выше поднимается и выше...  
Огонь вошел в угрюмые дома,  
И с тяжким гулом оседают крыши,

И наземь балки падают, звеня,  
И жаркий пепел сыплется за ворот...  
Я много видел пепла и огня;  
Я видел свой, войну познавший, город,

И пламя, полыхающее в нем...  
Берлин горит совсем другим огнем.

\* \* \*

Как бы я с этой женщиной жил!  
За нее, безо всякой бравады,  
я бы голову даже сложил,  
что сложнее сложенья баллады.

Дав отставку вчерашним богам,  
я б не слушал сомнительных сплетен.  
И отдал бы ей все, чем богат.  
И добыл бы ей все, чем я беден.

И, за нею не зная вины  
(что поделаешь — годы такие...),  
наблюдал я лишь со стороны,  
как бездарно с ней жили другие.

Но однажды (я все же везуч —  
 помогает нечистая сила)  
 протянула мне женщина ключ.  
 Поняла, позвала, поманила.

И теперь не в мечтах — наяву,  
 не в виденьях ночных, а на деле  
 как я с женщиной этой живу?  
 А как сволочь. Глаза б не глядели.

Автор этих строк — Геннадий Григорьев, мастер колких, почти эстрадных поэтических реприз, однажды рассуждал:

— Я человек выстрела, мне важна не метафора, которую все видят, мне важен выстрел, и я — стреляю. Это моя боль. А когда я понимаю, что я стреляю вхолостую и не падают те, в кого стреляю, значит, у меня что-то не получилось. Вообще меня мало интересует поэзия метафорная, у истоков которой стояли Мандельштам, Пастернак и другие. Первый-то, конечно, покруче был.

— Но ведь каждый из них шел своим путем в русской поэзии и делал свои открытия. На этих путях все исчерпано? — спросил я.

— В забоях, на рудниках еще что-то осталось. Золотишко кое-где есть. Поэтому туда еще ходят. Ищи и ты, а я рублю главный туннель. Меня золото не интересует.

— А что ищешь ты?

— Свет! Только свет. Вот Вознесенский говорит: «Кому-то надо быть истопником». Придумал тоже: «мать — тьма». Ну и что?! Русский народ миллион таких вещей придумал. Неинтересно это. Евгений Александрович (Евтушенко — А. А.) куда больше постарался, но и он тоже пораженец.

Я не политик, мне наплевать на то, что сейчас происходит, но мне больно и обидно, что закончилась русская литература. Мое поколение потерпело крушение. Ведь мы все просчитали, как в шахматах. Мы просчитали, как бы было бы, если бы не было коммунистов. И — проиграли. Ничего не стало. И литературы.

— А что же осталось?

— Не знаю. Может быть, этот город... Я не люблю деревенщиков и никогда не стану деревенским поэтом, со всеми их избами, березками, платочками. Не потому, что этого не понимаю. Оно мне тоже дорого, но мое — это Питер. Береговая линия Финского залива — линия моей судьбы. Ее ломали, да не поломали.

И он внезапно задекламировал:

Окушки теребили кукан,  
 Но клевало все хуже и хуже.  
 И внезапно дремучий туман  
 Поднялся над Маркизовой лужей...

\* \* \*

Читая воспоминания о поэтах Серебряного века, поражаешься иногда, до чего же писатели разных столетий похожи друг на друга. Даже чудачества во многом сходны. Недавно прочитал, что Сергей Есенин звонил сестре своей приятельницы, говоря: «Вы знаете, умер Есенин. Приезжайте». Другу некролог предлагал написать. И мне тут же вспомнилось, как прозаик Игорь Лапшин, напившись, заставлял меня звонить куда-то в Сибирь, куда уехала его любимая женщина, чтобы сообщить, что он умер и необходимо срочно приехать на похороны. А поэт Вик-



тор Ширали написал стихотворение на смерть Владимира Нестеровского лет за двадцать до кончины последнего, и тот, надо сказать, был несказанно рад этому произведению: «Здесь лежит Нестеровский, пиита отвратный на вид...»

Кстати, что касается Нестеровского, то когда я читал воспоминания о Мандельштаме, всегда невольно принимался оправдывать Владимира Мотелевича. Однажды я пришел в Дом писателя на Воинова со своей мамой (небывалый случай, может быть, даже единственный в моей поэтической жизни). Видимо, должно было быть какое-то образцово-показательное выступление. Первый, кто нам повстречался в фойе, был Нестеровский. Он тут же заинтересовался матушкой и пригласил ее на кофе в писательский ресторанчик. Обрадовавшись, что она на какое-то время пристроена, я понесся по каким-то своим делам, а когда мы увиделись с ней вновь, она с явным раздражением спросила меня, что это за тип, на которого я ее так опрометчиво оставил.

«Представляешь, — возмущалась она, — он заказал два кофе, какие-то булочки, а когда подошла очередь расплачиваться, заявил: „А у меня денег нет“. Конечно, я заплатила за двоих, но такой наглости я еще не видывала».

Ну как не вспомнить здесь, как Осип Мандельштам пригласил сестер Наппельбаум покататься на лодке по Царскосельскому пруду. А как только лодка причалила к берегу, он грациозно соскочил с нее, подав руку жене, оставив ошеломленных девиц самим расплачиваться за это увеселение (и это еще не самый яркий случай в ряду подобных). В другой раз он вставил себе золотой зуб из материала дантиста, заявив, когда все было сделано, что денег у него попросту нет. Нестеровский на этом фоне — само благородство. Но что самое интересное — у многих великих наших поэтов, совершавших постоянно дикие и бесчестные поступки, было самое обостренное чувство чести. Взять хоть Гумилева. Ведь воплощенное бесстрашие и рыцарство, а как бесчестен и жесток был с женщинами. От Ахматовой, которой изменял с остервенением, и до Елизаветы Дмитриевой (впрочем, ею далеко не кончая), из-за которой получил свою знаменитую пощечину от Волошина. А певец прекрасной незнакомки и возвышенной любви Блок, питающий пристрастие на деле лишь к продажным женщинам? Да кого ни возьми — везде дисбаланс между жизнью и стихами. Вот и Нестеровский, напиваясь, обычно любил разглагольствовать про честь. «Честь, — кричал он в телефонную трубку, прощаясь, — честь имею!»

Когда однажды я не приехал на какую-то нашу встречу, он позвонил мне и в недопустимом тоне стал отчитывать меня, как ребенка (при том, что сам мог, наобещав, не явиться куда угодно, вплоть до собственного выступления). Когда мне это надоело, я вяло произнес:

- Ну, вызовите меня на дуэль, в конце концов.
- Дуэль еще надо заслужить! — взвизгнул он.
- С чьей стороны? — начал заводиться я.
- С вашей, с вашей! — крикнул он и бросил трубку.

Причем все это делалось, я убежден, довольно искренне. Поэты всегда искренни и в своих взлетах, и в своих падениях. Наверное, потому что никогда не играют, так как постоянно находятся в игре. И в этом нет противоречия.

«Первая задача поэта — выдумать себя», — писал Иннокентий Анненский. Играя в такую игру, на игрушки в общечеловеческом смысле ни сил, ни интереса, видимо, не остается.

\* \* \*

В конце 90-х я с Борисом Хосидом, с которым был тогда дружен, объездил множество самых разных питерских поэтов с видеокамерой. Это казалось важным — ведь

многие читатели видели поэтов только на титульном листе собрания сочинений. Мы снимали на пленку то, как поэт читает свои стихи, что он думает о литературе, в какой обстановке, в конце концов, живет. Кто, например, знает, как выглядит рабочий кабинет Виктора Сосноры, какие книги стоят в шкафу Вадима Шефнера? Мы и название для этого проекта придумали: «Питерские поэты конца XX века».

И вот в поле нашего зрения оказалась Елена Шварц, модный тогда поэт-авангардист. Я позвонил ей, и она уныло выслушала мои тирады о важности передать для читателей образ современного поэта, окружающий его быт. Долго отнекивалась, говоря, что ей очень некогда, и оживилась лишь, когда спросила, сколько ей заплатят.

Я собрал в кулак все свое возмущение и вкрадчивым голосом сказал ей:

— Ну что вы, Елена, мы же понимаем, что поэты — люди небогатые. Поэтому мы весь проект осуществляем за свой счет и никаких денег с вас не возьмем.

— Вы неправильно меня поняли, — начала раздражаться Шварц, негодуя на мою бестолковость. — Я спрашиваю, сколько денег я получу за ваши съемки?

Мне оставалось только валять дурака:

— Не волнуйтесь, пожалуйста, никаких расходов не потребуется. Для вас все будет абсолютно бесплатно.

— Тогда мне это не интересно, — заявила она и бросила трубку.

Ее обильно издавала за граница, светила какая-то премия, — по-моему, ее сознание придавило «Букером» или чем-то в этом роде.

Я подумал тогда — как странно. Нас сразу и радушно принимали такие мэтры, как Александр Кушнер, Глеб Горбовский, Надежда Полякова, и даже поэт из того же андерграундного круга, что и Шварц, но только успевший ухватить побольше почестей, Виктор Кривулин. А Елена, только-только хлебнув славы, уже вела себя как привередливая «звезда».

\* \* \*

Лучший (после Чуковского) детский поэт XX века в одном из своих интервью сказал, что терпеть не может маленьких. Это нормально. Это даже закономерное... «Танцует тот, кто не танцует», — написал об этом когда-то Александр Кушнер.

Правда, перевалив за девятый десяток, Сергей Михалков заявил, что и стариков не любит. Говорят, когда кто-то упрекнул его в том, что он написал плохие слова для гимна, то ответ получил такой: «Зато ты будешь слушать их каждый раз стоя». Хороший ответ.

Целая эпоха за спиной. Неслабый путь от чернорабочего до главы Союза писателей. Можно по-разному относиться и к нему, и к его отпрыскам. Все мы неотвратимо «едем, едем, едем в далекие края». Теперь вот уехал и сам Михалков, большой художник и крупный человек.

А давным-давно, в 1942 году он написал такие стихи про «десятилетнего человека»:

Крест-накрест белые полоски  
На окнах съезжившихся хат.  
Родные тонкие березки  
Тревожно смотрят на закат.

И пес на теплом пепелище,  
До глаз испачканный в золе.  
Он целый день кого-то ищет  
И не находит на селе.

Накинув драный зипунишко,  
По огородам, без дорог,  
Спешит, торопится парнишка  
По солнцу, прямо на восток.

Никто в далекую дорогу  
Его теплее не одел,  
Никто не обнял у порога  
И вслед ему не поглядел,

В нетопленной, разбитой бане,  
Ночь скоротавши, как зверек,  
Как долго он своим дыханьем  
Озябших рук согреть не мог!

Но по щеке его ни разу  
Не проложила путь слеза,  
Должно быть, слишком много сразу  
Увидели его глаза.

Все видевший, на все готовый,  
По грудь проваливаясь в снег,  
Бежал к своим русоголовый  
Десятилетний человек.

Он знал, что где-то недалече,  
Быть может, вон за той горой,  
Его, как друга, в темный вечер  
Окликнет русский часовой.

И он, прижавшийся к шинели,  
Родные слыша голоса,  
Расскажет все, на что глядели  
Его недетские глаза.

Когда его спросили, что в жизни главное, он, не задумываясь, сказал: «Творчество».

\* \* \*

На открытие первого номера журнала «Северная Аврора» приехали нас поздравить московские литераторы из журнала «Литературная учеба» и «Юность». Поэт Андрей Романов попросил подготовить москвичам подборки стихов, и я засел за компьютер в вечном поиске, что бы дать. Дело в том, что практически все мной написанное было либо опубликовано (через неделю выходило мое избранное, с последними стихами), либо рассматривалось для публикации. Только-только у меня попросили десяток стихов в альманахе «Петрополь», а два дня назад я отнес подборку в журнал «Нева». Однако же какие-то стихи выбрать было нужно. Совсем старые, из прошлых книг, брать не хотелось, но я подумал: «А что, собственно, москви-

чам? Не все ли равно. Моих стихов никто из них не публиковал, да и не читал, наверное. Какая им разница!» Подобрал, скомпоновал и распечатал.

Пришло время знакомиться. Приятные ребята. Прозаик и критик Игорь Михайлов и поэт Валерий Дударев. Разговорились. Я представился.

— А ведь я вас знаю, — воскликнул Михайлов.

— Откуда? — удивился я.

— А я читал вас когда-то... по-моему, в «Книжном обозрении». Сейчас я даже вспомню, там еще метафора такая была: что-то о том, как рощица сбегает с холма, как молоко...

— А! — еще больше удивился я. Действительно, было такое:

С холма березовая рощица, вскипая,  
Сбегает вниз, как с плитки молоко.

Но ведь это было лет восемнадцать-двадцать назад.

Ребята засмеялись, а мне невольно, сквозь приятную волну, стало стыдно за мысли о том, что москвичам все равно, что им дают. «Двадцать лет помнить чужую строку», — с трепетом подумал я и смог сказать только:

— Ну и память...

— Ну и образ, — парировал Игорь Михайлов.

Тем же вечером после презентации «Северной Авроры» мы собрались на ЛИТО с моими учениками. Я, не удержавшись, похвастался этой историей, а затем вышел поговорить по телефону. Выйдя, за дверь услышал комментарий молодого поэта Кирилла Пасечника: «Во заливает!»

И от его неверия история приобрела еще большую значимость, а мое самодовольство раздулось еще сильнее.

\* \* \*

Отсняли сюжет, посвященный 199-летию со дня рождения Тютчева. Задумка такова: в кабачке собирается поэтическое общество «тютчеведов». Роли распределены заранее. Прозаик Володя Шпаков — эксперт-биограф. Поэт Николай Наливайко — восторженный почитатель. Поэт Евгений Антипов — «злой следователь» с тезисами: устарел, архаичен, дидактичен. Я — «противовес» Антипову: метафоричен, афористичен, патриотичен.

Половину из беседы ведущая забрала как слишком умную для телевизора. При этом выразила удивление:

— А Тютчев что, был патриотом?

— А как же, — говорю, — убежденный государственный.

— Надо же... я разочарована, — протягивает она.

— Почему? — удивляюсь в свою очередь. — А кем же, вы думаете, он был?

— Ну, — затрудняется ведущая, — а я думала, он нормальный человек.

Такой диалог. Красивая, ухоженная девочка. Даже стихи, посвященные Денисьевой, знает.

Затем съемочная бригада уехала, а мы продолжили, рассуждая, в какую партию вступил бы Федор Иванович сегодня. Мне почему-то подумалось, что в КПРФ, даже несмотря на то, что, будучи старшим цензором страны, он запретил публиковать «Манифест коммунистической партии» со словами: «Кому надо, прочтут и на немецком».

\* \* \*

С удовольствием перечитал один из ранних сборничков Александра Кушнера «Приметы». Это белоснежная, в суперобложке, книга тиражом в 10 000 (!) экземпляров, которую выпустил обыкновенный учитель обыкновенной школы рабочей молодежи на Выборгской стороне, в возрасте тридцати трех лет. Там нет ни одного «датского» стихотворения. Есть о душе, есть о вечной жизни (о душе вообще замечательно):

...То, что мы должны вернуть,  
Умирая, в лучшем виде...

Есть об аде (на дворе воинствующее безбожие конца 60-х):

И если в ад я попаду,  
Есть наказание в аду...

И о рае: «...то тихо скрипнет дверь в раю...»

Поэтому мне всегда смешно, когда рассказывают о том, как цензура снимала стихи и целые подборки, если редактор замечал религиозный подтекст. А может, просто писать нужно было хорошо, тогда б и рай, и ад проходили?

Но возвращаюсь к «Приметам». Не могу не привести блестящее, возможно, лучшее в книге стихотворение:

Казалось бы, две тьмы,  
В начале и в конце,  
Стоят, чтоб жили мы  
С теньями на лице.  
Но не сравним густой  
Мрак, свойственный гробам,  
С той дружелюбной тьмой,  
Предшествовавшей нам.  
Я с легкостью смотрю  
На снимок давних лет.  
«Вот кресло, — говорю, —  
Меня в нем только нет».  
Но с ужасом гляжу  
За черный тот предел,  
Где кресло нахожу,  
В котором я сидел.

Это, кстати, третья книга, а первая у Кушнера вышла в двадцать шесть лет. Причем не пятьсот экземпляров за свой счет, как, например, у Марины Цветаевой в 1910-м, в несоветские времена, а те же десять тысяч, продаваемых по всей стране. И получил за нее гонорар, на который можно было жить год. При этом он пишет, говоря о Бродском: «...наша бедная, полунищая, убогая, до 1987 года подневольная жизнь представляется ему оазисом». Чудны дела твои, Господи. Где, в каком уголке мира молодой поэт мог иметь столько воли, столько внимания и вообще всего того, что имели поэты в нашей стране?..

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

## СВЯТЫНИ ЕЛЕОНА

(по запискам русских паломников)

### Часть 3

#### Гефсиманский сад в записках Евгения Маркова (1891 г.)<sup>1</sup>

Евгений Львович Марков родился и вырос в родовом имении Патебник Щигровского уезда Курской губернии и принадлежит к одному из трех дворянских родов Марковых, ведущему свое происхождение от литовского дворянина, перешедшего на службу к российскому государю и получившему в XVII веке поместья около города Курска. Окончил Курскую гимназию, затем Харьковский университет (1857). В 1862 (или 1865) году он был назначен директором Симферопольской гимназии. Впоследствии занялся земской деятельностью; был управляющим Воронежским отделением дворянского и крестьянского земельных банков; много путешествовал по Европе и странам Востока.

Теперешний Гефсиманский сад заключает в своей белой каменной ограде только небольшую часть обширного сада евангельских времен... «Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его, свидетельствует Иоанн Богослов. Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими». Теперь во всем саду только восемь одряхлевших маслин тысячелетней древности с рассевшимися всеохватными стволами и тощей седой листвой. Эти ветхозаветные старцы действительно могли быть свидетелями евангельских событий...

Мы видели потом в Палестине и Галилее много масличных деревьев, с которыми связаны легенды глубочайшей древности но масличин такой исполинской толщины и такой очевидной древности не встречалось нам нигде. Это какие-то нерукотворные башни, сплетенные из несокрушимых растительных жгутов, будто из железных канатов. Средневековые столпники могли бы обитать в их громадных дуплах. Впрочем, есть и исторические основания подтверждающие глубокую древность гефсиманских масличин. При Шатобриане они платили туркам подати всего по медину от корня, между тем как все другие маслины Палестины были обложены половиной своего сбора... Такой льготой по турецкому закону пользовались только те масличины, которые захватил халиф Омар при своем первом завоевании Иерусалима. Стало быть, масличины эти уже давали плоды по крайней мере с VII века по Рождестве Христовом.

---

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

<sup>1</sup> Марков Евгений. Путешествие по Святой Земле. СПб., 1891. С. 98—101.

Маститые великаны растительного мира исполнены особенной меланхолической поэзии... Словно последние уцелевшие ветераны 20-тивековой истории, они стоят здесь дремлющими стражами ее священных теней... Хотя был яркий солнечный день, но мне невольно вспомнились и будто нарисовались сами собой знакомые картины художников, изобразивших талантливой кистью знаменательную ночь, когда под безмолвной тенью этих уединенных древесных старцев совершилась величайшая драма христианства...

«И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать», и сказал им «душа Моя скорбит смертельно!»... описывает немногословный Марк эти минуты последней внутренней борьбы Христа на рубеже великого подвига...

«Отец Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты!»... «И находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю»...

Наш известный художник Ге воссоздал своей известной картиной не только молящегося Христа, но и старый масличный сад Гефсимании, в котором Он молился... Таинственный свет луны перепалзывает целой сетью мигающих кружков, сквозь просветы листьев, по одеждам и лику Спасителя. По скатам горы стоят, утопая в свете южной лунной ночи, вековые стволы масличин... Христос один на коленях, лицом от месячного света, весь темный и мрачный, бросающий от себя темную и мрачную тень... Тут все реально: и свет луны, и сад, и черты еврея в лице Христа, и подавленное настроение духа, ужаснувшегося перед грядущим подвигом... Все человеческое, слабое, оробевшее, истекающее кровавым потом, — здесь налицо... Тут нет только одного божественного вдохновения, которым было побеждено минутное слабодушие плоти, — нет, стало быть, главного, внутреннего смысла таинственной ночи Гефсиманского сада...

Я вспомнил, стоя в этом саду и другую, тоже известную, картину, украшающую Императорский Эрмитаж Петербурга... На старой картине профессора Бруни уже нет реальных подробностей художника шестидесятых годов... Черная ночь кругом, и ничего не видно, кроме ярко освещенного молящегося лика Христа и Его молитвенно сложенных рук... Среди тьмы ночи сияет перед Ним в воздухе роковая чаша, о которой молится Он... Чаша эта, конечно, не реальна, не правдоподобна, ибо всякий ребенок знает, что Христос только иносказательно называл чашей предстоявший Ему крестный подвиг...

Но удивительное дело: на реальной картине художника натуралиста вы видите только лунный свет в саду, да мрачную фигуру иудейского заговорщика, обдумывающего свой решительный шаг, и ничего больше. А на неестественной картине классика-профессора вы вдруг действительно видите вдохновенную и скорбную молитву Христа, готового совершить величайший подвиг любви, видите живую страницу Евангелия, воплощенную в полотно художника...

Теперь сплошные ковры заботливо взлелеянных цветов устилают камни у корней старых маслин, на который капали когда-то кровавые капли Христа. Итальянцы-минориты обратили всю почву евангельского сада в один цветник и зорко охраняют от истребления малейшую веточку исторических деревьев, отделив их даже от остального сада особой проволочной решеткой. С трудом дали нам, за изрядное вознаграждение, крошечную веточку священной маслины. Зато цветами, выросшими в их тени, монахи награждают обильно сколько-нибудь щедрых богомольцев.

Кругом проволочной решетки, преграждающей толпе доступ к этим маститым евангельским памятникам, идет дорожка, с правой стороны которой, в особых шкафчиках за стеклом, помещены в последовательном порядке, с подобающими надписями, рельефные изображения всех страданий Христовых... Богомольцы-простолюдины не отрывают глаз от этой популярной и наглядной священной истории. Посредине круговой аллеи в особой нише из деревьев и цветов, стоит пре-

красная беломраморная статуя во весь рост Христа молящегося о чаше, — вполне уместная в тени гефсиманских маслин...

Но, странная вещь, душе моей хотелось видеть совсем не то, что я видел здесь... Все эти изящные цветнички, раскрашенные галерейки, мраморные статуи невольно отгоняют мысль далеко от того пустынного черного сада, в чащах которого когда-то укрывались по ночам нищенствующее галилейские рыбаки... Запустелый угол горы Масличной, покрытый вековыми деревьями, заросший бурьянами, обнаживший знойному солнцу свои безлюдные камни, — гораздо полнее перенес бы мое воображение во времена и обстановку евангельских событий, чем этот цветник-часовня, на-свежо отделанный, замкнутый под ключ и тщательно охраняемый монахами, собирающими с него доход...

Самое место молитвы Христа, куда Он удалился от апостолов «на вержение камня», предполагается в глубокой пещере, выделенной теперь из ограды Гефсиманского сада... В пещере этой храм, украшенный мраморами и позолотой и тоже принадлежащий итальянским монахам. Там все проникнуто воспоминаниями о горчайшем часе; везде изображения чаши и Спасителя, изнемогающего в молитве; на полу храма показывают место, где капли крови кровавого пота Христа растопили холодный камень и прошли насквозь, как капли огня сквозь кусок воска... В нескольких шагах от этой пещеры, три камня, на которых, по преданию, спали три апостола...

### Гефсиманский сад в записках Власа Дорошевича (1900 г.)<sup>2</sup>

Влас Михайлович Дорошевич (1864—1922), журналист, сотрудник московской газеты «Русское слово». С юности его притягивала мудрость Востока, которую он всю жизнь постигал в путешествиях... Углублявшаяся государственная трагедия России превращалась в его личную трагедию. Он пытался призвать власть и либералов к реформам, которые могли бы предотвратить сползание страны в революционную катастрофу. Личности Ленина он посвящает памфлет «Стенько-Разинщина», в котором рисует «Разина наоборот», который «для разрешения всех вопросов» знает лишь одно средство — «Сарынь на кичку!». Он взывает к последней надежде, «здравому смыслу», который — «велик Бог земли русской! — удержит страну на краю гибели, гражданской войны». Но голос его не был услышан, здравый смысл не оказался Богом России. Страшные параллели, которые он проводил во время своих лекций о Великой французской революции хотя и понимались чуткой публикой, но не могли повлиять на события. И тогда он замолчал. Гражданская война, братоубийство — это без него, хотя и зазывали с разных сторон. Одинокое сидение в Севастополе и отказ сесть на один из уходивших врангелевских кораблей. В феврале 1922 года в холодном и голодном Петрограде за гробом человека, которого читала вся грамотная Россия, шли четверо — вдова, актриса Ольга Миткевич, дочь Наташа, актер Павел Орленев и журналист Арнольд Гессен, будущий автор популярных книг о Пушкине<sup>3</sup>.

Вечер, как всегда на юге, наступал быстро. Сгущались сумерки. Тень Сиона и Иерусалима покрыла собой Иоасафатову долину, поднималась на противоположной стороне по Элеонской горе все выше и выше. Мрачная долина Иосафата, долина смерти, где, по преданию, будет происходить Страшный суд, была наполнена мраком. Словно призрак, белел в глубине, у Кедронского потока, памятник Авессалома. Лишь на вершине Элеонской горы сверкал еще последний золотой луч заката.

<sup>2</sup> Дорошевич В. В Земле обетованной. (Палестина). М., 1900. С. 59—65.

<sup>3</sup> Букчин Семен. «Смейтесь, чтобы не плакать» // Новая газета, № 6, 23. 01.2015. С. 22.



Здесь темной ночью, после Тайной Вечери, проходил Христос. Узенькая тропинка вьется змейкой по крутым склонам гор, идет по краям обрывов. Наверху чернели стены Иерусалима, молчаливого, заснувшего. Спало все. Не спали только в ту ночь ненависть и любовь. Христос шел по этой узенькой тропинке, направляясь в Гефсиманский сад. Спаситель любил Элеонскую гору, с масличными садами, покрывавшими ее склоны. Он часто удалялся сюда от шума суетного города. Он удалился сюда в тишину этих садов, плакать и молиться и в ту ночь, предшествовавшую Его страданиям. Его взяли на том месте, которое Он так любил.

Остатки Гефсиманского сада принадлежат теперь католикам. Здесь сохранилось восемь деревьев, про которые предание говорит, что они уцелели с того времени. Восемь старых масличных деревьев, с дряхлыми, растрескавшимися стволами. Они слышали вздохи смятенной души, доносившиеся с того места, где молился Христос. Зелень масличных деревьев всегда покрыта белым налетом. И ветераны-деревья кажутся седыми от старости. Сад окружен высокой каменной стеной. Этих безмолвных свидетелей великой ночи приходится защищать стенами, решетками, металлическими сетками от вандализма поклонников и туристов, желающих унести веточку на память.

Вы входите за ограду сада и останавливаетесь, неприятно пораженный. Зачем все это? Разве нуждалось такое место в украшениях? Почему ему не дали уцелеть в его первобытном виде, в том виде, в котором оно было, когда здесь молился Христос? В тысячу раз было бы красивее, трогательнее, прекраснее, если бы простой зеленый ковер покрывал пространство между деревьями. Этот уцелевший уголок Гефсиманского сада превратили в цветник. Он производит впечатление музея. Около каждого дерева разбита клумба цветов, и каждая клумба окружена каменной оградой. Словно витрины. Дорожки, мощеные камнем. Все это производит впечатление банальной, шаблоннейшей рамы, в которую зачем-то вставили картину дивной, редкой, божественной красоты.

Недалеко от этого уцелевшего уголка Гефсиманского сада находится принадлежащий католикам же грот, который предание называет местом моления о чаше. Около входа в сад, в глубине узенького коридорчика, в стене видна сломанная колонна пожелтевшего от времени мрамора. Здесь, по словам предания, Иуда подошел ко Христу, со словами:

— Радуйся, равви!

По дороге между гротом и остатком этой колонны, из земли выступают два огромных пласта каменной скалы. Здесь, по словам предания, оставались апостолы, пока Спаситель молился невдалеке. Сюда подходил Христос и, видя учеников спящими, говорил им:

— Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение; дух бодр, плоть же немощна.

Еще недавно это место, такое священное по преданию, было свидетелем печальных событий. Дух любви далеко, о, далеко не всегда живет здесь, около этих священных мест. Представители различных христианских вероисповеданий всеми силами стараются захватить себе места, освященные преданиями. Года три тому назад католические монахи хотели обратить эти камни в свою собственность и обнесли их стеной. Греки сочли это незаконным захватом и явились разрушать стену. Произошла свалка, во время которой были пущены в ход даже револьверы.

В конце концов, в дело вмешались турецкие власти. Стену снесли, камень апостолов и колонна, где был предан Христос, были объявлены местами, принадлежащими одинаково всем вероисповеданиям, и только таким образом удалось водворить спокойствие и тишину в месте, где даже шум шагов кажется профанацией священной тишины, полной таких воспоминаний.

Католическое духовенство очень любезно разрешило мне провести несколько часов вечером в этом священном уголке. Испанец, францисканский монах, с глубоким поклоном пожелал мне покоя и мира и удалился свою келью, увитую плю-

щом, закрытую пышно разросшейся сиренью. Я остался один с глазу на глаз с великим прошедшим.

На вершине Элеонской горы погас последний луч заката. В небе вспыхнули бледные звезды, они разгорались все ярче и ярче и ночь засверкала своими бриллиантами. Наступила тьма. В ней исчезла вся эта шаблонная рамка чудной картины: клумбы, изгороди, решетки, дорожки. Во мраке вставали только темные силуэты старых оливковых деревьев, словно призраки прошлого. Сад дышал нежным, еле уловимым ароматом цветов. В эту холодную ночь цветы лили нежный, еле слышный аромат со своих чашечек. Было холодно, как в ту ночь, когда слуги первосвященника должны были раскладывать костры, чтобы греться. Было тихо, и когда пробежал легкий ночной ветер, листья старых деревьев тихо тихо шелестели, словно вспоминали и шептались друг другу о том, что они слышали, чему были свидетелями в ту ночь.

Этот шелест листьев над головой, словно шепот неба, доносился с вышины, словно шепот сверкающих звезд. И когда стихал этот шепот, снова воцарялась тишина, в которой погребены слова, раздававшиеся здесь когда-то.

Эти восемь свидетелей того, что было. Они видели несколько темных силуэтов людей, пришедших с той стороны долины, от Иерусалима. Они видели как отделился Один, удалился и пал на колени с мольбой. До них доносился шепот молитвы о чаше. Смущенные они молчали, внимая шепоту, вздохам и стонам, и своей тишиной навевали сон на утомленных апостолов. В благоговейной тишине они внимали скорбной молитве Спасителя мира.

Послышался стук шагов по каменистой тропинке и голоса. Священная тишина была прервана. Под этими деревьями замелькали факелы. Когда их дрожащий свет мелькнул по листьям, казалось, деревья вздрогнули от страха и предчувствия беды. При этом свете факелов они видели все, что произошло дальше. И пораженные мужеством Пленника лица воинов и слуг, и насмешливой улыбкой искаженное лицо предателя, говорившего:

— Радуйся, равви!

И смущенные лица апостолов, и благородное негодование на лице Петра, извлекшего меч на защиту Учителя. И среди этих лиц спокойный лик Спасителя, кроткий и добрый.

— Кого ищете?

— Иисуса Назорея.

— Это Я.

Здесь прозвучал звук поцелуя предателя, того поцелуя, который отравил сомнением все поцелуи мира. Эти безмолвные свидетели слышали полный скорби вопрос:

— Лобзанием ли ты предаешь Сына человеческого?

Своей тенью они покрывали убежавших и видели Христа, оставленного одного среди врагов. По ним в последний раз скользнул красноватый отблеск факелов, и все снова погрузилось во тьму. Яркими точками сверкали удалявшиеся факелы. Замирал стук шагов и голоса, доносившиеся издали, и под этими деревьями воцарилась тишина, в которой было похоронено виденное и слышанное. Лишь когда ночной ветерок пробежал по листве, деревья тихо, смущенно шептались. Словно вздох срывался у них.

И я стоял здесь, на этом самом месте, дрожащий от воспоминаний, окружавших меня. И в сердце просыпался страх, тот невольный страх, который испытываете вы, касаясь стопой священного места. Страх, который испытывал Моисей, подходивший к кусту, который горел и не сгорал. Это было здесь, на этом самом месте. Я глядел на звезды, свет которых доносился так ярко сквозь прозрачный горный воздух. Тогда была такая же тихая, холодная, звездная весенняя ночь Палестины. И нежный аромат цветов поднимался к небу, как тихая молитва Гефсиманского сада.

В «Путеводителе по святым местам града Иерусалима» (Одесса, 1908) отечественные паломники могли прочесть такие строки: «Недалеко от вертепа Богоматери, по правую сторону дороги, ведущей на Елеонскую гору, указывают остатки Гефсиманского сада, современного Спасителю. Восемь широколиственных маслин глубокой древности, ныне тщательно оберегаемых владельцами этого сада, говорят, произрастают от корней именно тех деревьев, под которыми Господь неоднократно уединялся для отдохновения и молитвы. Среди этих именно деревьев Господь был предан Иудой в руки Своих врагов. Говорят, что евреи предлагали большую сумму денег хозяевам этого сада, чтобы истребить Гефсиманский сад, как историческое место беззаконного предательства и начало позорного Суда над Ним, но доселе не имели успеха»<sup>4</sup>.

В том же 1908 году в Иерусалиме побывал иеромонах Серафим, автор книги «Путевые впечатления». (СПб., 1910). В его записках о Гефсимании неизменно присутствуют восемь священных маслин: «Направо находится тщательно огороженный каменной стеной Гефсиманский сад. Он принадлежит ныне латинянам. В нем находится 8 древних масличных дерев, отростки древних, которые были зрителями ночной молитвы Богочеловека. Посетив сад, невольно перенесся я мыслью к тому времени, когда здесь в тиши темной ночи, после Тайной Вечери проходил Божественный Учитель и возносил Свои пламенные молитвы до кровавого пота»<sup>5</sup>.

Иеромонах Серафим упоминает и о других памятных знаках, отмечавших евангельские события: «По выходе из сада показали мне камень, на котором, по преданию, Иисус Христос оставил Петра, Иакова и Иоанна, а Сам пошел на молитву. Потом обозрел место моления о чаше; оно обозначено вделанным в стену столбом»<sup>6</sup>.

В записках протоиерея Александра Глаголева (1911 г.) отмечен тот традиционный путь, которым издавна шли паломники к Елеонской горе: «Помолившись у св. Гроба Богоматери и решив еще после побывать здесь, мы направились далее, к горе Елеонской, по небольшому мостику перешли сухое ложе Кедрона, и прежде всего осмотрели место того Гефсиманского сада, где происходило моление Спасителя о чаше. Теперь здесь указывают восемь старых маслин, огороженных железной решеткой и находящихся во владении католиков»<sup>7</sup>.

Вот еще несколько строк того же автора. посвященных Гефсиманскому саду: «Недалеко от этих маслин указывают маленький переулок, имеющий форму буквы П, никому ныне не принадлежащий, где полагают самое место Гефсиманского подвига Христа Спасителя. Вообще же Гефсиманский сад евангельского времени не занимал такого небольшого пространства, какое ныне огорожено католиками, а был раскинут по всему склону горы»<sup>8</sup>. «Внутри сада, кругом по ограде, несколько небольших часовен с рельефными изображениями страданий Иисуса Христа»<sup>9</sup>, — добавляет саратовский паломник Николай Русанов (1911 г.)

Саратовский пешеходец не ограничивается описанием Гефсиманского сада; он подчеркивает его уникальный характер и величайшее значение для спасения человеческого рода от первородного греха.

Много мыслей и воспоминаний возбуждали каждом из нас гора Елеонская и сад Гефсиманский. Сады обыкновенно служат местом приятного отдыха; но не

<sup>4</sup> Путеводитель по святым местам града Иерусалима. Одесса, 1908. С. 130.

<sup>5</sup> Серафим, иеромонах. Путевые впечатления. СПб., 1910. С. 64.

<sup>6</sup> Там же. С. 64.

<sup>7</sup> Глаголев Александр, прот. По святым местам: от Киева до Иерусалима. Киев, 2005. С. 54.

<sup>8</sup> Там же. С. 54.

<sup>9</sup> Русанов Николай. Ближний Восток. Саратов, 1911. С. 209.

таков был для Господа Иисуса сад Гефсиманский; там источились не чистые струи вод, а потоки кровавого пота; там слышны были не тихое веяние ветров, но вопли и вздохи; не с благоухающими розами, а с дрекольями были пришедшие взять Христа. Подвиг внутренней борьбы и страданий начат Христом Спасителем в присутствии избранных апостолов, бывших свидетелями Его Божественной славы на Фаворе, а окончен Им в полном уединении. Мы видим в Гефсимании место отдохновения и сна трех учеников, когда Господь и Учитель их пребывал в молитве и борении, в неизобразимой борьбе с Собою. Приникнем благоговейным взором к месту моления о чаше, и в духе веры и смирения посмотрим, среди какой страшной бури искусительных помыслов и ощущений, среди каких тревог и колебаний душевных провел Святейший Примиритель неба и земли последнюю ночь на земле<sup>10</sup>.

Особое внимание автор паломнических записок уделяет словам Спасителя о чаше страданий, обращенных к Богу Отцу: «Моление Спасителя, — *да мимо идет от Него чаша, если это возможно*, наводит на мысль, что, изнемогши под тяжестью креста, Он по естеству человеческому возжелал, чтобы чаша страданий миновала Его. Тяжесть этой чаши как бы преклонила Его обратиться от правосудия Божия к милосердию; при мысли, что Небесному Отцу все возможно, в Божественном Страдалце как бы проявилась надежда, что есть возможность, да идет сия чаша мимо. Эта боязнь страданий и смерти, свойственная человеческому естеству Сына Божия, дает нам понять, как тяжела была предлежавшая Ему чаша страданий. Вместе с этим Господь выразил совершенную преданность воле Отца Небесного, несмотря на противодействие природы. Все это напоминает нам, чтобы в скорбях своих мы были мужественны и тверды и обращались с молитвой к своему Небесному Отцу, всецело предавая себя Его святой воле»<sup>11</sup>.

В те годы одним из наиболее распространенных в Иерусалиме видов ремесленной паломнической продукции являлись образки, вырезанные на спилах оливок, напоминающих о молении Спасителя в Гефсиманском саду. Многие сюжеты посвящены Крестным страданиям Спасителя и повествуют о событиях Крестного пути, по которому в первую очередь проходили все поклонники Святого Града<sup>12</sup>. Ректор Московской духовной академии епископ Арсений (Стадницкий), побывавший в Святой Земле в 1900 году, так описывает свои впечатления от Иерусалима: «Лавки, расположенные на протяжении крестного пути, больше части устроены без окон и без дверей, а освещаются только с улицы. Они или непосредственно соединены с мастерскими, или сами в то же время являются мастерскими, так что, проходя по улице, имеешь возможность наблюдать деятельность в этих мастерских. С улицы видно, как в одном месте столяры работают над изготовлением восточных диванов и других предметов, преимущественно мелких вещиц из оливкового дерева (верблюды-чернильницы, подсвечники, альбомы, трости и т. п.), раскупаемых паломниками на память о Иерусалиме»<sup>13</sup>.

<sup>10</sup> Там же. С. 204—205.

<sup>11</sup> Там же. С. 210—211.

<sup>12</sup> Гнутова С. В. Святые места Иерусалима в паломнических реликвиях // Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 1. 2012. С. 250.

<sup>13</sup> В стране священных воспоминаний. Описание путешествия в Святую Землю, совершенного летом 1900 года преосвященным Арсением, епископом Волоколамским, ректором Московской Духовной Академии, в сопровождении некоторых профессоров и студентов. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1902. С. 209.

Незадолго до Первой мировой войны Святую Землю посетил паломник Г. М. Добролюбов, оставивший свои записки о палестинских святых.

Георгий Михайлович Добролюбов (1878—1955), будучи моряком, капитаном фрегата Российского императорского флота, находясь в отпуске, по совету патриарха Дамиана, с которым он познакомился на пароходе «Евфрат» в Хайфе, в 1913 году совершил двухнедельное путешествие по святым местам в Палестине. Результатом его явился объемный труд, названный им скромно «Путевые заметки», получивший высокую оценку патриарха Иерусалимского Дамиана, который наградил автора своей «патриаршей грамотой». События октября 1917 года сделали пребывание в России невозможным, и он, получив в июне 1920 года разрешение командования, оформляет загранпаспорт для следования в Сербию и Чехословакию. Впоследствии попадает в парижскую русскую эмиграцию. Высокий духовный потенциал в соединении со знанием библейской истории и завидной наблюдательностью позволил Г. М. Добролюбову за время его путешествия по Палестине не только увидеть около 150 памятников и реалий, но и ярко описать их своеобразие, нарисовать живые картины палестинского быта. Общественные заслуги Г. М. Добролюбова во Франции были отмечены в 1954 году орденом Почетного легиона. Он надеялся на перемены и возвращение в Россию, но дожить до наших дней было не суждено<sup>14</sup>.

Г. М. Добролюбов по-военному четко описывает увиденное: «Гефсиманский сад имеет форму четырехугольника длиной не больше 70—80 шагов и принадлежит французскому ордену. Он окружен невысокой стеной. Здесь отмечены места, где св. Петр и св. Иаков заснули. Отмечено и место моления о чаше и где Иисус Христос получил поцелуй Иуды. В Гефсиманском саду восемь очень древних оливковых деревьев, расколотых временем и укрепленных у основания цементом. Возраст этих деревьев, говорят, больше 2000 лет, но каждый год они до сих пор цветут, и оливковое масло, приготовленное из их маслин, ценится очень дорого. Из их косточек делаются четки»<sup>15</sup>.

Перед Первой мировой войной в Палестине побывала небольшая группа епископов-старообрядцев из России. Поклонившись месту Вознесения Спасителя («Стопочке»), они проследовали в Гефсиманский сад: «Место это принадлежит теперь католикам и изменено ими до неузнаваемости. Той простоты и естественности, какую бы хотелось видеть, исходя из евангельских сказаний, далеко нет: сад весь разбит на правильные тропинки, усыпанные песком, между которыми пестреют клумбы цветов, как будто перед вами — сад для общественных гуляний, но никак не место величайшего события христианской истории. И только восемь старых масличных деревьев, с корявыми, необхватной толщины, стволами и тощей седой листвой остались свидетелями того, когда Сын Божий, в ночной тишине, в томлении духа и плоти, возносил к Небесному Отцу свои молитвы. Седые великаны слышали тоскующие вздохи Богочеловека, видели Его кровавый пот и, пораженные страхом величайшего смирения Сына Божия, как бы застыли в немом ужасе, совершенно не замечая, что над ними пролетели тысячелетия...»<sup>16</sup>

Здесь имеется восемь маслин исключительно громадной толщины. Две из них достигают в обхвате у основания шести метров. Говорят, что во время турецкой оккупации Иерусалима эти восемь маслин освободились от обложения налогом на том основании, что они давали плоды еще при первом магометанском завоевателе Иерусалима халифе Омаре, то есть в 637 году. Известно, что олива — долговеч-

<sup>14</sup> Добролюбов Г. М. Путевые заметки (по Святым местам Палестины) // Палестинский сборник, вып. 32 (95). СПб., 1993. С. 100. Предисловие.

<sup>15</sup> Указ. соч. С. 105.

<sup>16</sup> Быстров С. И. По Востоку. (Путешествие старообрядческих епископов). М., 1916. С. 119—120.

ное дерево. При правильном уходе за ней и обрезке ее ветвей она может жить тысячелетия. Поэтому вполне возможно, что в этих гигантах мы видим отпрыски Гефсиманского сада — где молился Христос, — тщательно оберегаемые в течение тысячелетий заботливыми руками людей, которым дорого было самое место этого сада; оливы заботливо оберегаются и теперь.

В 1919—1924 годах католики, владевшие местом «Моления о чаше», воздвигли над ним так называемый «Храм всех наций» (15 католических государств участвовали в его украшении)<sup>17</sup>. В записках паломницы-эмигрантки Александры Гавриловой, в 1945—1947 годах посещавшей Святую Землю из соседнего Египта, излагается история современного «храма всех наций», как она ее слышала от русских старожилов Иерусалима.

С давних пор, в этом месте Гефсимании стоял каменный столб. Православные греки часто вели споры и даже ожесточенные схватки со всеми, кто пытался удалить или даже только переместить этот столб. Знали они, что в Палестине столбом всегда отличалось всякое чем-либо замечательное место и даже доселе межа поля, раздел между соседями и пр. отмечается кучей камней в виде столбика. В последнее время поле это с оливковыми деревьями на нем, и теперь везде растущими по склонам Елеона, принадлежало одному арабскому семейству, которое категорически отказывало в продаже своего поля не христианам. Архимандрит Антонин, собиратель русских святынь в Палестине — археолог, Божией милостью, и большим опытом (по своему предыдущему служению в Греции), обратил внимание на этот участок и хотел купить его. Но хотя Россия была самой щедрой жертвовательницей на Св. места, специальных фондов для покупок не имелось. Архимандриту Антонину надо было как-то достать известную сумму. Наутро ему обещали устроить. А ночью католики откупили эту землю, может быть, предложив и больше. «Им что? объяснили мне, — у них всегда деньги готовы. Папе римскому средства идут из многих стран, а всем здешним православным шли почти исключительно из России»<sup>18</sup>.

При постройке настоящего храма были обнаружены остатки прежнего, а под ними, по плану в несколько ином направлении, следы другого, еще более древнего храма. Среди новой мозаики пола можно видеть целыми кусками прекрасно сохранившуюся великолепную древнюю мозаику. Была обнаружена также внешняя стена алтаря полукруглой формы — типичной для всех базилик и храмов свв. Константина и Елены (и последующей эпохи). Эта стена вошла в стену настоящего алтаря, и паломники могут осмотреть и коснуться ее. Над алтарем новая прекрасная мозаичная картина «Моления о чаше» в натуральную величину. Перед алтарем обнесенный низкой чугунной оградкой камень плоская скала — место Моления...<sup>19</sup>

Перед алтарем за преградой в виде квадрата около 3х3 м выступает неровная поверхность природного каменистого грунта Гефсиманского сада, напоминающая нам, что где-то здесь, на таком же грунте Христос «пал на землю и молился» (Мрк. 14, 35, ср. Мф. 26, 39) «и находясь в борении, прилежнее молился; и был пот Его, как капли крови, падающие на землю» (Лк. 22, 44).

В записках немногочисленных паломников русского зарубежья, посещавших Елеон, упоминается об этом величественном храме. Одним из таких богомольцев, побывавшим здесь в 1936 году, был А. П. Ладинский; для своих читателей он поясняет смысл названия *Гефсимания*: «Впереди, в кипарисах, поднимающихся к небесам,

<sup>17</sup> В записках некоторых паломников неточно упоминаются 12 католических государств.

<sup>18</sup> Гаврилова Александра. Записки паломницы (1945—1947 гг.). Джорданвилль, 1968. С. 35.

<sup>19</sup> Там же. С. 35.

как пламя черных свеч, в серебристо-голубоватых оливах, стоит Гефсимания. Гефсимания по-еврейски значит — «масличные точила». Здесь во времена Христа стояли прессы, на которых давили оливки из окрестных оливковых садов, и здесь же разыгралась та драма одиночества, покинутости и обреченности, что известна нам под именем Моления о чаше»<sup>20</sup>.

И вот Ладинский у подножия Елеона; перед ним предстала величественная картина: «На месте древних базилик стоит пышный храм францисканцев, сих «кустодиев» святых мест для римского престола. Пovyше русская церковь св. Магдалины, построенная императором Александром III, с пятью золочеными луковичами, тоже в зелени черных кипарисов»<sup>21</sup>.

Перед мысленным взором русского автора разворачивается евангельская история двухтысячелетней давности.

Трогательнее, чем торжественная мозаика и колонны францисканского храма и великолепие золотых лукович, все то, что окружает это место — простые камни, щебнистые тропинки, кипарисы и оливы. В саду у францисканцев стоят восемь древних олив. Даже ботаники склонны, кажется, признать, что им более двух тысяч лет, этим гигантским корявым корневищам в несколько обхватов. Каким-то чудом время пощадило драгоценные деревья. На них еще зеленые ветви, а на ветвях плоды, может быть, самые древние плоды на земле. Может быть, в тени одного из этих деревьев сидел Христос, а «на вержение камня» спали апостолы, и звезды, пушистые и огромные, сияли на бархатном небе, и вдруг появились среди черной зелени сада багровые факелы, сад наполнился дымом и человеческими голосами и от этого шума перестали петь кузнечики. Отняв руки от измученного лица, Христос сказал: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и колющими, чтобы взять Меня»... Прошло две тысячи лет с той ночи, а до сих пор слышится эта горькая интонация прекрасного голоса, и потряскивание факелов, и грубые окрики, и топот ног, когда схваченного, как разбойника, повели вниз, в город, мимо масличных точил. Я видел такие точила на раскопках в Библисе — сохранившиеся почти в полной целости от римских времен — каменные круглые прессы, стоки для масла, огромные глиняные сосуды в небольшом, кое-как сложенном из камня помещении. Как, вероятно, они пахли по ночам маслом, пахучим палестинским маслом!..<sup>22</sup>

Среди немногих русских эмигрантов, посещавших Святую Землю, были паломники, обладавшие литературным даром. К их числу относится Александра Гаврилова, автор книги «Записки паломницы (1945–1947 гг.)» (Джорданвилль, США, 1968). Во время своего первого приезда в Иерусалим (1945 г.) она уделила Гефсиманскому саду несколько строк: «Сад Гефсиманский — это склон горы Елеонской, обращенный к городу. Здесь было моление о чаше. В чудесном католическом храме — камень, обнесенный оградкой, на котором молился Христос. А вне храма, в ограде, за алтарем — камни, на которых уснули ученики. Очень похожи! они и теперь располагают прилечь, присесть: беловатые, почти отшлифованные. При дороге, в нише ограды, зацелованный кусок каменного столба — этим камнем издавна было отмечено место моления о чаше. Этот Гефсиманский сад — Оливковый сад, был когда-то злостно вырублен и при храме осталось только восемь деревьев, произросших от корней старых».<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Ладинский А. П. Путешествие в Палестину // Путешествия в Святую Землю. Записки русских паломников и путешественников XII–XX вв. М., 1994. С. 239.

<sup>21</sup> Там же. С. 239.

<sup>22</sup> Там же. С. 239–240.

<sup>23</sup> Гаврилова Александра. Записки паломницы (1945–1947 гг.). Джорданвилль, 1968. С. 11.

Во время своего очередного паломничества в Святую Землю в записках Александры Гавриловой появляются такие строки: «Почти двадцать веков должно было прожить человечество, чтобы узнать, что и у простого смертного в минуты тяжелых душевных страданий может выступать на лице и на лбу кровавый пот. При постройке современного храма, по-видимому, соблюдались план и некоторые другие особенности древнего, храм очень темный; сопровождающий монах всегда зажигает электричество. В садике перед храмом восемь старых оливковых деревьев — остатки того сада Гефсиманского, в котором молился Христос и был схвачен после предательства. Во время своих паломничеств в Палестину, я часто ходила пешком в Гефсиманию. Проходя мимо храма Моления о чаше, всегда заходила в него»<sup>24</sup>.

В 1947 году Страстная неделя пришлось после католической Пасхи, и Александра Гаврилова особенно любила тогда заходить в пустующий храм.

«Однажды, войдя в притвор, увидела по обыкновению молодого, тихого католического монаха, который всегда присутствовал там; он хотел что-то сказать мне и не решался, — вспоминала Александра Гаврилова. — Пройдя в полутемный храм и еще ничего не видя, со света, я поняла, что хотел сказать мне монах: весь храм был наполнен придавленными, но очень слышными в пустоте, рыданиями и тяжелыми вздохами. Присмотревшись, я различила человеческую фигуру, распростершуюся на самом камне агонии: лицом вниз, руки крестом... И вдруг, среди приглушенных рыданий, я ясно различила стон: — «Боже мой!» — по-русски. Я поспешно вышла из храма — зайду на обратном пути. О чем молилась, в чем каялась эта страждущая душа? Какую скорбь изливала она на этом месте? Прости ей, Господи! Помоги ей!»<sup>25</sup>

В 1952 году в Иерусалим из Нью-Йорка прибыл епископ Серафим (РПЦЗ). Его записки о «храме всех наций» довольно краткие: «Сразу у дороги, у подножия горы Елеонской, под нашим русским участком, расположен католический монастырь. Храм его имеет 12 куполов. Он совсем недавно построен на деньги, собранные в 12 государствах. Внутри храма устроена искусственно вечная ночь. За низкой каменной оградой находится большой плоский камень, а за ним фигура молящегося Господа, освещенная немногими лампадами, а может быть, и рефлекторами»<sup>26</sup>.

«Поздним вечером пошли пройтись по Гефсиманскому саду, — продолжает владыка Серафим. — Была дивная лунная ночь. Полная тишина. Монастырь спит. Мы одни в саду, в том самом саду, где так любил проводить молитвенно ночи наш Господь. Пусть все деревья новы, — рельеф горной местности ведь тот же самый, камни те же. Поднимаясь все выше и выше на Елеонскую гору, мы, наконец, выбрались из сада. Чудный вид открылся нам. Как на ладони, велик святой город, освещенный мягким лунным светом. Огни в старом городе почти все потушены, а новый позади него лежащий город, принадлежащей ныне Израилю, весь в огнях: белых, красных и зеленых. Город явно живет ночной жизнью больших европейских или американских городов. Два мира рядом. Картина редкостная и знаменательная: мир духа и мир материи»<sup>27</sup>.

В конце 1950-х годов в Святой Земле побывала группа русских паломников-эмигрантов из Франции. Приближаясь к Елеонской горе, они увидели «храм всех наций», а рядом с ним — Гефсиманский сад: «На восток от часовни св. Стефана у самой дороги высится монументальный фронтон базилики францисканцев, расположенной у подножия горы, на месте предания Спасителя Иудею. Отсюда начинается Гефсиманский сад и продолжается вверх по склону горы. Предполагают, что сад

<sup>24</sup> Там же. С. 37.

<sup>25</sup> Там же. С. 37.

<sup>26</sup> Серафим, епископ. Паломничество из Нью-Йорка в Святую Землю. Нью-Йорк, б/г. С. 55.

<sup>27</sup> Там же. С. 115.



этот принадлежал кому-нибудь из друзей Спасителя (может быть, апостолу Иоанну Богослову?), потому что Господь так свободно посещал его, проводя «ночи на горе Елеонской» (Лк. 21, 37), проповедуя там кончину мира; наконец, уединившись там для последней предсмертной молитвы в ночь предания. «И вышедши (с Тайной вечери), пошел, по обыкновению на гору Елеонскую... за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его» (Лк. 22, 39; Иоан. 18, 1)»<sup>28</sup>.

И еще несколько строк о «храме всей наций»: «На месте предания (Спасителя под стражу. — А.) был храм, где и читалось в Великий Четверг соответственное место из Евангелия, как свидетельствует Сильвия. Христиане, строившие здесь храм около 9 века, обнаружили фундамент и мозаики 4-го века. В настоящее время большая базилика францисканцев, построенная с помощью 12 европейских государств, стоит на месте предания. В ней огорожен перед престолом камень; стены украшены мозаикой. В окна вставлено синее стекло, так что в базилике пребывает вечная ночь — Гефсиманская ночь...»<sup>29</sup>

Подробное описание интерьера базилики приводит известный современный палестиновед Н. Н. Лисовой в своей книге «Святая Земля: история и наследие (М.: СПб., 2015).

Базилика Гефсиманской Молитвы воздвигнута над подлинным камнем, который прожег Иисус в последнюю Свою земную ночь молитвенными слезами и каплями кровавого пота... Лишь постепенно проясняются, проступают из полумрака другие элементы церковного убранства. Камень Иисусовой молитвы — Моления о чаше, как называют этот сюжет в мировом искусстве, окружен низенькой железной решеткой, сплетенной в форме тернового венца. Дополнительный символ жертвенности и беспомощности Невинного Страдальца, взявшего на Себя грех мира и ужас смерти, — две белые голубки по углам решетки, будто запутавшиеся в терновнике и обреченные на медленную гибель.

Большая мозаика над алтарем изображает тот же кусок скалы с простертым на нем в изнеможении Спасителем. В самом верху видна рука Бога Отца, несущего знак победы, — в уверение того, что Христос не до конца оставлен Отцом. Ниже спускается с небес посланный утешить скорбящего Ангел. Художник Д' Акьярди сумел создать мозаичную икону предельной красоты и пронзительности. Лицо Иисуса явственно отражает не только глубокую печаль, но и почти недоумение, даже отчаяние. Как пишут искусствоведы, это действительно произведение «великого мастерства и религиозного вдохновения». Оказывается, мозаики XX в. умеют не хуже классических византийских и средневековых передавать тончайшие оттенки, которым нет равных по выразительности ни в каком другом материале. Главный алтарь, с его максимально смягченным светом, проходящим сквозь пурпурные фильтры, является напоминанием и символом той «молитвы до кровавого пота», о которой сказано в Евангелии. Мозаики двух боковых нефов изображают другие важнейшие моменты Гефсиманского действия: предательство Иуды и добровольный выход Христа навстречу толпе: «Вот Я!»

Продвигаясь затем — как бы «обратным ходом» — от алтарной части внутрь церкви, мы в деталях увидим, как старательно и умело воссоздает архитектор атмосферу ночной мистерии. Шесть монолитных колонн поддерживают свод, устроенный в форме 12 малых куполов, — по числу 12 апостолов, — и каждый из них «увит» ветвями маслин и мерцает звездами на фоне ясного ночного неба. Сквозь алавастровые окна, просвечивающие, но не прозрачные, свет проникает только почти совсем фиолетовый — литургического цвета, цвета молитвы и покаяния...<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Святая Земля. Париж, 1961. С. 78.

<sup>29</sup> Там же. С. 47.

<sup>30</sup> Лисовой Николай. Святая Земля: история и наследие. М.; СПб., 2015. С. 182.

Базилика Гефсиманской Молитвы была освящена в июне 1924 года. Это было самое начало творческой биографии А. Барлуцци. Соединение древности и современности, архитектурной традиции и инновации было одним из творческих принципов Антонио Барлуцци. Так поступил он и здесь, в Гефсимании, — остатки древнего пола сохранены под матовыми стеклянными крышками, а мотивы римского атриума и текущей воды отражены в оттенках белого и зеленого мрамора<sup>31</sup>.

Базилику Гефсиманской Молитвы называют в Иерусалиме «Церковью всех наций», потому что верующие почти всего католического мира приняли участие в ее убранстве и украшении. Имеется в виду финансирование исключительно затратоемких художественных работ по мрамору, кованому металлу, золотой мозаике. Так, например, центральная мозаика выполнена художником Д' Акьярди. Но оплачена эта грандиозная работа — во всю алтарную стену — и материалы для нее католиками Венгрии. Мозаики боковых нефов — южного, изображающая «Поцелуй Иуды», и северного, с сюжетом «Взятия Христа под стражу» — выполнены художником М. Барберини, а оплачены, соответственно, Ирландией и Польшей. Мозаики в 12 куполах финансировались католическими общинами Англии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Италии, Канады, Мексики, Франции, США, Чили и несут на себе гербы соответствующих стран. Терновый венец вокруг алтарного Камня выполнен на средства далекой Австралии. Итого 15 держав. «Когда вознесусь, — говорил Спаситель, — всех привлеку к Себе»<sup>32</sup>.

**И. Н. МОЛЕНИЕ О ЧАШЕ // Сборник духовных стихотворений, посвященных в честь Спасителя. М., 1909. С. 13—18.**

День ясный тихо догорает;  
 Чист неба купол голубой;  
 Весь запад в золоте сияет  
 Над иудейскою землей;  
 Народа шумом оживленный,  
 Лежит святой Иерусалим.  
 Стеною твердой окруженный;  
 Вдали Гевал и Гаризин,  
 Темнеет... всюду тишина...  
 Вот ночью вспыхнули светила, —  
 И ярко полная луна  
 Сад Гефсиманский озарила.  
 В траве под ветвями олив,  
 Сыны Божественного Слова,  
 Иерусалима шум забыв,  
 Спят три апостола Христовы.  
 Их сон спокоен и глубок;  
 Но тяжело спал мир суровый:  
 Веков наследственный порок  
 Его замкнул в свои оковы,  
 Но час свободы наступал —  
 И, чуждый общему позору,

<sup>31</sup> Там же. С. 183—184.

<sup>32</sup> Там же. С. 183.

Посланник Бога в эту пору  
Судьбу всемирную решал.  
За слово истины высокой  
Голгофский крест предвидел Он  
И, чувством скорби возмущен,  
Отцу молился одиноко:  
«Ты знаешь, Отче, скорбь Мою  
И видишь, как Твой Сын страдает, —  
О, подкрепи Меня, молю.  
Моя душа изнемогает!  
День казни близок; он придет,  
На жертву отданный народу,  
Твой Сын безропотно умрет,  
Умрет за общую свободу...  
О, да минует чаша эта,  
Мой Отче, Сына Твоего!  
Мне горько видеть злобу света  
За искупление его!  
Но, не Моя да будет воля,  
Да будет так, как хочешь Ты!  
Тобой назначенная доля  
Есть дело всякой правоты.  
И если Твоему народу  
Позор Мой благо принесет, —  
Пускай за общую свободу  
Сын человеческий умрет!»  
Молитву кончив, скорби полный,  
К ученикам Он подошел.  
И, увидав их сон спокойный,  
Сказал им: «Встаньте, часть пришел.  
Оставьте сон свой и молитесь,  
Чтоб в искушение вам не впасть,  
Тогда вы в вере укрепитесь  
И с верой встретите напасть».  
Сказал — и тихо удалился  
Туда, где прежде плакал Он,  
И той же скорбью возмущен,  
На землю пал Он и молился:  
«Ты, Отче, в мир Меня послал,  
Но Сына мир Твой не приемлет:  
Ему любовь Я завещал,  
Моим глаголам он не внимлет;  
Я был врачом его больных,  
Я за врагов Моих молился, —  
И надо Мной Иерусалим,  
Как над обманщиком, глумился!  
Народу мир Я завещал, —  
Народ судом Мне угрожает.  
Я в мире мертвых воскрешал, —  
И мир Мне крест приготовляет!..

О, если можно, от Меня  
Да мимо идет чаша эта!  
Ты Бог любви, начало Света,  
И все возможно для Тебя!»  
И взор, в тоске невыразимой,  
С небес на землю Он низвел  
И снова, скорбию томимый,  
К ученикам Он подошел.  
Но их смежившиеся очи  
Невольный сон отягощал;  
Великой тайны этой ночи  
Их бедный ум не постигал.  
И стал Он молча, полный муки,  
Чело высокое склонил  
И на груди святые руки  
В изнеможении сложил.  
Что думал Он в минуты эти?  
Как человек и Божий Сын,  
Подъявший грех тысячелетний, —  
То знал Отец Его Один;  
Но ни одна душа людская  
Не испытала никогда  
Той боли тягостной, какая  
В Его груди была тогда;  
И вот опять Он удалился  
Под сень смоковниц и олив,  
И там, колена преклонив,  
Опять Он плакал и молился:  
«О, Боже Мой! Мне тяжело!  
Все человеческое зло  
На Мне едином тяготеет.  
О, не оставь Меня в борьбе  
С Моею плотию земною,  
И все угодное Тебе,  
Тогда да будет надо Мною,  
Молюсь, да снидет на Меня  
Святая сила подкрепленья,  
Да совершу с любовью Я  
Великий подвиг примиренья!»  
И руки к небу Он подъял,  
И весь в молитву превратился,  
Огонь лицо Его сжигал,  
Кровавый пот по Нем струился.  
И вдруг с безоблачных небес,  
Лучами света окруженный,  
Явился в сад уединенный  
Глашатай Божиих чудес.  
Был чуден взор его прекрасный,  
И безмятежно и светло  
Одушевленное чело,

И лик сиял, как полдень ясный:  
И близ Спасителя он стал  
И, речью свыше вдохновленный,  
Освободителя вселенной  
На славный подвиг укреплял;  
И сам, подобный легкой тени,  
Но полный благодатных сил,  
Свои воздушные колени  
С молитвой пламенной склонил.  
Вокруг молчало все глубоко:  
Была на небе тишина, —  
Лишь в царстве мрака одиноко  
Страдал бесплодно сатана.  
Виновник зла, он понимал,  
Кто был Мессия воплощенный,  
О чем Отца Он умолял.  
Поднявшись тихо, небожитель  
Летел к надзвездным высотам, —  
Меж тем всемирный Искупитель  
Опять пришел к ученикам.  
И в это чудное мгновенье  
Как был Он истинно велик,  
Каким огнем одушевленья  
Горел Его прекрасный лик!  
Ученики, как прежде, спали,  
И вновь Спаситель им сказал:  
«Вставайте, близок день печали,  
И час предательства настал...»  
И звук мечей остроконечных  
Сад Гефсиманский пробудил,  
И отблеск факелов зловещих  
Лицо Иуды осветил.

**Щукин Николай. В ГЕФСИМАНСКОМ САДУ //**  
**Свет Невечерний. Брюссель, 1963. С. 18–19.**

Посеребренный лунным светом,  
Спал Гефсиманский, мирный сад.  
Дышала ночь весны расцветом,  
Цветов струился сладкий чад...  
Как часто здесь в тени оливы,  
Смотря на ближние холмы,  
Учил Христос. Неторопливы  
Слова звучали, как псалмы.

Теперь, скорбя душой смертельно,  
Сюда пришел Он для молитв,  
Один пред мукой беспредельно  
В тоске духовных, тайных битв.

Двенадцать спят: труды, дороги,  
Печаль смежили им глаза.  
Сердца людей в любви убоги,  
И мимолетна их слеза...

И, отойдя в молитв горенье,  
Он обращался на восток,  
С чела, склоненного в боренье,  
Пот кровью падал на песок...  
Но льется факелов багрянец,  
Звучат шаги из синей мглы,  
Теней зловещих ближе танец,  
Ожили темные углы.

И, встав, Он будит спящих снова —  
Душа Моя к нему готова,  
«Вы спите все! Но вот Мой час!  
Но скорбь его во Мне сейчас».  
«Будь рад, Равви!» — дал знак Иуда.  
Христос врагами окружен.  
Быть может, ждал предатель чуда,  
Святым лицом заморожен...

«Ты предаешь Меня лобзаньем!»  
В Иуде жалость — мучит стыд.  
Под дымных факелов мерцаньем  
Стоит, толпой кричащей скрыт...  
«А вы? Не с вами ль был Я в храме,  
Целя и души, и тела?  
Пришли вы взять за те дела?»  
Ученики бежали в страхе.  
Лишь Петр, таясь, шел за толпой.  
Сад вновь тонул в душистом мраке,  
Одетый ночью голубой.

# Contents

## Prose and Poetry

**Ecatherina Polyanskaya.** Poems • 3

**Vladimir Arro.** Three Stories from the Gateway for One Play • 7

**Vyacheslav Nemyshev.** Jubilee (Small Novel) • 36

**Nicholay Godina.** Poems • 58

**Dmitry Tarasov.** My Familiar Killer. Story • 61

**Igor Nemodruk.** Shot. Story • 69

**Vladimir Zamorin.** Stories • 83

## Publicistic Writings

**Piotr Muratov.** Tale about Developed Socialism. Memories of the Unforgettable Period in Our Country's History • 103

## Criticism and Essays

**Vyacheslav Vlaschenko.** «Farewell Songs» by Nikolay Rubtsov and «Novels of Farewell» by Valentin Rasputin • 139

**Irina Vasilkova.** Smart Girls • 161

## Russian Thesaurus — XXI

**Vladimir Yelistratov.** Unfallen Leaves of Russian Language • 169

## Petersburg Bookman

**Person and Fate.** *Vladislav Bachinin.* On Biography of Modernity. Part Two. Dante and Luther. Searches and Finds. *Vladimir Chisnikov.* In the Wake of Censor Letters... (Lev Tolstoy and «Black Cabinets»). **Reviews.** *Elena Safronova.* Regretting Stone. *Stanislav Minakov.* «Iron Day» of Granny Lidka. *Maria Elifiorova.* Service of Understanding • 183

## Special View

**Alexey Ahmatov.** «Slap in the Face, but Not Much» • 229

## Pilgrim

**Archimandrite Augustine (Nikitin).** Shrines of the Mount of Olives (by Notes of Russian Pilgrims). Part 3 • 238

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал „Нева“»  
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18  
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9  
Телефон: (812) 314-50-52  
E-mail: nevaredaction@mail.ru; nevaredaction@yandex.ru

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: <http://magazines.russ.ru/neva>  
Ресурс в сети Интернет: <http://nevajournal.ru>

**Подписку** на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «Роспечать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276.

**Свежие номера журнала**, а также отдельные номера за последние годы можно приобрести:

**в Санкт-Петербурге** — в редакции журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23); **льготную подписку** можно осуществить непосредственно в редакции журнала (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23).

**За рубежом** подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга» (117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230-21-17, 238-46-34).

**Оптовая и мелкооптовая продажа:** Санкт-Петербург, ООО «Журнал „Нева“», e-mail: officeneva@mail.ru

**Почтовую рассылку** отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства: <http://nevajournal.ru/book.html>

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34950 от 15 января 2009 г.  
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.  
Учредитель: ЗАО «Журнал „Нева“»

Подписано в печать 07.02.2017. Гарнитура «Октава».  
Формат 70×108 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.  
Тираж 1500 экз. Заказ № 18  
Издательство «Журнал „Нева“»

Отпечатано по технологии СтР  
в Первой Академической типографии «Наука»  
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия В. О., 12/28